

ВИССАРИОН
САЯНОВ

ВИССАРИОН САЯНОВ

КНИЖНОПЕЧА
ПОЗША

Советская
печать



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), В. Г. Базанов,
Б. И. Бурсов, Б. Ф. Егоров (зам. главного редактора),
В. М. Жирмунский, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,*

С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский.



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

ВИССАРИОН САЯНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья

Б. Соловьева

*Составление, подготовка текста
и примечания*

В. М. Абрамкина и А. Н. Лурье

Виссарион Михайлович Саянов (1903—1958) принадлежит к поколению советских поэтов, которые вошли в литературу в начале двадцатых годов. В настоящее издание включены его избранные стихотворения и поэмы. В книге более полно, чем в других изданиях, представлено поэтическое творчество Саянова двадцатых — начала тридцатых годов. Лучшие его произведения той поры пользовались широкой популярностью. В дальнейшем Саянов стал известен как прозаик, но работу над стихами он не прекращал до конца своей жизни. Созданные им в годы творческой зрелости стихотворения и поэмы оставили заметный след в истории советской поэзии.



ПОЭЗИЯ ВИССАРИОНА САЯНОВА

1

Творчество Виссариона Саянова — поэта, прозаика, публициста — необычайно многогранно. Он оставил обширное и многообразное наследие — здесь и стихотворения, и поэмы, и роман в стихах, и обширные прозаические эпосы («Небо и земля», «Страна родная», «Лена»), и повести, и литературоведческие исследования, критические статьи, дневники, записки военных лет, множество газетных корреспонденций и т. п. Все это заслуживает изучения как живое достояние советской литературы. Наиболее весомую по своему значению часть литературного наследия В. Саянова составляет его поэтическое творчество.

В. Саянов вошел в советскую поэзию стихотворениями, составившими книгу «Фартовые года» (1926). Маленькая и скромно изданная, эта книжка стала событием в литературе тех лет, так же как и продолжавший ее сборник «Комсомольские стихи» (1928).

Первые книги В. Саянова вызвали многочисленные отклики в печати, завоевали признание широкого читателя. Молодежь тех лет полюбила стихи В. Саянова, так как увидела в них себя, свои чувства, свой жизненный опыт, рожденный в годы гражданской войны и начавшегося социалистического строительства. Неповторимый облик молодого современника был по-своему воссоздан и в «Фартовых годах», и в «Комсомольских стихах», само название которых говорит о том, кого именно избрал автор своим героем, к какому читателю обращался в первую очередь.

Товарищи по перу — и старшие, и сверстники поэта — также одобрительно отозвались на появление этих книг. Н. Асеев писал в своем отзыве, что В. Саянов лучшими стихами «Фартовых годов»

стал «ближе и дороже поэзии сегодняшнего дня, чем многие убористыми томами бесцветных подражаний». Он пронизательно заметил, характеризуя книгу дотоле неизвестного ему поэта, что в ней «радует наличие новой культуры», «хорошая интонационная установка», простота и верность «словесной ориентировки». ¹

В дальнейшем, словно подтверждая эту оценку, Михаил Светлов назвал книгу «Комсомольские стихи» «великолепной», «лучшей из вышедших за последнее время». ²

Первые книги молодого поэта захватывали своей свежестью, сердечностью, непосредственностью в выражении чувств. Как и другие советские поэты, В. Саянов взялся за решение задач, во многом неведомых литературе прошлого и выдвинутых уже свершившейся революцией, преобразившей и необычайно расширившей внутренний мир людей того поколения двадцатых годов, от имени которого заговорил В. Саянов. «Да, я поэт годов двадцатых...» — заметит он в своих позднейших стихах.

Вместе с ранней лирикой В. Саянова в жизнь нашего читателя входили — на правах верных друзей и надежных соратников — и герои гражданской войны, еще словно бы опаленные ее порохом и огнем, заводские парни и фабричные девчата, и друзья с Накатамы, и «девчонка из агитотдела» — Наталья Горбатова, героиня поэмы «На подступах Азии» (впоследствии поэма названа «Наталья Горбатова»).

Впервые раскрывая страницы этой маленькой поэмы, читатель тех лет видел в ней и недавние испытания гражданской войны, и свою личную жизнь, которая была еще такой суровой и неустроенной, подчиненной законам жестокой и напряженной борьбы, кладущей на все переживания грозный и огненный отпечаток.

Шлагбаумам древним
Дорога верна,
По шпалам не мерили версты,
И за штабелями казалась страна
На буре замешенной просто.

Над всеми дорогами плавала мгла,
Она по тропинкам летела
И вот на рассвете
Уже привела
Девчонку из агитотдела.

¹ «Печать и революция», 1926, № 4, с. 202.

² «Октябрь», 1928, № 9-10, с. 260.

Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Ах, годы прославленных страстний
Еще приобретаются через туман
Огни отдаленные станций.

В этих стихах многое недосказано, облик «девочки из агит-отдела» мелькнул перед нами, чтобы надолго исчезнуть, и только в конце поэмы читатель узнает о ее трагической судьбе. Но Наталья Горбатова прочно вошла в его память — вместе с помятым томиком, который она так и не успела дочитать, вместе со своим старым наганом, вероятно побывавшим не в одной переделке, жадной любви, которой «не время пока», как думалось скромной и неприметной героине поэмы, жизнью своей заплатившей за счастье и будущее своего народа. При всей беглости, эскизности, разбросанности, было нечто такое в этих пронизанных горечью и героикой стихах, что придавало им силу и правдивость самой жизни, свежесть большого, не растраченного чувства.

В цикле «С тобой» (то есть с революцией) поэт утверждал верность молодежи великим заветам своих отцов — «солдат трех революций» — и подчеркивал, что революция — не где-то в прошлом, что и сегодняшнее поколение нашей молодежи может гордиться тем, что на его долю выпало свершение подвигов, достойных тех, о которых поют песни и слагаются легенды:

Не зыркай о том, о хорошем,
И нам этот грохот знаком,
Парням с бескозыркой, с клешем,
Иль с кимовским просто значком.

От имени этих парней — разбитных, волевых, упорных, в чем-то слишком размашистых, резких на язык, но до конца преданных делу революции — и выступал поэт в своих «Комсомольских стихах», звучащих подчас общо и декларативно, но привлекавших искренностью сказавшегося в них живого и непосредственного чувства.

Стихи Саянова утверждали единство повседневного неустанного труда, преобразовывавшего облик родной страны, с самыми большими и дальними целями революции. Вместе с тем в них по-своему сказались и те — наивные на сегодняшний взгляд — аскетические настроения комсомольской молодежи двадцатых годов, которая нередко полагала, что увлеченность революционной борьбой и созидательной работой неизбежно приходит в противоречие с личной жизнью, с

любовными переживаниями (впоследствии — и уже с новых позиций — об этом напишет Я. Смеляков в поэме «Строгая любовь»). Герой «Фартовых годов» говорит с пришедшей на свидание девушкой тем языком, который был привнесен в городскую комсомольскую окраину из областного просторечия:

Нам сегодня не шлындать с тобою,
Поджидает парнишку райком.
Может, баской была и грубою,
Да растаешь в дыму городском.

Для того ли «пели пули и меркли штыки», чтобы «шлындать» с девчонкой по улицам? — спрашивает герой этих стихов — и ответ подразумевается для него сам собою.

Направляясь к «ребятам в коллективе», он подчеркивает то самое главное, что составляет смысл их жизни и пафос всей их деятельности:

По заводам, за Невской, за Нарвской,
Где гремит и грохочет литье,
По заставам, где шел Володарский,
Занимается солнце твое. . .

Ради этого солнца — солнца самой революции — поэт в то время призывал своих читателей забыть обо всем остальном — и молодежь двадцатых годов чутко прислушивалась к словам В. Саянова, наизусть читала его стихотворение «Современники», открывавшее книгу «Комсомольские стихи». В нем особо сердечное выражение нашли большие интернациональные чувства советского человека, его единство с передовыми людьми всех стран и народов:

И путиловский парень, и пленник,
Изнуренный кайенской тюрьмой,
Всё равно это мой современник
И товарищ единственный мой.

Так писал Саянов, обращаясь к своим сверстникам, и это были — стихи надолго, стихи, которые прочно вошли в историю советской поэзии, да разве только в историю? Они и поныне сохранили для читателя ту же силу, свежесть, молодость, какая была им присуща и многие годы назад.

Духом высокой романтики пронизана и баллада «Шлем», в которой воспет неприметный, латаный и простреленный пулями красно-

армейский шлем, как бы символизирующий героину гражданской войны; не напрасно же о нем

...ходила потом по Дунаю
Аж до Черного моря молва...

Мир революции является самым великим достоянием человека, — вот почему в глазах поэта такими нелепыми, жалкими и уродливыми выглядят любые проявления скаредности, стяжательства, эгоистической ограниченности, в которых сказываются навыки и пережитки прошлого. Именно с этих позиций говорит В. Саянов в стихотворении «Братишке» об одном из тех, кто не выдержал испытаний и соблазнов времен нэпа и теперь пошел «дорогою другой». Страстный, прямой, резкий разговор поэта с «братишкой» ведется с позиций нового, социалистического гуманизма. В новой обстановке он подхватывает и продолжает борьбу за человека высоких помыслов, героических устремлений, неизменной верности делу революции. Эту борьбу В. Саянов вел уже в самом начале своего творческого пути.

Две судьбы, два резко определенных характера возникали в стихотворении «Братишке», и в его внешней простоте, непритязательности, безыскусственности чувствовалась не только житейская, но и эстетическая позиция автора.

В литературу тех лет В. Саянов входил вместе с целой плеядой талантливых молодых поэтов, рожденных Октябрем, закаленных в испытаниях гражданской войны.

В поэзии двадцатых годов популярностью пользовались первые «комсомольские поэты» — А. Безыменский, А. Жаров, М. Светлов и др. Романтика гражданской войны и комсомольского быта составляла основное содержание их стихов. В. Саянов (вместе с ними) подхватывал и развивал общие темы комсомольской поэзии тех лет. Ее героический тон, жизнерадостный задор, угловатая резкость характерны и для его лирики. Но в поэзии В. Саянова было нечто такое, что определяло его особое место среди других молодых поэтов.

Своеобразие его лирики заключалось и в материале повествования, зачастую несущего на себе особый, «сибирский», отпечаток — как в образах героев, событиях их жизни, так и в самом языке, вбирающем в себя необычные для нашего слуха географические наименования, резко подчеркнутую речевую — «просторечную» или «областническую» — лексику, подчас требующую даже особого перевода. Не случайно поэт говорил в своих ранних стихах: «Браток из-за Нарвской заставы таежной шпаны не поймет».

Саянов выработывал свою собственную систему образной, эмоционально-интонационной выразительности, сочетая живость и непосредственность большого, напряженного чувства с заботой о «крепко сделанной» строке. Поэт учитывал богатый опыт старой — классической и народной — поэзии, а также достижения современных поэтов. Недаром Н. Асеев в отзыве на первую книгу его стихов говорил, что она «радует наличием новой культуры». ¹

2

Середина двадцатых годов — когда В. Саянов вступал в литературу — это время новаторских открытий, утверждения в творчестве многих художников метода, который был впоследствии определен как метод социалистического реализма. Но то основное и наиболее плодотворное, что осуществлялось в литературе, было осложнено столкновениями самых различных течений, объединений, вооруженных весьма разноречивыми программами. Каждое из них претендовало на то, что именно оно — и только оно — призвано наиболее успешным образом решать задачи современного искусства. Среди этих групп и объединений можно назвать РАПП, «Кузницу», ЛЕФ, «Перевал», «конструктивистов». Все они находились в состоянии острой и напряженной борьбы между собой, в сущности исключавшей возможность объективной и справедливой оценки художников других течений и «школ». Вот почему борьба литературных групп и направлений далеко не всегда носила принципиальный и товарищеский характер. В стремлении «размежеваться», отстоять «свои» позиции и интересы — групповые, а то и сектантские — многие писатели обнаруживали нетерпимость ко всем «инакопишущим» и «инакомыслящим», явную пристрастность, а то и пренебрежение к их творческому опыту и достижениям. А между тем многое если не в теории, то в практике писателей и поэтов, хотя бы и принадлежавших к самым различным группам и течениям, входило в русло литературы социалистического реализма, если только они глубоко осмыслили характер и тенденции развития современной жизни, были верны «действительности и истине» (говоря словами Белинского). Следует подчеркнуть, что в этих сложных условиях литературной жизни В. Саянов, являвшийся членом РАППа, занимал в решении творческих вопросов особую позицию, более широкую, чем у большинства его товарищей по литературному объединению. В. Саянов ни от чего

¹ «Печать и революция», 1926, № 4, с. 202.

и ни от кого заранее и априорно не отказывался и не зарекался; он шел на сближение с художниками самых различных направлений и школ — поверх барьеров групповой борьбы, предвзятых оценок, сектантских взглядов (весьма широко распространенных в то время), стремился вести свой творческий поиск не особняком и не в пределах какого-либо одного из течений современной поэзии, а опираясь на весь ее многообразный опыт. Это и определяло существенные черты и особенности его поэзии и поэтики, представлявшей собою синтез и сплав самых различных качеств и тенденций, подчас, казалось бы, взаимоисключающих и противостоящих друг другу. Но в творчестве В. Саянова они словно бы примирились и составляли новое и прочное единство, отмеченное его личной печатью как художника, утверждавшего в искусстве свои принципы.

Усваивая опыт и традиции классической поэзии — от Пушкина, Лермонтова, Некрасова до Блока, — В. Саянов внимательно присматривался к тому, что делали поэты-современники, как близкие, так и далекие ему.

На В. Саянова, как и на многих поэтов его поколения, рожденных революцией и одушевленных ее пафосом, большое влияние оказал Владимир Маяковский. Стих Маяковского шел к читателю «свободно и раскованно», захватывая его своею необычностью, новизною, небывалым размахом сказавшихся в нем чувств, переживаний, замыслов — в масштабах революции и всей земли. Маяковский заставлял многих советских поэтов, а особенно молодых, пересматривать и обогащать привычный поэтический арсенал, всю систему и направленность их поэзии. Его великие завоевания имели существенное значение для целого поколения молодых поэтов, входивших в литературу вслед за Маяковским, усваивавших — каждый по-своему — его творческий опыт. От их лица В. Саянов говорит в поэме «Праздник» (1945):

...навсегда Владимир Маяковский —
Всех стихотворцев верная любовь!

Этой любви В. Саянов не изменял никогда. Он внимательно прислушивался и к стихам одного из поэтов «Кузницы» — Василия Казина, лирика которого раскрывала романтику повседневного труда просто и душевно, без выпренности и декларативности, характерных для пролеткультовцев. В. Казин заговорил о рабочем человеке по-другому, не перенапрягая голоса, а в духе обычной дружеской беседы.

В книге «Признания» В. Казин сравнивал создание песни с трудом рабочего самой обычной профессии, — поэт ни в малейшей степени не стремился возвысить свой труд над любым другим:

Мой отец — простой водопроводчик,
Ну, а мне судьба судила петь,
Мой отец над сетью труб хлопочет —
Я стихов вызваниваю сеть.

Близкий мотив мы находим в цикле В. Саянова «О себе»:

Экой дурень,
Говорю о буре.
Впередышку только — о себе.
Вот и нынче слово штукатурю
И пою о жизни и борьбе.

Словно дети или младшие братья героев лирики В. Казина предстают перед нами герои многих стихов В. Саянова — молодые труженики, энтузиасты, комсомольская братва — те, о которых он говорит так же задушевно:

Ах, ребята, ах, друзья родные,
Девушки в малиновых платках...

Певцом этих «родных ребят» и почувствовал себя В. Саянов, он писал о них и для них без всякой выпренности, ходульности, как обращаются к самым лучшим друзьям.

Романтика ранних баллад Николая Тихонова, сочетавших верность конкретным «реалиям» времен гражданской войны с «поисками героя», с устремленностью к необычайному и легендарному, также по-своему отозвалась в лирике В. Саянова. В таких его произведениях, как «Братишке», «Побег шахтера Гурия под Клинцами» или «Шлем», ощущается высокий романтический настрой баллады:

Будто шлем этот был заговорен,
Переплыв берега и плоты,
За лесами, за степью, за морем
Будто шлемом спасаешься ты.

Самый интерес к «ладу баллад», пробужденный в советской поэзии Николаем Тихоновым, и впоследствии не остывал в стихах В. Саянова.

Весьма близким для В. Саянова — в первые годы его творческой работы — оказался и опыт Николая Асеева. Этот опыт глубоко усваивался и развивался в лирике В. Саянова и самым очевидным образом может быть прослежен в его ранней лирике. Если Маяков-

ский утверждал в своем творчестве интонацию речи разговорной или ораторской, «выкрик вместо напева», то во многих — и наиболее характерных — стихах Н. Асеева мы зачастую слышим «напев вместо выкрика». Эта установка и отвечала лирической настроенности стихов В. Саянова, самому характеру его творчества. Не случайно он говорил впоследствии, что удачное лирическое стихотворение «неизбежно должно стать песней и романсом».¹

Н. Асеев радостно и горделиво утверждал в «Весенней песне»,

Что
 свежестью первичной
Мы шли, обнесены,
Что
 не было привычной
Нам меры
 и цены.

Тот же самый пафос «свежести», «первичности», решительного пересмотра привычных оценок — и в жизни и в искусстве — с самого начала определял особое звучание стихов В. Саянова, — даже тех, новаторский характер которых не бросался в глаза и которые, казалось бы, отвечали — своим строем, стилем — духу исстари сложившейся нормы, привычному размеру.

В творчестве Н. Асеева Саянов находил смелость образных решений, «сдвиги» планов — самого «ближнего», данного в резко очерченной конкретности и видимого во всех подробностях бытовой обстановки и самого дальнего, вмещающего пределы всей страны, всего мира, что сказывается и на характере стиха, структуре образа, свежести метафор, смелых и неожиданных. Конкретное, житейское, ставшее повседневным в наших условиях сочетается с мировым, всеобщим, исторически непреходящим.

Многое в ранней лирике В. Саянова отвечает ритмическому строю асеевского стиха, и, конечно, не случайно, что именно Н. Асеев — если говорить о поэтах старшего поколения — так одобрительно отозвался на появление книги «Фартовые года». Многие в ней было ему близко по духу, по самому характеру поэтического поиска. Испытывая на себе влияние Н. Асеева, В. Саянов на первых порах далеко не всегда умел разобраться в том, что в его творчестве является подлинно новаторским и плодотворным, а что несет на себе печать чисто формальной новизны, той усложненности стиха, которая далеко не всегда была внутренне оправданной. Это

¹ В. С а я н о в, Статьи и воспоминания, М., 1958, с. 93.

вызвало в свое время упреки читателей, которым Н. Асеев отвечал в стихотворении «Заплыв»:

Не из прихоти,
не из причуд
Я в стихе своем
сальто кручу. . .

Здесь Н. Асеев утверждал — исходя из необходимости обновления стиха, отвечающего новизне стоявших перед поэзией задач, — закономерность и неизбежность небывалых ее форм (и действительно, многое сделал для их обновления и обогащения), но в то время, увлекаясь всякого рода «сальто», он порою ограничивался решением исключительно формальной задачи, сугубо экспериментаторской работой, что и вносило известную противоречивость в его творчество, по-своему отозвавшуюся и в лирике В. Саянова. Для иных стихов Н. Асеева характерно повышенное, резко подчеркнутое фонетическое начало, которое как бы ведет за собой звенья ассоциаций, оказывает свое определяющее воздействие на формирующийся — по ходу строки — ее смысл, порою словно бы расшатывает его, придавая ему почти «заумный» характер, — например, в таком стихотворении Н. Асеева, как «Собачий поезд» с его «перевертнями» и звукоподражаниями. Нечто схожее можно обнаружить и в одной из ранних поэм В. Саянова — «Побеге шахтера Гурия под Клинцами», иные строки которой также обретают почти «заумное» звучание («Криком, стуком, Гир-гар-гэр! Ну-ка, Ну-ка, Дай карьер!» и т. п.).

Мы читаем в поэме:

Хоть болото, тина хоть,
Ну-ка, выкинь иноходь!

Здесь рифменные окончания — сугубо подчеркнутые, составные, ломающие обычный строй стиха и нарушающие течение фразы, создавая непривычную инверсию, — перекликаются с асеевскими стихами:

Тронь струн
Винтики,
В ночь лун
Синь теки. . .

(«Северное
сияние»)

От таких «винтиков» чужой мастерской В. Саянов впоследствии решительно отказался, о чем свидетельствует позднейшая — и весьма решительная — переработка ранних стихов, но в начале своей твор-

ческой деятельности он готов был испробовать любой самый замысловатый «винтик», чтобы проверить: а не пригодится ли он и в его собственной работе?

В. Саянов так широко и заинтересованно подходил к современной поэзии, что не прошел равнодушно даже мимо теорий и творчества «конструктивистов» с их принципами «локальной семантики», «тактового стиха», остро сюжетной, подчас на грани анекдота, конструкции. Молодой поэт прислушался к их советам и рекомендациям, в результате чего и появилась пародийно-экспериментаторская поэма «Картонажная Америка» (1928).

Саянов писал в предисловии к ней, что «само заглавие поэмы подчеркивает условность нарисованной в ней картины американской жизни». Действительно, эта «поэма-детектив», как определил сам автор жанр своего произведения, носит сугубо условный и пародийный характер, звучит как «литературная забава» (да и написана она «мальчишам в забаву», если верить шуточному эпиграфу, взятому из «Домика в Коломне»). В ней поэт отдал немалую дань формалистским и конструктивистским теориям, подчиняя ход своего повествования задачам «остранения предмета», сюжетным и смысловым «смещениям», принципу «локальной семантики», мотивам условно-пародийного характера и т. п. Но следует подчеркнуть, что «лирической сути» В. Саянова всякого рода «конструктивизм» был так чужд, что попытка оказалась явно неудачной, и никогда впоследствии — при многократных переизданиях своих произведений — поэт не включал в них «Картонажную Америку», за исключением лирического вступления. Но само создание этой поэмы свидетельствует, насколько далек был В. Саянов от групповых, эстетических и прочих пристрастий, с какой широтой он подходил к самым различным явлениям современной поэзии. В такой широте заключалась и некоторая опасность, связанная с возможностью утраты своего собственного творческого облика, — и В. Саянов не всегда умел избегать ее. Он подчас увлекался стихотворными экспериментами, сугубо формальными новинками, «загадочными поисками» (как говорит он в поэме «Праздник») — и не всегда на тех путях, которые могли привести к подлинной удаче. Вот почему поэт и подверг впоследствии многие свои ранние стихи весьма существенной переработке. Но в основной направленности своего творческого поиска и своих воззрений на суть и назначение искусства он оставался поэтом-реалистом, вносящим в литературу свои индивидуальные и существенные черты, свой неповторимый жизненный и творческий опыт.

Несомненно, это понимание стиха и отвечающая ему художественная практика оказали свое влияние на многих еще более

молодых поэтов тех лет, особенно ленинградских, первые шаги которых в литературе направлялись во многом именно В. Саяновым — первым руководителем литературной группы «Смена» (1926—1929). В эту группу входили такие начинающие в то время поэты, как Б. Корнилов, О. Берггольц, Б. Лихарев, И. Авраменко и другие. Те уроки поэтической культуры, которые они восприняли от В. Саянова — знатока русской поэзии и ее истории, не могли не сказаться на творчестве этих поэтов.

3

Первые книги В. Саянова были одобрительно встречены и читателями, и критикой, и поэтами. Это свидетельствует о том, какой свежий и новый жизненный материал они несли с собою, насколько отвечали назревшим потребностям литературы. Но очевидно и то, что сам поэт отнюдь не испытывал полного удовлетворения плодами своего творчества.

В автобиографии В. Саянов вспоминал стихи друга и соратника своей юности — талантливого поэта, певца заводских ребят и фабричных девочек, Евгения Панфилова:

Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола!

В таких стихах чувствуется живой задор, не оставлявший равнодушным молодого читателя тех времен, но вместе с тем они отличались и излишней легковесностью, явной упрощенностью решения больших и сложных задач. Он знал, что и на иных страницах «Фартовых годов» встречаются упрощенные решения того сложного и трудного, что есть в жизни. Это сказывалось подчас и на самой их лексике: «знамо», «а пошто?», «обождь», «вона», «эва», «эк», «эккой дурень», «башка простая», «мне хоть бы хны» и т. п.

Поэт понял, что без весьма основательного углубления взгляда на жизнь дальнейшее его творческое развитие невозможно — иначе будешь повторять самого себя! Вот почему он впоследствии так круто и резко меняет свой стих, самый его характер.

После книг «Фартовые года» и «Комсомольские стихи», знаменующих годы юности — с преобладающим пафосом непосредственно-эмоционального, восторженного восприятия жизни, — творчество поэта претерпевает существенные изменения. В 1931 году он публикует первый том собрания стихотворений (второй не вышел), в котором крайне показательно само название цикла стихотворений:

«Борьба за мировоззрение» (1928—1930). Это название — суховатое, подчеркнуто «рационалистическое» — говорит о многом и свидетельствует о том, что перед поэтом встали новые задачи, которым он придавал теперь решающее значение.

Преобладающим пафосом лирики В. Саянова на этом этапе творчества становится осмысление своего современника как наследника всей мировой культуры, как человека, открывающего новую страницу в мировой истории. Вот чем и вызвана «борьба за мировоззрение» — то есть за более углубленный и четкий подход к решению жизненно важных задач, встававших перед народом, а стало быть, и перед его поэтами. Это определяло новые черты и особенности лирики В. Саянова. Взрослея, менялся ее герой и характер, становясь более строгим.

Такое стихотворение, как «Полюс», резко отличается от прежних «Комсомольских стихов». Над непосредственностью впечатлений здесь преобладает стремление к строгой осмысленности материала. Сама речь становится лаконичной, сдержанной, близкой языку научных формул — не только своим словарем («гипотеза», «гипотенуза», «лаборатория», «реторта», «трансляция» и т. п.), но и характером замысла, утверждающего смелость научной идеи:

Она идет во мглу лабораторий,
Качая молний желтые шары,
Она идет, и на глухом просторе
Гипотенузой срезаны миры.

Это близко тому, что Брюсов называл «научной поэзией», и дух подобного рода «научности», в той мере, в какой он совместим с лирикой, пронизывает цикл «Борьба за мировоззрение».

В том же стихотворении преобладает пафос борьбы, но она уже не сводится к боевым схваткам и умению владеть оружием, а воплощается в творчестве, научном исследовании, «движении гипотезы вперед»:

Природа, ты еще не в нашей власти,
Зеленый шум нас замятво берет,
Но жарче нет и быть не может страсти,
Чем эта страсть, влекущая вперед.

Так поэт прославлял страсть ученого, открывателя, исследователя, покорителя бесконечных пространств.

Цикл «Борьба за мировоззрение» пронизан особым рода чувством, присущим человеку, сознающему себя наследником всей ми-

ровой культуры, историком, призванным осмыслить прошлое нашей родины в связи с ее движением к будущему. Так родилось стихотворение «Московские западники», крайне сложное по своему характеру, обращенное к далекому прошлому с его политическими распрями, идейными схватками, с самыми противоречивыми исканиями. Автор напоминал о давних попытках русских дворян сочетать проникающие с Запада социалистические учения с «мистикой» — и в этом искать новое прибежище от революции. Перед поэтом, погрузившимся в страницы старых хроник, возникает словно бы наяву

То глухое, то вдрызг сумасшедшее
Оголтелое небо дворян.

Образность этих стихов приобретает неожиданный, резко «сдвинутый» характер, раскрывающий смысл событий, захвативших внимание и воображение поэта:

Там спириты, и спирт, и раздоры
До рассвета качают столы.
Ту Россию ведут мародеры,
Продают ее из-под полы.

Только революция могла избавить страну от этих «мародеров»; так осмысление прошлого углубляет понимание событий современности — и отныне пафос историзма все более углубляется в лирике В. Саянова.

Назначение искусства осмысляется теперь поэтом в новом свете. В новом свете решает он и вопрос о герое своей лирики. В стихотворении «О литературном герое» сам поэт говорит, что его герой «не малохольный мальчик», не меланхолик, не «продувной гуляка», о котором бежит «дурная песенка». Нет, его герой обладает иными качествами, стремлениями, иным характером. Он захвачен повседневным трудом, творческим и вдохновенным; это человек

...обыденных примет,
Спокойного геройства, не для славы
И жизнь саму приемлющий, и смерть,
Но подвиг свой свершивший потому,
Что иначе он поступить не может, —
Единственный понятный мне герой.¹

¹ Цит. по кн.: В. С а я н о в, Стихотворения и поэмы, Л., 1939, с. 108.

Пожалуй, именно в стихотворении «О литературном герое» находит свое наиболее полное и открытое, подчеркнуто декларативное выражение пафос, воодушевляющий лирику В. Саянова.

В цикле «Борьба за мировоззрение» проявилось стремление к точности, ясности, политической насыщенности мысли. Вместе с тем этот цикл во многом не удовлетворял самого поэта. В противовес былому, и преимущественно эмоциональному, началу, здесь нередко преобладает отвлеченность и схематичность замысла. Так, в стихотворении «Террор» сама тема, взятая поэтом, лишается исторической конкретности, а потому и решена неверно. В новых стихах В. Саянова так широк размах слишком прихотливых и неожиданных ассоциаций, так сложен и прерывист сюжет лирического повествования, что читатель может заблудиться в запутанных переходах и «выражах» таких стихотворений, как «Надпись на книге поэта-символиста». Таким стихам подчас не хватает непосредственности, живости, эмоциональной насыщенности, конкретности — житейской, бытовой, исторической, что и придает им несколько отвлеченный, излишне «рационалистический» характер, впрочем отвечающий самому названию цикла. В дальнейшем поэт, несомненно, почувствовал (хотя бы по реакции читателей, во многом разочарованных такой эволюцией автора «Комсомольских стихов») односторонность умозрительной лирики и, как правило, опытов в этом роде избегал.

4

Книги стихов «Семейная хроника» (1931), «Золотая Олёкма» (1933), «Лукоморье» (1937—1939) характеризуют новый этап в поэтическом творчестве В. Саянова. Они словно бы объединяют те начала, которые порознь сказывались в стихах предшествующего периода. Здесь реальность житейского опыта, конкретность переживания, его непосредственность, эмоциональная насыщенность, столь характерные для автора «Фартовых годов», сочетаются со стремлением к широким обобщениям и раздумьям о судьбах века, но уже лишенным той отвлеченности, усложненности и той излишней логизированности, которые «подсушили» некоторые стихи в цикле «Борьба за мировоззрение».

Книги «Семейная хроника» и «Золотая Олёкма» во многом родственны друг другу: материалом повествования, посвященного Сибири, образами их героев — политкаторжан, золотоискателей, а то и авантюристов (таких, как «старый хрыч с Берингова моря», о котором поэт говорит в стихотворении «Дядя»). Они связаны с давними

воспоминаниями поэта, с его детскими и юношескими впечатлениями, по-новому переосмысленными в свете большого жизненного опыта. Сопоставляя «Семейную хронику» и «Золотую Олёмку», мы видим, что В. Саянов далеко не сразу овладел искусством создания конкретного, пластически объемного и реалистически полнокровного образа.

В книге «Семейная хроника» поэт предпринял попытку отразить «борьбу пролетарского с мелкобуржуазным и победу пролетарского начала, закрепленного в лучших людях семьи». ¹ Но в целом эту книгу, встреченную суровой и чрезмерно резкой критикой в печати, нельзя признать подлинной удачей поэта. В ней многое лишено общающего значения, имеет характер частного случая. Судя по всему, поэт чрезмерно строго придерживался здесь подлинной биографии и событий своей «семейной хроники». Чтобы убедить читателя в ее доподлинности, автор снабдил свою книгу даже особой «биографической справкой», в которой отмечены даты рождения и смерти ее героев, а также другие хронологические данные, дабы никто ни на минуту не усомнился в реальном существовании персонажей книги, в точности рассказа об их жизни, принимавшей подчас самый удивительный и экзотический характер. Но, конечно, такого рода преднамеренная дотошность не могла не помешать созданию подлинно реалистического произведения. Многие стихи «Семейной хроники» перегружены бытописанием, ненужной детализацией.

Совершенно иной оценки заслуживает «Золотая Олёмка», где автор, судя по всему, учел опыт своих предшествующих книг. Рисунок в «Золотой Олёмке» лишен отвлеченности, сказавшейся в некоторых предшествующих стихах, специфически умозрительного начала, характерного для цикла «Борьба за мировоззрение». Вместе с тем здесь сохранен и тот положительный опыт, который заключался — при всех ее недостатках и промахах — в книге «Семейная хроника», где поэт впервые овладевал мастерством живого и конкретного изображения, созданием пластически зримого образа, самобытных характеров, представленных в стремительном движении биографий. Все это, но в новом, более зрелом качестве — уже чуждом натуралистической приземленности, — представлено в «Золотой Олёмке», которая, таким образом, развивала и синтезировала то лучшее, что проявилось и в цикле «Борьба за мировоззрение», и в «Семейной хронике».

Книга «Золотая Олёмка», по точности своей не уступающая иному экономическому или этнографическому исследованию, воссо-

¹ Виссарион Саянов, Семейная хроника, Л., 1931, с. 10.

здает историю родных поэту краев; судьбы их людей — беглых каторжан и «старателей» старого закала, ищущих своего «фарта», управляющих приисками, старых «хозяев» Иркутска и других сибирских городов; и новую жизнь новых хозяев Сибири — рядовых советских людей. Все это передано и запечатлено поэтом с необычайной живостью, колоритностью, а вместе с тем в духе широких обобщений. Олёкма для него — не некий экзотический край, отгороженный от всего остального мира, как зачастую изображалась жизнь золотоискателей, а край, по которому можно судить о том, что происходит по всей России, чреватой революцией и буквально выстрадавшей ее.

Старая, кондовая, золотая лишь по названию Олёкма предстает перед нами во всем том характерном, что было присуще некогда ее людям, далеко не сразу понявшим, где таится счастье, которое виделись им сначала в «особом фарте», в случайной удаче:

Много было громких песен, токмо
Где же ты, заветная Олёкма,
Нищая, хоть оторви да брось,
Золотом прошитая насквозь?

(«Золотая Олёкма»)

Так говорит поэт от лица деда Кунгушева — одного из тех, кто и сам долго искал и не мог найти «заветную Олёкму», свою счастливую долю, и кому не помог найти ее даже «особый фарт»:

Я нашел в забое самородок,
Разве жалко хлебного вина?
Весь в дыму и в спирте околоток,
Вся Олёкма в синий дым пьяна...

Но этот «особый фарт» обернулся болью, тоской, «недолей», вызвавшей неутолимую ярость к тем, кто наживался и на людском несчастье и на «фарте» старателей.

Мир богатеев, «хозяев» старого Иркутска, их быт, нравы, привычки описаны здесь с такой точностью и детальностью, которой могли бы позавидовать многие романисты и бытописатели. Если о «хозяевах» старого Иркутска поэт говорил слогом экономических выкладок или политического фельетона, то его речь становилась совершенно иной — патетически-взволнованной, приподнятой, когда перед ним возникали образы людей другого склада — людей труда, заступников народных, борцов за его кровные интересы, политкаторжан, жестоко преследуемых царскими властями. Их образы возник-

гают в легендарном ореоле, они становятся героями новых сказочных преданий, как это мы видим в стихотворении «Каторжанин и сохатый», герою которого помогает сама суровая природа Сибири:

Мыча, подходит к берегу сохатый,
Садится беглый на спину к нему,
Прощай навек, прощай, острог проклятый.
Они плывут, они уходят в тьму. . .

В этих легендах сказочные мотивы сочетаются с революционными, элементы фантастики и реальности создают новое, органическое целое. Впоследствии В. Саянов подчеркивал особое значение книги «Золотая Олёкма» в его поэтической биографии, ибо именно здесь, по его словам, он сумел окончательно «преодолеть эстетские и формалистские тенденции в своем стихе».¹

Поэт создавал произведения, отвечающие большой жизненной правде, близкие по характеру своей изобразительности и самого слога некрасовской и блоковской традиции, а вместе с тем — новаторские.

К циклу «Золотая Олёкма» примыкает схожий с ним по характеру цикл «Лукоморье» (1937—1939). Только здесь перед нами простираются не безмерные и суровые просторы Сибири, а северные русские края — «морских трудов обитель», где во всей их цельности и чистоте сохранились былины и сказания давних времен. О героях этих мест — мореходах, рыбаках, отважных партизанах — поэт и складывает новые сказы и легенды, верные духу старинных героических преданий.

Тяга к ладу и слогу легенды, предания, сказа издавна определяла в стихах В. Саянова характер сюжета, его разработку, детали повествования, подчас посвященного самому рядовому и обычному материалу нашей действительности. Но и этот материал под пером поэта обретал черты сказочные, романтические, легендарные, по-своему укрупненные, лишённые незначительных, несущественных штрихов.

Характерно в этом отношении стихотворение «Старая застава» (1930). «Город Бабушкина, Шелгунова» — так называет рабочую заставу поэт, вспоминая дела и подвиги участников революции — учеников, сподвижников и друзей Ленина. Все в этой заставе вызывает у поэта волнение, ибо он знает, что на таких заставах решалась судьба революции. Вот почему и грохочущий завод видится поэту

¹ «Звезда», 1949, № 3, с. 201.

Словно вход в неизведанный, в трудный
И сверкающий празднично мир.

Этот мир стал удивительной явью наших дней, и он предстает в стихах Саянова во всей своей необычности, сказочности, красоте:

Еще сталь громыкает в прокате,
Еще город застыл на закате,
Фонари, чуть мигая, горят,
И встает, как в мятежном преданье,
В разгоревшемся звездном сиянье
Город славы — заря — Петроград.

Дела и подвиги советских людей в глазах поэта достойны героического предания, а само предание не повторяет ту или иную «легенду веков», а становится новым, революционным, «мятежным», определяя характер лирики В. Саянова, ее героические и легендарные черты. Его «Комиссар ВЧК» (1937) — герой «прославленной повести», которая «сохранит простые имена», — выполняет ленинские заветы и революционные приказы, не размышляя об опасностях, подстерегающих его на каждом шагу, борется с белогвардейцами, заговорщиками, кулаками — и поэт говорит о нем слогом, близким героическому преданию:

Невысокий, в шапке-невидимке,
Снова скачет степью комиссар,
Путь лежит в тревожной синей дымке
В города Уфу иль Атбасар.

Эта «шапка-невидимка», словно бы заимствованная из народной сказки, придает романтический, а вместе с тем и традиционный характер повествованию поэта, но его стихи насыщены тем материалом, который определяет их сугубо современное значение, связанное с драматическими событиями времен гражданской войны; здесь и подавление кулацкого бунта («атаман бандитской шайки пойман, снова заседает трибунал»), и раскрытие ярославского заговора, и схватка в ущельях диких скал, а затем, после выполнения очередного задания

По приказу Феликса Эдмундовича —
Снова в путь — в дорогу — в майту.

Поэт и впоследствии не изменял легендарному началу, он по своему развивал коренные традиции русского фольклора и новатор-

ски переосмыслил их, сочетая с острым и глубоким ощущением современности.

В цикле «Лукоморье» характерны и сами названия стихотворений: «Сказ», «Предание», «Старинная бывальщина» — в них Саянов словно бы откликнулся на голос слагателя легенд, былин, преданий, отвечая на них новыми легендами и сказами, посвященными героическим деяниям наших современников.

«Повести в стихах», как называл В. Саянов свои поэмы, написанные примерно в то же время, также тяготеют к жанру легенды, предания, того героического сказа, где верность повседневному обстоятельству и бытовой обстановке сочетается с мотивами героики и романтики, воспеванием подвига, в котором наиболее полно и очевидно раскрываются и обнаруживаются лучшие качества нашего человека.

Свою «Оренбургскую повесть» (1939), посвященную героическим дням и незабываемым подвигам времен гражданской войны, таким ее героям, как Фрунзе, его соратникам и сподвижникам, поэт назвал «былинным сказом». И здесь начало героическое, легендарное сочетается с подробностями бытовой, повседневной обстановки, придающими особую убедительность повести в стихах:

Тихо в штабе Фрунзе; конный ординарец
Дремлет на попоне в рыжих сапогах,
Семь друзей сибирских, не снимая малиц,
Спят на сеновале с «Шошами» в руках.

Поэт говорит в своей «Оренбургской повести» языком старинного сказа, с его тяготением к параллелизмам и противопоставлениям:

То не ветер с юга в полночь реял —
То ночное зарево пылало
В час, когда на тихие деревья
Свет зари ложился тенью алой.

Здесь простор «степей былинных» словно бы перекликается с той внутренней широтой героев поэмы, для выражения которой поэт и обращается к языку былины, предания, народного сказа, к их метафорам и речевым оборотам.

Героической легендой, схожей по своему характеру с «Оренбургской повестью», является и поэма «Ива» (1939) — романтическое повествование о Тарасе Шевченко, осужденном на ссылку в оренбургские степи в качестве рядового. Шевченко и там сохранил всю силу и глубину своих революционных чувств, своей любви к родине,

высоту своего духа, и автор воплотил дух великого kobzря в образе бессмертной и вечно зеленеющей ивы.

Стихи В. Саянова зрелых лет отличаются широтой диапазона, обостренным интересом к знаменательным событиям многовековой истории нашей родины.

«Государство Российское! Правда! Отечество!» — восклицал поэт, завершая стихотворение «Петр и Алексей на Севере в 1702 году». Это восклицание словно эхом отзывается во многих стихах Саянова. Большая государственная тема всё более последовательно входила в его произведения тридцатых годов, среди которых многие посвящены событиям давних времен, имевшим решающее значение в судьбах нашей родины. Историческую тему поэт раскрывал не только с присущим ему романтическим пафосом, но и со вкусом ко всем характерным аксессуарам и подробностям истории — бытовым, пейзажным, фольклорным, к самому ее материалу, взятому в тех его чертах и реалиях, по которым можно восстановить дух и облик уже отошедшей эпохи. Этим определяется и тяга В. Саянова к предельной конкретности рисунка в исторических стихах и поэмах, к развернутым описаниям, включающим предметы утвари, одежды, вооружения, оттенкам быта и языка избранной эпохи. Не перегружая свои стихи архаическими или «областными» речениями, не превращая их, как правило, в сказово-стилизованное повествование, поэт тонко и взвешенно дозировал все элементы языка, словно бы воссоздавая самую атмосферу эпохи — будь это годы нашествия на Русь орд Батыя и Мамаю, время петровских преобразований или же походы и битвы времен Отечественной войны 1812 года. Одному из героев русско-наполеоновских войн посвящена «Повесть о Кульневе» (1941), очень характерная и для творчества В. Саянова, и для всей нашей поэзии конца тридцатых годов, широко разрабатывавшей исторические темы.

Кульнев в поэме В. Саянова наиболее полно показан в финских боях 1807 года. Суровая природа озерных краев, и походы давних времен, и характер боевых стычек и схваток, а главное — героический образ Кульнева, — все это нашло в поэме В. Саянова реалистически весомое и достоверное, а вместе с тем и патетически возвышенное воплощение.

Поэма о Кульневе дышит волнением боя, горячкой напряженных схваток, резкого движения, быстрой сменой восприятий, создающей ощущение стремительно развертывающейся картины.

Как в «Повести о Кульневе», так и в других исторических стихах и поэмах В. Саянов стремился подчеркнуть то, что является великим достоянием нашего народа, героической традицией, которая

жива и поныне, помогает воспитанию и закалке наших людей. Дух того историзма, которым пронизано творчество В. Саянова, призван прежде всего вооружить нас «в битвах нынешнего дня» (Гейне), а потому и обретает актуальное, действенное значение.

Сближение с некрасовской традицией, с фольклорным творчеством, с духом народных легенд и героических преданий по-своему воздействовало на характер лирики В. Саянова, на всю его поэтическую систему. С годами все более менялись ее черты, стилистические признаки. Они все более утрачивали импрессионистическую произвольность, несдержанность в выражении чувства, случайность иного слова или недостаточную внутреннюю оправданность образа. Над всеми этими качествами, дававшими о себе знать в ранней лирике В. Саянова, теперь преобладают иные начала. Строй зрелой лирики Саянова отличается эмоциональной уравновешенностью, соразмерностью всех частей повествования, внутренней оправданностью слова и образа. Впоследствии именно с этих позиций поэт обращался к своим ранним стихам и пересмотрел те из них, которые вступали в явное противоречие с новыми принципами, выработанными в позднейшие годы. Пересмотр ранних произведений занял весьма существенное место в творческой биографии поэта. Вот почему эта тема и заслуживает особого нашего внимания.

Вышедший в 1939 году однотомник стихотворений и поэм В. Саянова сопровождался примечанием от автора: «Стихотворения, включенные в книгу, печатаются в новых редакциях 1937—1939 гг.». Следует подчеркнуть, что эти «новые редакции» зачастую носили весьма решительный характер, затрагивающий самые основы стихотворения и коренным образом его менявшие — в духе того понимания слова и образа, да и самой поэтики, которое выработалось у Саянова в зрелую пору его творчества.

Переработка ранних стихов отозвалась в первую очередь на их словаре, из которого изгонялись речения сугубо областнические, грубоватый говор окраин, та «полублатная», а то и попросту «блатная музыка», к которой некогда так внимательно прислушивался поэт.

Акцент на «блатное» и «областническое» в речи сменился иным — в ней подчеркивается не то, что разделяет, а то, что служит объединению людей, связанных общностью жизни, деятельности, слова. Не случайно и стихотворение «Не говор московских просвирен...», в котором утверждалось, что «браток из-за Нарвской заставы таежной шпаны не поймет», стало теперь называться «Русская речь». Отныне поэт решительно (порою читателю может показаться: слишком решительно!) освобождал свои стихи, даже самые ранние, от всего, что

могло бы придать им локально-областническое, сугубо «местное», а то и сниженное, «упрощенное» звучание, как это было в «Фартовых годах» («башка простая...», «а пошто?!», «да и none», «знакомое дело», «похряем», «вона» и т. п.).

Эта переработка касалась не только словаря, но и всей образной структуры, из которой удаляются элементы случайности, прихотливости, недостаточной внутренней оправданности.

Показательна переработка ранней поэмы «Побег шахтера Гурия под Клинцами» (1927), посвященной одному из легендарных эпизодов времен гражданской войны. Неизменными остались только самая общая канва сюжета — захват в плен партизана-шахтера бандой «зеленого» атамана — и ритмический строй стиха. Все остальное подверглось существенной правке. Поэма была освобождена от экспериментального сугубо фонетического подбора слов, от необычайных или почти заумных созвучий: «С перцем, с герцем, с перьерьерьцем Распалился батька сердцем», «Побегунчики, покатунчики! Неспроста был хмур В три креста Аллюр» и т. п. В. Саянов отказался от шаржированности и откровенной «буффонадности», той литературной игры в духе «лефовского» словотворчества, которая лишала авторское повествование достоверности в разработке и «подаче» материала. В связи с этим в новом варианте поэмы существенным образом изменилась и сама ее фабула. Если раньше шахтер Гурий неожиданным для читателя и совершенно случайным образом спасался из плена (в связи с чем поэма и завершалась «веселыми ладами»), то теперь он погибает от руки бандитов, заживо сожженный ими. Герой обретает бессмертие в думам народа, в сложенных о нем преданиях, одним из которых и становится — согласно замыслу поэта — «народная легенда о шахтере Гурии», близкая теперь по своему характеру не «лефовскому» экспериментаторству, а традициям фольклора, духу народных сказаний.

Если сопоставить два варианта этой легенды — первоначальный и позднейший, то можно уяснить и те принципы, на основании которых поэт подвергал существенной, а подчас и коренной переработке многие свои ранние произведения.

Чем делаюся старше,
Спокойней речь веду —

сказал поэт в ранних своих стихах. Эти слова не остались одной лишь декларацией, они определили и направление его дальнейшей работы над стихом, и характер переработки ранних произведений. Но в процессе этой переработки стихотворения кое в чем явно про-

игрывали, утрачивая значительную долю той свежести, непосредственности, эмоциональной насыщенности, которые так привлекали читателей «Фартовых годов» и «Комсомольских стихов». Сглаженность неповторимых черт породившего их времени далеко не всегда компенсировалась большей продуманностью и «литературностью» того или иного позднейшего варианта, той или иной «новой редакции».

5

Годы войны, непосредственным участником которой являлся поэт, не столько изменили, сколько еще более подчеркнули те черты и особенности в творчестве В. Саянова, которые были и дотоле присущи ему, сделали конкретнее его рисунок, более углубленными раздумья о борьбе с врагом, носившие ранее подчас отвлеченный характер. А теперь, когда этот враг предстал перед поэтом «лицом к лицу», стихи В. Саянова дышали жаром еще не остывших боев, обретали особую жизненность и доподлинность — не только эстетическую, но и как непосредственное свидетельство участника описываемых событий, а такими участниками в годы войны являлись многие и многие наши поэты и писатели, вместе с которыми В. Саянов находился в общем боевом строю.

Поэт говорил о себе в книге «Голос молодости»:

Друг мой, стих мой, с тобой мы в походе
И сейчас, как в минувшие дни...

Чувство того, что его муза всегда в «походе», что его перо можно приравнять к штыку, по словам и заветам Маяковского, еще более обострилось у поэта, когда наступил грозный час опасности, нависшей над родиной. Поэт неизменно готов был сменить — и менял — литературное оружие на самое обыкновенное, владеть которым обязан любой солдат.

Чувство полной и нераздельной слиянности со всеми, кто прошел небывалые испытания походов и боев, издавна присущее поэту, особенно окрепло и углубилось в те дни, когда в борьбе с фашистскими захватчиками наши люди не щадили ни усилий, ни крови, шли на величайшие жертвы и испытания, в которых росли, крепили и закалялись. Как говорит поэт:

То школа народа, — и счастье мое,
Что вместе с бойцами прошел я ее.

Вот это счастье делить вместе с народом его судьбу, хотя бы в самую горькую и трудную минуту, — оно было в полной мере присуще В. Саянову и герою его лирики.

Вспоминая друзей по походам и схваткам с врагом, поэт имел все права сказать о себе как об их неизменном спутнике, верном соратнике от начала войны и до завершающих ее боев за Берлин:

Я с вами шел дорогой исполинской,
Зимой и летом в зареве боев,
От Ладоги до площади берлинской,
От Волги до дунайских берегов...

Поэт, для которого славная дорога его боевых друзей была не только фронтовой, но и исторической, стремился воссоздать облик своих отважных соратников в таких чертах и приметах, которые были бы достойны войти в предание и остаться в памяти поколений, как это мы видим в поэме «Орешек» (1942), посвященной защитникам Ленинграда и «Дороги Жизни». Это по-своему определяло и характер стиха, самую его тональность, пафос повествования, сосредоточенного главным образом на тех чертах, подробностях, деталях, в которых — сквозь временные и преходящие — мы можем различить черты бессмертные и нетленные.

В позднейших стихотворных произведениях В. Саянова, относящихся к годам войны, дням ее завершения, к «весне 1945 года» (как называется один из циклов стихов), мы также не можем не отметить характерную для него особенность, издавна присущую ему, — стремление свои непосредственные восприятия, наблюдения, переживания, вызванные ходом современных событий, то трагических, то радостных и торжественных, сочетать с чувством истории, с раздумьями о судьбах всего мира, о смысле и значении подвига нашего солдата, прошедшего от берегов Волги до Берлина, о схватке «двух миров».

Присущая поэту зрелость политического мышления, опыт реальных наблюдений, связанных с непосредственным участием в тех событиях, ход которых оказал решающее влияние на судьбы мира, — все это оказалось в цикле «Нюрнбергский дневник» (1946).

Здесь, в Нюрнберге, куда поэт прибыл в качестве специального корреспондента, во время суда над главными военными преступниками, непосредственные наблюдения В. Саянова сочетались с той широтой ассоциаций и восприятий, которая порождалась чувством историзма, издавна присущим ему, а теперь обретшим особенно

прочную и углубленную основу, ибо самые значительные главы истории мира развертывались на глазах поэта — участника тех событий, о которых не забудут и столетия спустя.

Один из персонажей «Нюрнбергского дневника», коренастый русский сержант в карауле, напоминает воина, изображенного на памятнике Победы в Берлине, в Трептов-парке, — сурового и непреклонного солдата, который, защищая прижавшегося к нему ребенка и держа его на одной руке, другою разрубает гадину — фашистскую свастику.

Сходство этих двух образов различных родов искусства не случайно: лирике В. Саянова вообще присущ особый род «монументализм», стремление к тому, чтобы представить облик своих героев и их деятельность в чертах укрупненных, лапидарных, значительных, как часть истории, как мотив, достойный стать песней, легендой, памятником, как одну из реликвий того музея, где потомки могут приобщиться к славе и величию своих отцов.

6

С середины сороковых годов — после опубликования «Нюрнбергского дневника» — В. Саянов отдает главное свое внимание работе в области прозы (завершение и публикация романа «Небо и земля», работа над романом «Лена», над обширной и незавершенной эпопеей «Страна родная»), публицистики, истории поэзии, теории стиха, мемуаров и т. д. Собственно поэтической работе В. Саянов уделяет не столь уж много времени и внимания, и не все из того, что опубликовано им в эти годы в области поэзии, можно отнести к его удачам.

Следует отметить и то, что недостатки, широко распространенные в литературе тех лет, когда в нее широким потоком входили риторика, выспренность, парадность, поверхностность в описании великих дел наших людей, сказались и на иных стихах В. Саянова. Так, в цикле «Онего» (1948) живое, полнокровное, взволнованное чувство, вызванное творческим подвигом нашего человека, нередко подменялось сугубо внешними приметами строительства, хроникерской их регистрацией:

В полярной бухте дом жилой,
Движок гудит, не умолкая,
Качаясь в лад волне морской. . .
Здесь будет центр большого края.

Давно ли стройка начата,
А уж встают над бухтой зданья!..

и т. д.

Конечно, такого рода внешне описательные и риторически звучащие стихи вряд ли могут захватить читателя. Нельзя отнести к числу удачных произведений и поэму В. Саянова «Свет над полями» (1952), в которой большая тема преобразования страны — в согласии с ленинскими планами электрификации России — не получила углубленного и самобытного решения. Но нельзя забывать и о том, что таких произведений в творчестве В. Саянова не много — и не они определяют его характер, его наиболее существенные черты.

На протяжении многих лет, с 1927 года и до последних дней своей жизни, В. Саянов работал над романом в стихах «Колобовы». Роман этот, написанный четырехстопным ямбом (и вообще близкий по характеру стиха духу и канонам уже сложившейся традиции), охватывает большой период истории нашей страны — от самого рубежа XX века и вплоть до событий гражданской войны (а если включить сюда и эпилог, то еще дальше, до наших дней); здесь поэт (следуя за Блоком — автором «Возмездия») хотел воссоздать

... часть истории России

В истории одной семьи.

В «Колобовых» В. Саянов стремился нащупать новые пути своей поэзии, сочетать историзм и монументальность изображения с картинами сугубо житейского плана, с семейно-бытовой обстановкой, с психологически развернутыми характеристиками множества персонажей, с подробно и сложно построенным сюжетом, связанным и с историей одной семьи, и с переломными событиями истории нашей родины. Но, вступая на эту, новую для него, почву, поэт не сумел полностью воплотить захвативший его замысел и далеко не во всем справился с большой задачей, поставленной им перед собой. Тут — наряду со страницами, лирически взволнованными, ярко написанными, отличающимися меткостью образа и точностью рисунка — немало и таких страниц, где изображение становится беглым и схематичным; многое решено здесь неточно, приблизительно, без достаточной степени проникновения в характер персонажей, в связи с чем сюжет лишается естественности в своем развитии, да и самый стих звучит подчас принужденно, недостаточно выразительно, а то и напоминает широко известные строки классиков прошлого, словно бы имитирует их. Все это и не позволяет отнести «Колобовых» к художественно завершенным произведениям.

Свидетельством нового творческого подъема В. Саянова явилась последняя — из вышедших при жизни поэта — книга его стихов «Голос молодости» (1958). Ее автор словно бы возвращается к давним годам своей юности — и многое здесь звучит переключкой с ней, новым ее осмыслением в свете большого жизненного опыта, тех забот, тревог, испытаний, которые выпали на долю поэта и всех его сверстников и современников, лишенных былой задорности и восторженности, — слишком трудна и тяжела оказалась жизнь этого поколения, слишком большие испытания выпали на его долю!

В стихотворении, открывающем книгу, поэт обращается к большому и трудному опыту сверстников, подводя итог и своей жизни и жизни своих героев, которым он, начиная творческий путь, посвятил столько пылких и взволнованных стихов:

Что сказать? Мы очень трудно жили,
Сил своих совсем не берегли,
Мы порой без спросу в дом входили,
Кой-где двери кулаком открыли,
Кой-где, может, невзначай прошли
Мимо счастья тихого и мимо
Ждавшей нас сердечной теплоты...

Но поэт знает и утверждает: большие испытания, выпавшие на долю наших людей и неизбежные в любом большом деле, во многом оправданы — и вспоминает о них с тем, чтобы еще и еще раз отстоять правоту и неизбежность избранного им — и его поколением — трудного и неизведанного пути.

Чувство непреходящей и не подвластной разочарованиям и унынию молодости возникло у поэта не случайно — оно было порождено ощущением того, что он не изменил, да и не мог изменить мечтам своей юности, сквозь всю свою жизнь пронес те идеалы, которые отстаивал в самых суровых испытаниях, в самой напряженной борьбе. Вот почему поэту не изменил «голос молодости», и так же, как встарь, он «верен боям и походам» как самому обычному для него делу — и этот боевой задор придает ощущение неизбывной юности самому поэту и героям его лирики.

В книге «Голос молодости» В. Саянов снова делится с нами своими раздумьями о судьбе поколения, о нашей эпохе и о путях современной истории. Поэт словно бы продолжает тот большой, сердечный разговор, который в давние годы был начат им в книге «Комсомольские стихи».

Стремление увидеть в одном из походов времен гражданской войны тот «вечный смотр», память о котором сохранится навеки,

увидеть в чертах реальных и конкретных черты неизгладимые, бессмертные, символически-обобщенные определяет внутреннее единство лирики В. Саянова, ее родство с легендой, сказом, старинным преданием, ибо и сама наша действительность представлялась поэту «Великанской Книгой Дня», распахнутой на самой большой и захватывающей ее странице:

Удивителен шаг исполина,
Где пройдет — там растопятся льды.
Что ни шаг — то родится былина,
Что ни миг — расцветают сады.

И духом такой героической романтики овеяны в глазах поэта даже и самые повседневные дела наших людей, вот почему, как и встарь, образы легенд, сказаний, былин властно входили в его лирику, по своему определяя ее возвышенный строй и романтический характер.

Где бы ни был поэт, его никогда не оставляло чувство того, что он в походе, начатом в юности и вдохновленном теми же идеалами, но не имеющем конца, что и определяло суровые, мужественные, хочется сказать — солдатские черты лирики В. Саянова. Не случайно для него «любимая книга» (так называется одно из стихотворений) — это та, которая каждой своей строкой устремлена в будущее и умеет

Подымать за собою,
Как могучий прибой,
Вечно звать к непокою
На черте огневой.

Вот какое искусство — активно и страстно вмешивающееся в жизнь, вооружающее нас на борьбу — выше всего ценил поэт и сам стремился, чтобы его «стих, совсем молодой», отвечал этому назначению, властно и полноправно — наряду с орудием труда и оружием борьбы — занял свое верное и прочное место в жизни и творчестве нашего народа.

Широта разнообразных интересов поэта в сочетании с живым, обостренным тяготением к людям самых разнообразных познаний и профессий, к жизни своих современников, постоянная готовность бросаться туда, где «всего трудней», всего тяжелей, — вот что определяет характернейшие черты и особенности творчества В. Саянова как писателя нового склада, порожденного социалистической эпохой и сочетающего в себе художника, гражданина и «бойца на будущее», говоря словами Маяковского.

Определяя смысл и значение своей лирики как летописи героических и знаменательных событий, участником которых являлся и сам поэт, он говорит о себе и своем творчестве:

Как верный свидетель тех лет грозových,
Непременный участник походов,
Я оставлю потомкам правдивый мой стих,
Оживут в нем двадцатые годы!..

И действительно, двадцатые годы, да не только двадцатые, а и многие другие, оживают перед нами, когда мы вчитываемся в стихи В. Саянова — поэта, который жил всеми тревогами и радостями своего века и своего поколения.

Завершая свой жизненный путь, на котором пришлось изведать столько бедствий, испытаний, утрат, поэт делится с нами трудными и горькими признаниями:

Разве людям вверяется счастье
Без разбитых надежд и потерь?

Эти стихи не могут не захватить читателя глубиной и трагизмом сказавшихся в них чувств, которым поэт далеко не всегда давал выход в своей лирике, славя и воспевая дела и подвиги своих современников.

В каждой его строке чувствуется человек, который вкладывает в творчество не только свой талант, но и всего себя, человек своеобразного характера и неповторимого склада, со своей судьбой, с присущим именно ему взглядом на жизнь, людей, задачи искусства — чем и определяется особое место Виссариона Саянова в советской поэзии и ее истории.

Б. Соловьев

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 16 июня 1903 года. Мои детские годы прошли на приисках Витимского и Олёкминского горных округов, и с самого начала жизни мне было суждено стать свидетелем многих исторических событий, побывать на «больших перекрестках эпохи», говоря словами одного моего юношеского стихотворения. Величественная сибирская природа, духовная мощь простых людей, среди которых прошло мое детство, знакомство с приискателями, хранившими в своей памяти лучшие образцы народного творчества, определили мое жизненное призвание. Те места Иркутской губернии и Якутской области, где прошло мое детство, мало описаны в художественной литературе. А какой это замечательный край, сколько там неисчерпаемого материала — в человеческих характерах большого размаха, в замечательных судьбах людей, в красоте суровой природы... Именно там, на далеких приисках, научился я любви к великому русскому слову, узнал тайны коренного русского языка. Первые стихи, написанные мною, были посвящены витимско-олёкминскому краю, и повествованию о нем я посвятил долгие годы жизни.

В 1912 году, девятилетним ребенком, я присутствовал на похоронах ленских рабочих, расстрелянных жандармским ротмистром Терещенковым, и событие это навсегда сохранилось в моей памяти. Как известно, с Ленского расстрела начинается стремительный подъем рабочего движения, приведший через пять лет к Великому Октябрю. В Октябрьские дни я был свидетелем событий, навеки вошедших в историю человечества. В то время мне было четырнадцать лет, и я жил в Петрограде. В 1917 году мне посчастливилось увидеть Ленина, слышать некоторые его речи, со многими замечательными большевиками, питерскими рабочими старшего поколения, мне довелось познакомиться лично.

С 1917 года я живу в Ленинграде, и с историей великого города за четыре десятилетия неразрывно связана моя судьба. Мне повезло стать свидетелем трудового подвига ленинградцев, и незабываемо воспоминание о цехах «Красного путиловца», где я бывал в ту героическую пору, когда создавались первые советские тракторы.

В Ленинграде прошли годы моей литературной деятельности. В 1923 году я вступил в Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей. Тот год я и считаю началом своего пути в литературе.

Поэзия была областью, в которой я начал работать прежде всего. В то время нам казалось, что путь к созданию большого искусства легок, и мы начинали свою работу в стихе, полные молодой самоуверенности, — недаром один из моих сверстников и товарищей, талантливый поэт Евгений Панфилов, писал тогда:

Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола.

Со временем мы поняли, конечно, наивность того представления о действительности, которое выражено в цитированных стихах. И все же наша молодость была замечательной порой, память о которой дорога мне, — ведь в наших юношеских увлечениях и молодых пристрастиях был революционный энтузиазм, озарявший все вокруг своим ярким светом. Общеизвестно, какие серьезные идеологические ошибки совершил РАПП, но нельзя забывать и того, что неповинны в них рядовые участники пролетарского литературного движения, работавшие в заводских кружках и рассматривавшие свою поэтическую деятельность как один из участков великой культурной революции советского народа.

Первая моя книга, вышедшая в 1926 году, была сочувственно встречена критикой. Не все в ней хорошо. Само название ее — «Фартовые года» — отразило ошибочные представления некоторой части нашей молодежи той поры о языке революции. Понадобились годы, чтобы мы пришли к правильному решению этих важных вопросов. И в 1933 году, когда Горький выступил со своими статьями о языке, я был в числе тех, кто поддержал его в печати.

В 20-х же годах я выступил со своими первыми прозаическими работами. Мое развитие как прозаика шло медленно, но теперь, оглядываясь на прошедшие десятилетия, я не жалею об этом. 1927—1929-е годы были самой значительной эпохой моей жизни. Именно тогда зародилась у меня мысль о создании большого прозаического труда, который показал бы молодым поколениям чита-

телей, как царская Россия стала Россией социалистической. Развиваясь и уточняясь, мой замысел привел меня к созданию трех романов, которые должны были показать историю русского общества за первую половину нашего века. Романы были объединены единством замысла, а не общностью героев. Первым из них был роман «Лена», повествующий о судьбе ленского рабочего класса в дореволюционную эпоху и в наше время. Рассказывая о ленских рабочих, я должен был рассказать и о их врагах, мне пришлось показать всю царскую Россию в социальном разрезе. Так роман о Лене стал для меня произведением, посвященным крушению старого мира и рождению нового.

«Небо и земля» — мой второй роман. Это повествование о людях одной профессии, об их судьбах и переживаниях, о той роли, которую они сыграли в развитии русского общества. Меня прежде всего интересовали человеческие характеры, и поэтому не следует считать мой роман историей русской авиации. Но понятно, без изложения многих исторических фактов нельзя было написать «Небо и землю» — ведь в то время, когда создавались ее первые части, история русской авиации не была написана. Не написана она и до сих пор.

Третий роман, задуманный мною в конце 20-х годов, — «Страна родная». Действие его начинается в конце 1928 года и доходит до года 1946-го. Этот роман еще не закончен мною.

Задумывая свою трилогию, я надеялся завершить работу над нею за полтора десятилетия, то есть закончить ее к середине 40-х годов. Но мои расчеты были опрокинуты ходом исторических событий. В 1939 году на западных границах загремели первые выстрелы. С бригадой писателей Ленинграда я выехал в Западную Белоруссию, не думая еще, что вскоре придется надеть солдатскую шинель и принять участие в боях за родину. С первого дня войны с белофиннами я вступил в ряды Красной Армии, и только в августе 1945 года мне удалось демобилизоваться. Шесть лет жизни навсегда связаны для меня с Советской Армией, с ее походами и боями. Во время войны я получил возможность хорошо узнать русского солдата и считаю это главным счастьем моей жизни. Я увидел прежде всего ту же душевную мощь простого человека, проявления которой наблюдал когда-то в далеком детстве на Лене. Так впечатления двух эпох моей жизни сомкнулись воедино и дали мне огромный материал для задуманных книг.

Во время войны мне довелось быть рядовым участником героической ленинградской обороны, так глубоко раскрывшей высокие духовные качества советских людей и так убедительно показавшей всему миру беззаветную преданность ленинградцев ленинскому делу.

Как работник военной группы писателей и армейской печати, я совершил множество поездок в действующие части, побывал на всех важнейших участках Ленинградского фронта. Немало времени провел я среди солдат и о многом из услышанного в те дни рассказал впоследствии в «Солдатских разговорах», вошедших в мою книгу «Ленинградский дневник». В военные годы я работал в самых разнообразных жанрах. Корреспонденции с фронта и поэмы, очерки и стихотворения, сцены для армейской самодеятельности и подписки к Окнам ТАСС, приключенческие рассказы и стихотворные лозунги для спичечных коробок, статьи о великих русских полководцах и статьи о классиках русской литературы писались мною в те давние годы. Конечно, немного из написанного тогда заслуживает переиздания, но нельзя забывать, что все это писалось для нужд текущего дня, все это подчинено историческим задачам, стоявшим в то время перед Советской страной и родным Ленинградом.

Окончание войны застало меня в Берлине.

Послевоенные годы были порой усиленной работы, временем, когда я смог наконец целиком посвятить себя творческому труду. Одна за другой стали выходить в свет давно задуманные и давно начатые книги.

Главные из моих книг — романы «Небо и земля», «Лена» (в двух томах), «Страна родная» (в четырех томах, вышли в свет только первые два). Лучшие из написанных мною стихов и поэм входят в состав двухтомника, издающегося Гослитиздатом. Немногие из критических статей, написанных мною за последние двадцать пять лет, вошли в книгу «Статьи и воспоминания». Боям за Ленинград посвящен «Ленинградский дневник».

Много места в моей жизни заняла редакционная деятельность. С 1929 года я работал во многих журналах — «Звезде», «Литературной учебе», «Литературном современнике», «Ленинграде». С 1931 года, когда А. М. Горьким была основана «Библиотека поэта», я являюсь членом ее редакции.

С 1941 года я член правления Ленинградского отделения Союза писателей, а с 1954-го — член правления Союза писателей СССР.

Стихи мои переведены на многие иностранные языки. Переводился на иностранные языки и мой роман «Небо и земля».

В настоящее время я усиленно работаю над завершением романа «Страна родная».

Октябрь 1958 г.

В. М. Саянов умер в Ленинграде 22 января 1959 года.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. ВСТРЕЧА С ЗАСТАВОЙ

Ах, сердце, ты не хорохорься, —
Смотри, ссутулился, продрог,
Пиджак шершавый пообтерся
В пыли проселочных дорог.
И ночи августовской мгла
Туманом на плечи легла.
Но всё как было онамедни,
Огни вечерние горят.
Сперва перрон. Перрон последний,
И за перроном — Ленинград.
Дороги пыльные далече,
Совсем далече от меня,
Но вот опять легли на плечи
Снопы зеленого огня.
Не нынче ли
Веселый час твой?
Качнется сумрак голубой,
Эй, Нарвская застава,
Здравствуй,
Я снова свиделся с тобой.
Гудки запели на прокатном,
Как прежде,
Перед четырьмя.
Застава,
Я пришел обратно
В твои шершавые дома.
Вот видишь,
Нынче стал постарше,
Лицо обветрело мое,

Но пусть в груди
Грохочет маршем
Твое тяжелое литье.
Пусть нетерпенье молодое
Вставало вечно на пути
И с каждой строчкой,
Как забоем,
Мне было тяжело пройти.
Но плечи не боятся груза,
Грозой не захлестнуть глаза,
Не этот вечер синеглазый
На жизнь поставит тормоза.
Не нынче ли
Веселый час твой?
Качнется сумрак голубой,
Эй, Нарвская застава,
Здравствуй,
Я снова свиделся с тобой.

1924

2. С ТОБОЙ

Над городом стыли метели,
Горели костры на углу,
Баяны рабочей артели
Будили вечернюю мглу.

Опять загудели моторы, —
Не так ли и в те-то года
Вздымалася слава, которой
Уже не забыть никогда.

Ты вспомнишь: туман спозаранку,
Огни запричаленных барж,
Заставы ведут Варшавянку —
Трехкратного мужества марш.

Ты вспомнишь знамена над Пресней,
Бастующих станций огни. . .
Опять захлебнулись песней
Твои пролетевшие дни.

Птенцы, что ходили с «Авроры»,
Когда подымался прибой,
В спаленные бурей просторы, —
Родимые братья с тобой.

Где берег лег узкой полоской,
Немало в дыму боевом
Парней с бескозыркой матросской,
С простым комсомольским значком.

Встает молодая эпоха.
Походная слава горда.
Опять под тальянку, под грохот
Идут ветровые года.

1925, 1937

3. ПЕРЕПРАВА

Только снег захрустит под подошвами
И подымутся улицы в ряд, —
Осуждая смятение прошлое,
О былом земляки говорят:

«Нам та жизнь была не по нраву,
И недаром стоял вдалеке
Наш дозор на глухой переправе
И флотилия шла по реке».

Выйду в даль, где туманные воды
Тихо катятся в поле ночном, —
Там звенят до утра хороводы
За глухим, за медвежьим селом.

Там желтеет песок, побережье,
Голубые огни на столбах, —
То заря нашей юности брезжит,
И тальянки гремят на плотях.

1925, 1939

4. ОКТЯБРЬ

..И снова этот город дымный,
Грохочущий в стихе моем,
Каким он был, когда над Зимним
Перекликался Октябрем.

Мы выросли в крутые годы,
Когда, стряхнувши груз невольный,
Сталелитейные заводы
Уже равнялись на Смольный.

Тогда качалась земля,
Покорна радио Кремля.

И помним: проходили рядом
В просторы трех материков
Красногвардейские отряды
И эшелоны моряков.

Тогда сердца стучали звонче,
Дробился грохот батарей,
Но ветер был упорным кормчим
В распустьях северных морей.

Прожектора глядели зорко,
За ними шли на поводу
Полки, тонувшие в махорке,
В густом пороховом чаду.

Когда Германия взметнулась,
Штыки взъерошились, как шерсть.
О, если бы такую юность
Еще однажды перенести.

Но на сталелитейном нынче
Наш ветер ширится, звеня.
Он каждой гайкою привинчен
К заботе будничного дня.

И так же в полдень полноводный,
Охватывая города,
Октябрь! врезается сегодня
Твоя железная страда.

1925, 1931

5. НАТАЛЬЯ ГОРБАТОВА

1

Шлагбаумам древним
Дорога верна,
По шпалам не мерили версты,
За синим раздольем казалась страна
На буре замешенной просто.

Над всеми дорогами плавала мгла,
Она по тропинкам летела
И вот на рассвете уже привела
Девчонку из агитотдела.

Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Ах, годы прославленных странствий!
Еще пробираются через туман
Огни отдаленные станций.

Но буря не медлит,
Но жар не остыл,
Отряды не ждут пересадки, —
Грохочут перроны,
И скачут мосты,
И лязгают звонко площадки.

2

Любовь, как любому,
Была мне дана
По спорам,
 по дням,
 по гулянкам,

Гудела до света
Страна, как струна,
С тобой по глухим полустанкам.

Застыла во льдах
Золотая река,
Отряд сформирован ударный,
И дрогнули плечи,
И сжала рука
Упрямый приказ командарма.

У самого края
Холодных степей
Горят бесприютные звезды.
В сто дальних станиц
И лесных волостей
Отправлены наши разъезды.

А буря не медлит,
Визжат буфера,
Ревут тендера, беспокоясь.
Гляди — на возгорье
Три желтых костра,
Гремит бронированный поезд.

8

За полустанком
Метель бормочет,
Ворон ко мне летит.
Снова тропинка глухою ночью
В темную даль бежит.

Горькие губы теперь забудешь.
Где-то вблизи поют:
«Ты ль за разлуку
Меня осудишь?
Сердце ль мое пробьют?»

Два года проходят под ропот ветров
В степях,

На заброшенных пожнях,
И голос ломается,
Стал он суров
В боях и дозорах тревожных.

4

Никто показать мне дороги не мог.
На поясе бился подсумок.
От синих туманов,
От горных дорог
Входил я в кривой переулочек.

Прислушался:
Чуть проскрипел журавель,
Качаясь на ветре студеном,
И девушки пели на пыльной траве,
А песня была о Буденном.

Тропинки бегут
От высоких ворот,
И молнией сумрак распорот,
И каждая
Влево немного берет,
И скоро я вышел за город.

Веселый лесник
На пригорке крутом
Живет у речной переправы,
И медленно ходит по речке паром,
Грустят придорожные травы.

Он встретил меня,
И мы вместе пошли
По темному полю ночному.
Трубили в крылатую даль журавли,
И кони бежали к парому.

О почесть погибшим,
Ты вечно проста
И памятна вечно в походе.

Звезда
На высокой рогатке шеста
И холмики насыпи вроде.

«Кто здесь похоронен?» —
Его я спросил.
Луна над лесами всходила,
И надпись на холмике братских могил
Внезапно она озарила.

«Наталья Горбатова. . .»
Пали в туман
Дороги прославленных странствий, —
Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Огни отдаленные станций.

Но жизнь принимаю,
Люблю, как тогда,
Крутые ее перебранки.
Грохочут моторы,
Летят поезда,
Огни на походной стоянке.

И пот,
И работа,
И рябь кирпича,
И песни рабочей артели. . .
Вдали, за рекою,
Где филин кричал,
Ночные просторы светлели.

1925, 1937

6

Не говор московских просвирен,
Но сердцем старайся сберечь,
Как звездное небо России,
Обычную русскую речь.

Ее нехватишь в уставы —
Звенит, колобродит, поет
С частушкой у вербы кудрявой,
С тальянкой у Нарвских ворот.

Бегут перелеском проселки. . .
У волжских больших переправ
Поют на заре комсомолки
О девушках наших застав.

И светлое очарованье
Ты каждому сердцу даешь,
И что для тебя расстоянье, —
Ты в мире как в песне живешь.

Ты рано меня приласкала,
Но крепче слова приторочь
Под режущим ветром Байкала,
В сырую балтийскую ночь!

1925, 1948

7. ВЕЧЕР ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

В город вернулись погодки
После поры фронтовой,
Старший — в шинели короткой,
В кожаной куртке — другой.

Снова товарищи вместе.
Поздно кончается день.
В улицы тихих предместий
Туча отбросила тень.

Вдаль убегают составы. . .
Кто торопливо поет
В доме за Нарвской заставой,
Около Нарвских ворот?

Путь в проходную контору. . .
Что ж ты задумчив и строг?
Сердце ль грустит по простору
Ближних и дальних дорог?

Или, как старую повесть,
Вспомнил ты путь боевой,
Нарву, Шестой бронепоезд,
Дымную даль за рекой?

Нынче припомнишь под вечер
Всё, что дарила гроза:
Песню, тепло человечье,
Верных друзей голоса,

Их разговоры, рассказы,
Шутки, и слезы, и смех. . .

Входит дружок светлоглазый
В старый сверкающий цех. . .

Песню доносит с залива,
Плещет в мартенах литье. . .

Здравствуй, старинный Путилов,
Молодо сердце твое!

1925, 1952

8. НОЧЬ НА ЛАМАНШЕ

Туманы, как раньше,
И пена с боков.
Опять над Ламаншем
Огни маяков.

И песни знакомей,
Когда издали
Под грохот и гомон
Пройдут корабли,

Качаясь потом
С углем и рудой
Под Южным Крестом
И Полярной звездой.

Во мгле сероватой
Стоит человек.
Оборваны ванты,
И волны в спардек.

Проворней кудахтай,
Соленая ночь,
Матросам над вахтой
Качаться невмочь.

Туманы, как раньше, —
Но грудью крутой
Встает над Ламаншем
Советский прибор.

На мачты, на кубрик,
Где плещется мгла,
Союзных республик
Взойдут вымпела.

1925, 1937, 1958

9

Ах, ребята, ах, друзья родные,
Девушки в малиновых платках,
Не для вас ли я слова простые
Соберу в мальчишеских стихах?

Дни пройдут, — одной мечтой влекомый,
Я уйду в далекие края,
Вдруг услышу голос незнакомый
И скажу: «То молодость моя».

1925, 1937

Как опять закрутятся тальянкам
По канавским пивнушкам пора.
Ты встречаешь меня на Фонтанке,
Где порой шебуршит детвора.
И дома вырастают из тьмы там,
Бьет копер и грохочут бадьи,
Ночь фефелюю, рылом немытым
Припадает на плечи твои.
Ишь ты зюзя, опять пробормочет,
Прогрохочет, угрохает прочь,
Соловьиного пенья короче
Будет эта несытая ночь.
Нам сегодня не шлындать с тобою,
Поджидает парнишку райком.
Может, баской была и грубою,
Да растаешь в дыму городском.
Ах, голубенькой ленточкой дразнишь,
Шеманают кругом вахлаки.
Для того ли на подступах Азии
Пели пули и меркли штыки.
Если облако, сбитое в войлок,
И гудки словно ветер поют,
Я другую припомню такой ли
В тесноте опрокинутых юрт.
Нет, не таким фольтеком надо:
Разговорами тут не помочь.
Прогремит по торцам Ленинграда
Ветровая несытая ночь.
По заводам, за Невской, за Нарвской,
Где гремит и грохочет литье,
По заставам, где шел Володарский,
Занимается солнце твое.
Разве мало ребят в коллективе?
Эй, братишка, по-старому — пять.
Снова ветер на Финском заливе
И Кронштадтская гавань опять.

<1926>

11. СОВРЕМЕННОКИ

Пусть поют под ногами камня,
Высоко зацветают поля,
Для людей моего поколенья
Верным берегом стала земля.

И путиловский парень, и пленник,
Полоненный кайеннской тюрьмой, —
Всё равно это мой современник
И товарищ единственный мой.

И расскажут покорные перья,
С нетерпеньем, со смехом, с тоской,
Всё, чем жил молодой подмастерье
В полумраке своей мастерской.

Снова стынут снега конспираций,
Злой неволи обыденный гнет.
В эту полночь друзьям не пробраться
К тем садам, где шиповник цветет.

Но настанет пора — и внезапно
В белом пламени вздрогнет закат,
Сразу вспышки далекие залпов
Нежилые дома озарят.

И пройдут заповедные вести
Над морями, над звонами трав,
Над смятеньем берлинских предместий
И в дыму орлеанских застав.

Наши быстрые годы не плохи
И верны и грозе и литью,
На крутых перекрестках эпохи
Снова сверстников я узнаю.

1926, 1937

Броди, сумерничай и пой,
 Года развеяв на просторе,
 А если нас во мгле сырой
 И поджидает крематорий, —

За всё, что называл своим,
 Что передал родному краю,
 За песенный, за горький дым,
 Я эту муку принимаю.

Летит над белым взморьем чайка,
 А даль туманная глуха.
 И замирает балалайка
 Пред медным грохотом стиха.

И всё, что пело и влекло
 И что росло неодолимо,
 Отдаст последнее тепло
 За горсть золы и струйку дыма.

И знай, что даже эта плоть
 Не будет вечной и нетленной,
 Еще придут перемолоть
 Ее на жерновах вселенной.

Не потому ль в конце пути,
 Как будет песенка пропета,
 И я скажу: «Прости, прости,
 Моя зеленая планета.

Увлек меня водоворот
 Тоской, сумятицею, тленьем,
 Но день грохочет и живет,
 Врученный новым поколениям.

За синей россыпью морей
 Какое грозное блистанье!
 В нем капля крови есть моей
 И легкое мое дыханье».

1926

ПЕРЕКЛИЧКА

Носится в зашипе гудения
Шатаясь,

Иногда
в
Всё чаще
идёт

топорщась,
пролетая ~~красиво~~ гремя-вперебой,
Стоцветной сынаяет радугой, ..
Залетную вьюгу выносит прибой
Над морем и старую Ладогой.

И штурман ^{а то и сто,} старинную карту берет,
И видит он, синь океанов, —
Склонился над сетью широт и
долгот,

Над россыпью меридианов.

А море встречает его на заре,
Шумит золотая прохлада,
За дюнами — берег, и дом на горе,
И липы приморского сада.

Что грезится сердцу в ночной
тишине?
По мостику штурман шагает,

13. ПЕРЕКЛИЧКА

Пылает в заливе туман голубой,
Стоцветной прорезанный радугой,
Могучие штормы выносит прибор
Над морем и старую Ладогой.

И штурман заветную карту берет,
И видит он синь океанов,
Склонился над сетью широт и долгот,
Над россыпью меридианов.

А море встречает его на заре,
Шумит золотая прохлада,
За дюнами — берег, и дом на горе,
И липы приморского сада.

Что грезится сердцу в ночной тишине?
По мостику штурман шагает,
Морские сигналы при белой луне
Как старую книгу читает:

«Откуда ты?» — «Я из Кронштадта иду!»
— «Откуда?» — «Я с Белого моря!» —
Сияние севера пляшет на льду,
Борта ледокола узоря.

И дальше плывет он в свинцовую тьму,
Где грозные штормы бушуют;
Из мрака пробившись навстречу, ему
Всю ночь корабли салютуют.

И штурман одною мечтою томим:
Вернувшись на землю родную,
Расскажут матросы подругам своим
Про ту переключку ночную.

1926, 1937

14. ШЛЕМ

Есть такие дырявые шлемы,
Как вот этот простреленный твой,
И мальчишки бормочут поэмы
С запрокинутой вверх головой;
Ведь, поверь мне, запомнили все мы
Шлем зеленый с крылатой звездой.

Ты теперь не похож на комбрига,
На тебе пиджачок «Москвошвей»,
Только шлем, как раскрытая книга,
Нам расскажет о жизни твоей.

Ты расстаться с ним, видно, не хочешь,
Ты привык в перестрелках к нему...
Расскажи про ненастные ночи,
Про дороги, бегущие в тьму,

Про сады Бессарабского края!
Слава песни на плавнях жива,
И проходит теперь по Дунаю
Аж до Черного моря молва,

Будто шлем этот был заговорен,
Переплыв берега и плоты,
За лесами, за степью, за морем
Будто шлемом спасаешься ты.

Невысокий седой молдаванин,
Неспокойно ты смолоду жил, —
Расскажи, в скольких схватках был ранен
И от скольких погонь уходил.

Где тебя не видали ребята!..
С самокруткой солдатской в зубах
Плыл Красивою Мечью когда-то,
Побывал и в донецких степях,
Пробирался с бригадой матросской
В тыл врага, — да сочтешь ли бои!

А любил на привалах Котовский
Слушать жаркие песни твои.

Ты сегодня проходишь столицей,
Стынет старая башня в Кремле. . .
Бьет мороз голубой рукавицей
По кострам, что пылают во мгле.

Но как будто мелькнули в тумане,
Лишь слегка приоткрывшем простор,
Паруса на знакомом лимане,
Словно гребни заоблачных гор.

Далеко до садов Кишинева. . .
Но ты веришь: растопятся льды,
В отчий край поведет тебя снова
Пятилучье советской звезды.

Начинается тропка лесная. . .
Побежит вдоль бахчей колея. . .
На зеленые волны Дуная
Еще выплывет лодка твоя.

И быть может, в избушке крестьянской,
По пути на Красивую Мечь,
Я услышу напев молдаванский —
Память наших скитаний и встреч.

1926, 1948

15. ПЕСНЯ

Песню партизанью
Под веселый свист
Носит под Казанью,
Водит на Симбирск.

Возле хаты, около
Старого крыльца
Сколько грома цокало,
Звякало свинца!

Сумраку зеленому,
Ветру не пройти,
Пешему да конному
Не видать пути.

Сумерки нестройные
Из чужой земли,
Будто бы конвойные,
Песню повели.

Идет она, шатается,
За наручни хватается
И дребезжит — поет.
Она идет не попросту —
Под стукот да под росторопь,
Под росторопь идет.

Люблю поход и марши,
Я с песнями в ладу.
Чем делаюся старше,
Спокойней речь веду.

И жизнь моя веселая
Аж за сердце берет:
То грянет «Карманьолою»,
То маршем заметет.

Пускай беспутный малый,
А весело пою,
Неплохо запевай
Сегодня быть в строю.

Да ну-ка, ну-ка гаркнем,
Да ну-ка запоем
С любым вихрастым парнем,
Один, вдвоем, втроем.

Чтоб песня шла — не пленница,
Не бились кандалы,
Покуда звезды кренятся
Среди зеленой мглы.

И только песню грянули,
И только завели,
Как сумерки отпрянули
От ласковой земли.

Я оглянулся: склоном
Сползает рыжий мрак,
И песню о Буденном
Заводит гайдамак.

Идет она, шатается,
За наручни хватается.
Не дребезжит — поет.
Она берет не попросту —
Под стукот да под росторопь,
Под росторопь берет.

Гай да гай, отрада —
Жить — не помереть!
Только песню надо
Легким горлом спеть.

1926

16. ЗА ТИХОРЕЖИЦКИМ ВАЛОМ

(1920)

...Галькой сыпается шлях.
Пар от казачьих папах
Потом и гарью пропах.

Там, за седыми горами,
Темный нахмурился лес...
Всходят сейчас над полками
Лучшие звезды небес.

За Тихорежицким валом
Тихо гундосят слепцы.
Песню ведут запевалы,
Будто коня под уздцы.

Родина гордая наша,
Слава тебе и почет!
В трубах торжественных марша
Быстрое время течет...

Снова ведут за лесами
Конники песню одну, —
Пели ее на Кубани,
Пели ее на Дону.

По ветру — лошади грива...
Синий песок разогрет...
Видишь — на сабле комдива
Лунный задумчивый свет...

Шарит прожектора лапа...
Гаснет в лесу огонек...
Тянутся снова на запад
Длинные руки дорог.

1926

17. БРАТИШКЕ

Мы с тобою съели соли куль,
Мы с тобою знали столько пуль, —

Для чего ж ты нынче позабыл,
Как со мной ходил, и пел, и пил?

Как заветной тропочкой-тропой
Ты за мной ходил полуслепой, —

Города, и реки, и мосты
Не видать от курьей слепоты.

Как в далеком, как в чужом краю
Я рубаху отдавал свою,

Чтоб однополчанин дорогой
Не пошел дорогою другой.

Для чего ж ты нынче зафорсил?
Или старый друг тебе не мил?

Или вовсе вспомнить не хотел,
Как со мной ходил, и пил, и пел?

Только спорить подолгу не стану:
Как проходит лодка по лиману,

Как легко проходят облака,
Так рассеется моя тоска.

Мы с тобою съели соли куль,
Мы с тобою знали столько пуль, —

Для чего ж ты нынче позабыл,
Как со мной ходил, и пел, и пил?

1926

18. ДРУГУ С НАКАТАМЫ

Вот как пили, вот как пели,
Как ходили мы с тобой,
Мачты на море скрипели,
Волны бились вперебой.

Дремлют кедры на просторах. . .
Как забыть твои глаза,
Если снова на озерах
Небывалая гроза?

Как весна придет, неожиданно
Всё исполнится опять.
Парус белый из тумана
Начинает выплывать.

И грустят у скал отвесных,
К злomu берегу припав,
Сто тропинок неизвестных,
Сто дорожных переправ.

По ветвям мохнатым ели
Мы гадали о судьбе, —
Друг далекий, неужели
Позабуду о тебе?

Я ли с первыми плотами,
Сбив пороги, смяв траву,
Я ли вновь по Накатаме
За тобой не поплыву?

1926, 1937

19. ПРЕДЧУВСТВИЕ

В тумане, в полумраке
Крутые острова,
А в черном буераке
Не скошена трава.

Лесное захоlustье,
Туманный лес в огне,
И странное предчувствие
Вдруг сжало сердце мне...

...И вот звенят уздечки,
Звенят одна к одной,
Камыш на тихой речке
Шуршит перед бедой.

И шорох глуше, глуше...
Редее старый лес...
А по тропе скользнувшей
Бегут наперерез.

Они звенят лопатой,
Они ведут коня,
И свет зеленоватый
Струится на меня.

И руки не ослабли,
Гремит раскат в лесу...
Но бьют с размаху сабли
По самому лицу.

Не всхлипну на рассвете
И губ не закушу,
Я никогда на свете
Пощады не прошу.

Лежу я на поляне,
У обгорелых пней,
А выстрелы в тумане
Гремят сильней, сильней.

То пушки полковые
По колчаковцам бьют,
Дозоры боевые
Вперед сквозь ночь идут.

А ночь свои ветрила
Теряет по пути
И над моей могилой
Поет: «Прости, прости!»

Друг скажет речь такую:
«За всё благодарю,
Я шашку золотую
Другому подарю,

Ты не вернешься к дому,
Ты не подынешь глаз,
Отдам бойцу другому
И твой противогаз.

Спи, друг, а песню эту,
Что пел ты нам любя,
Пущу гулять по свету,
Бродяжить без тебя.

Ее любой подтянет,
Ее любой споет,
Дружить в строю с ней станет
И с нею в бой пойдет».

...Лесное захоlustье,
Туманный лес в огне,
Но странное предчувствие
Вдруг сжало сердце мне.

Что б ни сулил туманный,
Грозящий смертью бор,
Лети, мой конь буланный,
В пылающий простор.

В огонь, в лесные чащи
Неси судьбу мою:
Одно на свете счастье —
Идти вперед в бою!

1926, 1948

20. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сквозь духоту разлуки,
Сквозь барабанный бой
Я подымаю руки,
Я говорю с тобой.

Балтийской солью сыто,
Срываясь невпопад,
Еще звенит копыто
Про тихий листопад.

Сквозь шорохи и скрипы —
Пороша, сумрак, град,
И робко жмутся липы
На набережной в ряд.

Ах, Балтика за дюнами,
Как в сумерки веков,
Гремит тугими струнами
Дорожных проводов.

Затейница и спорщица,
К чему такой полет!
Но буря не топорщится,
Кустарник не поет.

Одна игра — не выигрыш,
Крутые паруса,
Зеленые до Вытегры
Сосновые леса.

Качались глухо плиты,
В такую толчею
Высоко пели липы
Про молодость мою.

Такая да сякая,
Да этого-того,
Иди, не отступая,
Не сдавши ничего.

Пора! Над рябью старой
Сшибаются плоты,
Крадутся тротуары,
Колеблются мосты.

1927

21. НАРОДНАЯ ЛЕГЕНДА О ШАХТЕРЕ ГУРИИ

1

Год двадцатый. . .

За рекой,
С полосатою
Верстой,
Со стогами
На лугах,
С фонарями
На путях,

Полустанок
Средь степей. . .

Семь тачанок,
Семь коней,
Пара бричек
С барахлом
Встали нынче
За селом.

Возле хаты,
У крыльца,
Банда батьки
Озерца,
А в тачанке
Атаман,
Спозаранку
Батька пьян,
В красных бриджах
На крючках,
В ярко-рыжих
Сапогах,
И хохочет
Громко он:
«Пей из бочек
Самогон,
Пей, ребята,
Пей до дна,
Три ушата
Есть вина.
Спой, дружок,
Что-нибудь.
Темной ночью
Снова в путь.
Сыты ль кони?
Сам ты сыт?
Ведь погоня
Вслед спешит.
Небо ясно,
А гляди,
Сколько красных
Позади.

Что за дело?
Стал я хмур. . .»
Загремело
Семь бандур. . .
И заныли
Что есть сил:
«Ты ли, ты ли
Загрустил?»

2

Желтый донник,
Синий цвет,
Скачет конник
На рассвет. . .
Он при шашке
Голубой
И в фуражке
Со звездой.
Он прищурил
Светлый глаз:

«Что-то, Гурий,
Встретит нас?
Душен вечер
Средь долин,
Здесь, разведчик,
Ты — один,
Ты заехал
Ко врагу,
Слышишь эхо
На лугу?
В дыме дали,
Труден путь,
Не пора ли
Повернуть,
Не пора ли?
Даль в дыму. . .»
Прискакали
Тут к нему
Столько шашек. . .

Что ж? Конец?
Рыжий пляшет
Жеребец,
Выстрел грянул...
Погоди...
Кровь от раны
На груди...
Ничего
Не видит он,
Повели его
В полон...

3

«Что ты, малый,
Очень хмур?»

Слышен шалый
Звон бандур.

Душный вечер...
Перевоз...

«Эй, разведчик,
На допрос».
Он у хаты,
У крыльца,
Видит батьку
Озерца;
Снова дурий
Разговор:
«Ты ли, Гурий,
Был шахтер,
Ты ли, Гурий,
В грозный час
С красной бурей
Шел на нас?»

Гурий смотрит
На поля,

Встали по три
Тополя,
Вьюркнул зяблик. . .

«Что сказать?
Старых фабрик
Не видать. . .
Знаю: в дыме,
В мгле ночной
Полк родимый
За рекой,
У стоянки
Боя ждет
На тачанке
Пулемет. . .»

Смотрит Гурий
На врагов,
Глаз прищурив:

«Я — таков,
Стала красной
Наша Русь,
Я и казни
Не страшусь,
Хоть стреляйте
На ветру,
Только знайте:
Не умру,
Хоть рубите
Вы меня,
Встану — мститель —
В свете дня!»
Крикнул дико
Атаман:
«Поднеси-ка
Мне стакан. . .»
Как напился
Водки с перцем,
Распалился
Батька сердцем,

Дал он сердцу
Скорый ход:

«На курьерские,
В расход!
Раз о чуде
Говорит,
Что не будет
Он убит
Ни клинками,
Ни ружьем, —
С тополями
Подожжем!
Уж в огне-то
Он сгорит
В ночьку эту,
Хоть сердит!»

4

Пламя — буря
На ветру,
Шепчет Гурий:

«Не умру!
Сто столетий
Простою
В ярком свете,
Как в бою,
Вижу ясно
Весь простор,
Не погаснет
Мой костер,
Тот, кто умер
За народ,
В светлой думе
Не умрет!»

Мчатся птахи
Сквозь туман,
Смотрит в страхе
Атаман:

Тополь с края
Чист на вид,
Не сгорая,
Он горит,
Нет ни дыма,
Ни золы. . .

Нелюдимы,
Дико злы,
Все бандиты
Скачут прочь,
Да убиты
В ту же ночь. . .

И доньше
Свет большой
При долине,
За рекой,
После смерти
Жив шахтер,
И не меркнет
Тот костер. . .
Яркий, ясный,
Как звезда,
Не погаснет
Никогда!

1927, 1948

22. НОЧЬ В «ТРОКАДЕРО»

Как небо расплывчато,
сумерки серы,
и вот мы подходим с тобой
к «Трокадеро».

Для тех, кто азартом
и темной наживой
негаданно бредит
душой суетливой, -

столы расставляли
в игорном доме,
и громкое дали
название ему.

Под лязганье ветра,
под говор копыт
асфальт под ногами
чуть-чуть дребезжит.

Сорвались гитары,
и старый фагот
неспешного вальса
порывы ведет.

Но вальсу не время,
не эта пора, —
за каждым столом
нарастает игра.

Грустя, рассыпаются
струны оркестра,
и нет за столами
свободного места.

Ты слышал:
сейчас и мазурка сама
над карточной бурей
сходила с ума.

А эти, чьи сужены
злостью глаза,
срывавшие банки,
ходили с туза.

Над карточной бурей,
путями азарта,
тропами зелеными
странствует карта.

Но карты с наколкой
и крапом — игра,
в которой весь выигрыш
мнут шулера.

И скуку
зовут игроки —
нахлобучка.
За грязными картами
тянется ручка,

последнего козыря
козырем бьет,
и лысый, задумавшись,
к стенке идет.

Он к ней примостился,
глядит стороной,
как банк обрастает
на бескозырной.

Как будто у бездны
на самом краю,
он вспомнил неожиданно
всю жизнь свою:

тогда еще не был он
злобным пронырой,
по узким тропинкам
прошел он полмира, —

в пустынных степях
догорали костры,
и шел он с отрядами
до Бухары.

Он слышал напев,
пролетающий над миром,
но в новые годы
он стал дезертиром,

и полночью этой
гремела жестянка
последней монетой
покрытого банка,

и долго ссыпался,
как прорванный фронт,
чужими руками
захватанный понт.

И лысый бросается
к струнам оркестра,
он просит:
«Играйте, играйте, маэстро. . .»

И скрипка рванулась.
От сумрачных стен
высоким прибором
выходит Шопен.

И другу веселому
я говорю:
«Ты видишь
за стрельчатым скосом зарю?»

Она для тебя, для меня
и для всех,
кто синим рассветом
торопится в цех.

Мы выйдем по лестнице,
узкой, как мир,
как жизнь растратчиков,
жмотов, громил».

А лысый,
прижавши два пальца к виску,
слезами холодными
душит тоску. . .

Идем по проходам,
где песня сама
над карточной бурей
сходит с ума, —

огни над деревьями
дальнего сквера
пылают в последние
дни «Трокадеро».

1927, 1937

23. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЕСНА

Шумят на просторе
Весенние воды.
Широкого моста
Последний пролет.

Апрельские песни,
Пора ледохода,
Онежские звезды
И ладожский лед.

Ушли капитаны
В открытое море. . .
До тропиков самых
Порою такой

Шумят пароходы,
Торопятся лодки,
Советские флаги
Плывут над волной.

Пробили куранты,
И зорю сыграли,
Разводят мосты
С четырех до пяти,

А ночь не спешит
По мостам разведенным

В оставленный тучами
Город
войти.

За Охтой застрехи,
Синеют проулки,
Пустые скворечни,
Герани в окне,

И ты пробегаешь,
Закинувши руки,
Махнувши платочком,
По той стороне.

Неужто не вспомнишь
И слова не скажешь,
И лишь улыбнешься,
Завидев на миг? . .

Расскажут об этой
Любви небывалой
Страницы
еще
Не написанных книг.

Весенние зори
С их блеском нерезким
Над Охтой твоею
Я помню давно

И снова увижу
Над берегом невским
Твое,
освещенное
В полночь,
окно . .

Хоть нас разлучают
Бегущие годы,
Немолчно гремящий
Весенний поток,

Но всё же мечтаю
До старости видеть
Вот этот
 в высоком окне
Огонек. . .
1926, 1952

24. ПУТЬ НА СИБИРЬ

Ты морщишься, будто слепит катаракта,
До самого полюса свет голубой,
И первые версты сибирского тракта,
Как горные птицы, летят за тобой.

Малиновый сполох ложится, неистов,
Сплошной лавиной срываясь с круч
На горные скаты, на полымя туч.
Так вот где черствела заря декабристов!

От горькой воды подымается порск,
Нехожены тропы таежные,
И тянутся кровли острожные
На многие тысячи верст.

Но там, где шумит яровое,
Ни ночи, ни песни, ни дня,
И звезды проходят конвоем,
Почти задевая меня.

1927, 1937

25. СИБИРСКИЕ РЕКИ

Таежные тропы,
Иргизская топь,
Как облако, медленно тая,
Попутною ночью
Выводят на Обь
Последние горы Алтая.

Спешит пароход,
Натирает бока,
Спеша пробирается лодка,
Зеленое пламя
Качает река
От Бийска до бухты Находка.

И вот уже гор не осталось, уже
Расходятся стены тумана,
Тунгусское солнце на вольной меже,
Прошли облака с океана.

Где берег пустынный
И пасмурный лес,
Там скоро подымутся штреки,
На стыках
Проложенных к северу рельс
Качнутся сибирские реки.

Я знаю:
За россыпью сотен дорог
Бунтует громада речная,
И волны с разбегу
Летят на црорг,
На утренкем солнце пылая, —

Как буря,
Срываясь с увалов и с гор,
Как ливень, рванувшийся косо,
Почти что от озера Терио-Нор
До самого нижнего плеса.

Мы ходим по палубам в синюю тишь,
А птицы летят стороною.
И черную пену
Качает Иртыш,
Торопится к морю со мною.

1927, 1937

26. ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ

День прошел от Омска до Тюмени.
Сормовский тяжелый паровоз,
Привыкая к пестрой перемене
Городов, тропинок и селений,
Наш состав, отхаркиваясь, вез.

С Иртыша не доходили тучи.
Вот пришла и отошла гроза.
И скучал случайный мой попутчик,
Чуть прищурив серые глаза.

Делать было нечего; со скуки
Дудочку я срезал из ольхи,
Походил я молча, вымыл руки,
Почитал любимые стихи.

Вспомнил я, как за крутым разгоном
Шла жара и остывала медь.
Грустно было станционным кленам
В это небо низкое смотреть.

Было душно, горько пахли травы,
Стыла медь, и нарастала мгла.
Девушка, что пела у заставы,
Может быть, сегодня умерла.

Смерть придет. Она неотвратимо
Простирает руки надо мной.
Даже легкий ветер от Ишима
Небывалой полон тишиной.

День прошел. Груженные составы.
Синий дым. Коричневая мгла.
Девушка, что пела у заставы,
Может быть, сегодня умерла.

1927

27. ЗА КАТУНЬЮ

Железный котелок, старинная берданка,
Два ледника, бегущие с горы,
Проводников усталых перебранка
И за Катунью первые костры —

Всё это мне припомнилось вначале.
Шли табуны на выбитом корму.
Сто раз вокруг кукушки куковали,
Медвежий след нас вел на Бухтарму.

Покуда шли еще с бухты-барахты,
Срываясь вниз, заброшенные тракты, —
Вдруг услышав, как соколы кричат,
Встречая утро, я взглянул назад.

Кругом скиты — в лесах непроходимых
Широкоплечий сумрачный народ.
О бородатых строгих нелюдимах
Опять беседа медленно идет.

Они сюда спастись приходили,
Рубили лес и строили дома,
Зимой медведя мелкой дробью били.
И стала русским краем Бухтарма.

Как в деревнях возвышенности русской,
Здесь тихо жил старинный их уклад,
И тень зари легла полоской узкой
На голубой высокий палисад.

Но вновь кипит живая кровь народа,
В огне горит неопалимый край, —
Седеет склон родного небосвода,
Встречает песней странников Алтай.

1927, 1937

28. РАЗЛУКА

Чуть пахнуло березой карельской,
Легким ветром пахнуло, и вот
Над любой дорогой сельской
Городская тревога встает.

Руку в руку, особенным ладом,
Мы скрестили над мордой коня,
И товарищ ударил прикладом
И украдкой взглянул на меня.

Что грустишь ты? Накормлены кони,
Легок путь в эту синюю рань.
Третьи сутки не слышно погони,
Прорезающей путь на Рязань.

И пожму я товарищу руку. . .
Отзвенят молодые года,
На последний прогон, на разлуку
Загрохочут еще поезда.

В том краю, по-особому бойкий,
Ветер с Ладоги клонится прочь,
Там спешат вытегорские тройки
В ослепительно белую ночь.

Мы с тобой разоидемся надолго,
Только помни, как в первом бою
Партизанская била двустволка
И разведчик спускался к ручью.

Только помни крутые тропинки,
Желтый склон пересохшей реки,
Небо, бывшее ярче сарпинки
В день, когда вы входили в пески.

А за теми песками — бойницы.
Половецкие бабы грустят.
До утра перелетные птицы
На старинных курганах сидят.

Падал снег (дальний путь по примете), —
Рассказать это сразу нельзя,
Как в безвестном лесу на рассвете
Фронтные прощались друзья. . .

1926, 1939

29. СКРИПКА

Мальчишка смеется, мальчишка поет,
Мальчишка разбитую скрипку берет.

Смычок переломлен, он к струнам прижат,
И струны, срываясь, чуть-чуть дребезжат. . .

Какой дребеденью, какую тоской
Тревожит мальчишка мой тихий покой.

К нему подхожу я — и скрипку беру,
И вот затеваю другую игру.

И вот уж дороги бегут и спешат,
Тропинки в тумане как волны шуршат,
И, дрогнув, сорвался последний шлагбаум:
Ораниенбаум, Ораниенбаум. . .
Над тихим заливом полуночный дым,
И я становлюся совсем молодым.
Балтийского флота поют штурмана,
Как вымпел — над городом старым луна.
Вот Балтика наша — туман голубой,
Форты на возморье, огонь над волной.
Чем юность была бы без песни твоей,
Без вечного плеска свинцовых зыбей?

1926, 1937

30. ИЗ БАЛТИЙСКИХ СТИХОВ

Снова море в огне небывалом,
И на Балтике снова весна.
В эту тихую ночь над штурвалом
Молодые поют штурмана.

Тот, кто кепку на лоб нахлобучил,
Может быть, не вернется домой,
И проходят высокие тучи,
Звезды тают над нашей кормой.

Я узнаю тебя по затылку,
По нашивке на том рукаве,
И прижмется твоя бескозырка
К запрокинутой вверх голове.

Синий вымпел скользнет по канату,
Словно с неба сошла синева,
Разбросавши костры по закату,
Легкой тенью пройдут острова.

На зеленый простор вылетая,
Ночь разводит мосты, и опять
Там, где стынет дорога ночная,
Паренька дожидается мать.

Спи, товарищ, качавшийся с нами,
В море почесть особая есть:
Подымается месяц, как знамя,
И волна отдает тебе честь.

Полотняный мешок над волною...
Пусть огни голубые горят,
Проплывут облака под луною,
Как полки, на последний парад.

Спи, товарищ, в краю небывалом.
За фарватером меркнет луна.
По тебе в эту ночь над штурвалом
Молодые грустят штурмана.

1926, 1939

31. В МУЗЕЕ НОВОЙ ЗАПАДНОЙ ЖИВОПИСИ

Мы в комнату входим, — в немислимом
сходстве,

Как давняя память о солнце былом,
Ложится на стены сиреневый отсвет
Зари, прошумевшей за темным окном.
Скользит на изгибе крутом колесо,
Из кубиков сложены трубы,
И негр, что грустит на холсте Пикассо,
Кривит лиловатые губы,

Покуда синее, покуда рассвет
Просторною краской перебран,
Меняясь в наклейках и тая в росе
Над фабрикой «Хорто-дель-Эбро».

Но всё же люблю я весь этот разор,
Угрюмство художников новых,
И снег над обрывами черных озер
В узорах и пятнах лиловых.

Художник, тоскуя, рисунок берет, —
Страна ему черная снится
И город безвестный. У длинных ворот
На ветке качается птица.

Растет на пригорке высокий тюльпан,
Как шкуры, лежат на дорожках
Закаты, и хлопает в полночь толпа
Плясунье на маленьких ножках.

И штормы режут у пятнистых бортов,
У мачт розоватого цвета,
Нежданно скользнувших с Марсея, с Бордо
За четверть часа до рассвета.

Откуда невнятице взяться такой?
Как щедро раскрашено море!
И сердце томят непонятной тоской
Походные кличи маори.

Но где эти люди? Ведь время летит...
Один с перерезанным горлом лежит,
Другой — белым парусом бредит,
А третий под утро, в седеющей тьме,
На низеньких дрогах, в дощатой тюрьме,
На белое кладбище едет.

Я вышел шатаясь, а голос глухой
Всё спорил с тоскливой гитарой,
Но зорю играет горнист молодой
И ходит по площади старой.

И дым голубой над домами летит...
Качая высокий треножник,
С веселым лицом у мольберта сидит
Еще неизвестный художник.

1927, 1939

32

Желтый ветер, должно быть последних времен
богдыханов
Иль ордынских времен... И в пути несмолкающий шум...
Ждут несметные полчища низких тоскливых барханов.
И спускается солнце на горькую степь Каракум.
Караваны в пути. Вот отходит Аральское море,
И пугает пустыня вдруг смертью от вражьей руки.
Наших звезд уже нет на знакомом, как песня, просторе.
Как прибой, впереди вырастают слепые пески.
Бесконечны пути, по которым отряды ходили,
Солнце жгло поутру, накаляя песок добела,
Но сильнее с тех пор мы родную страну полюбили,
Потому что она отвоевана кровью была.

1927, 1937

33. О ЛИТЕРАТУРНОМ ГЕРОЕ

Привычка фамильярничать с героем,
Быть с ним на «ты», немного свысока
Глядеть на жизнь его, на мелкие заботы,

На помыслы, мечтания, свершенья
Еще порой встречается в романах.
Как тяжело читать сегодня книги,
Не греющие сердца! Их герои
Приглажены искусно, наведен
На них известный лоск, — они решают
«Вопросы пола», мечутся на фоне
Бушующей над городом метели,
И пафос их уходит на любовь.
Уныл писчебумажный мир: героя
В чернильный ад ввергают за грехи
И в картонажный рай его возводят.

Но вижу я, как твердою походкой
Над паводком равнинных рек России,
Над пламенем горящих ярко домен,
Над льдами в Северном полярном море
Идет советский новый человек.

И мой герой — не загрустивший мальчик,
Не меланхолик с тростью и плащом,
Не продувной гуляка, о котором
Кругом шальная песенка бежит.

Нет, человек спокойного упорства,
Свершающий свой подвиг потому,
Что иначе он поступить не может, —
Единственный понятный мне герой.
Он — у станка в тяжелой индустрии,
Он — плуг ведет по всем полям Союза,
Он — кочегар, он — летчик, он проходит
Сквозь жаркие теснины океана,
Сквозь облака ведет он самолет.

Строители, умельцы, жизнелюбы,
Ваш каждый шаг живет в моем стихе,
О вас нельзя поведать по старинке,
О вас бездумной песенкой не скажешь,
Но, как мечтал один поэт когда-то,
Расскажешь в Великанской Книге Дня.

Смотри, смотри, как чист и ясен воздух...
Хоть труден путь, но радостен. Земля,

Земля в цвету! И ветер с Волховстроя
В прозрачных электрических цветах...

Слепая ночь дымится над Европой,
Заря взошла над нашей страной,
Уже идет герой в литературу
Сквозь дым и гарь, сквозь корректуры прозы,
И пишем мы о нем повествованье
В заветной Великанской Книге Дня.

1927, 1948

34. БАЯНИСТ

За Нарвской заставой слепой баянист
Живет в переулке безвестном,
И вторит ветров пролетающих свист
Его нескончаемым песням.

Его я узнал по широким плечам,
Покрытым матросским бушлатом,
По доброй улыбке, по тихим речам,
А больше по песням крылатым.

Особенно памятна сердцу одна:
«В тумане дорога лесная,
И старого друга томит тишина
Того беззакатного края.

Там тополь в саду у любимой цветет,
Ветвями тяжелыми машет...»
Мою он давнишнюю песню поет
Про легкое дружество наше.

Ту песню, которую я распевал,
Теперь затянули подростки,
Она задымилась в губах запевал,
Как дым от моей папироски.

И если ее вдруг баян заведет —
Мне лучшего счастья не надо,
Чем то, что за дымной заставой живет
Моя молодая отрада.

1927, 1937

35. КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ

Пути, по которым мы ходим с тобой,
Пока барабанный сыпается бой,

Пока золотые рассветы кипят
От Желтого моря до самых Карпат, —

Они нас выводят, мешая страницы,
К последней корчме у литовской границы.

Лиловые тени — пестрее сарпинки —
Ложатся теперь на большие столбы,
На узел закрученной в гору тропинки,
На тонкую шею высокой трубы.

Давно трубачи тут не нянчили зорю,
И ветер шумит среди желтой листвы,
И снова уходят к прохладному морю
Последние жаркие тучи с Литвы.

Высокие двери обиты кошмою.
Мицкевич, ты слышал народный мотив,
И дсэго мазурка вела за корчмою,
Под узкие плечи тебя подхватив. . .

В корчме стеариновый меркнет огарок,
Торопится дюжина жбанов и чарок. . .

И ночь оплывает, как свечка из воска. . .

А рядом — отряды советского войска, —

Прислушайся: это не ветер, а отзыв
Летит через реки, дороги, мосты,

Сливая текстильные фабрики Лодзи
Со сталелитейной вьюгой Москвы.

Народы подымутся в общем единстве,
Пусть время пройдет — не забудут века:
О славе грядущего Феликс Дзержинский
Мечтал по ночам в коридорах ЧК.

И вот за корчмой, по тропам незнакомым,
Туда, где сейчас разгорается бой,
Дзержинский с прославленным польским
ревкомом
В осеннюю ночь проскакал за рекой.

И в тихой корчме вспоминают донныне:
Шумит за мостом голубая река,
Под пулями скачет вперед по долине
В ненастную даль председатель ЧК.

1927, 1937

36. ВЕСЕННЕЕ УТРО

Весеннее небо, качаясь как плот,
Плывет, наши крыши узоря,
Но летчик торопится в дальний полет,
В просторы полярного моря.

Республика! Даль голуба и светла
До края, до тихого вира,
И ветер качает твои вымпела
Над шаткими волнами мира.

Стоят под ружьем боевые полки,
О полночь заседланы кони,
Для встречного боя готовы штыки
И сабли для конной погони.

От низких заливов, от сумрачных гор,
От сосен, пригнувшихся утло,
Выходит на пепельно-серый простор
Зырянское желтое утро.

Но в северорусский дорожный ландшафт
До края, до тихого вира,
Врываются отсветы штолен и шахт,
Линейная музыка мира.

И снова с далеких сибирских морей
В тяжелые волжские воды
За юностью, что ли, за песней моей
Идут невозвратные годы.

1927

**37—38. ИЗ ПОЭМЫ
«КАРТОНАЖНАЯ АМЕРИКА»**

1

ПРОЛОГ ПОЛЕМИЧЕСКИЙ

Брату-писателю

Изнемогая от пыльных странствий,
Ты шлешь по-персидскому пестрый сплав
С полустанка первой главы — до станции
Кончающих замысел утлых глав.

Строку к строке подгоняя ровненько,
Глаза, как две гайки, ввинтивши в даль,
Ты думаешь: выйдет нескверная хроника
В жанре, которым владел Стендаль.

Ее занимательность неоспорима:
На каждой странице потеет чарльстон.
Любовная встреча в глуши Нарыма
В наборе прошла не одним листом.

А в этот абрис искусно вчерчен
Не только оттенок гусиных век —
Раскраска манто тороватых женщин
И даже чулок их лимонный цвет.

Ты повеселел, вытирая пот,
Герои идут, мельчась,

В искусном романе, сделанном под
Романов старинных вязь.

И даже пейзаж — художественности для —
С оттенком таким — сиреневым,
В котором раскрашена последняя тля,
Как львовское небо Тургеневым.

Но — всё же — врагом ты меня не зови,
Над темой моей не смейся —
Я тоже пускаю стихи свои
В большое твоё семейство.

А если пейзаж не совсем хорош
И скажет читатель: «Полноте», —
То ты мне поможешь и всё приберешь
В поэме, как в пыльной комнате.

<1928>

2

ПРОЛОГ РОМАНТИЧЕСКИЙ

Снова старый разгон и романтика.
Потянуло жасмином с полей.
Это ты грохотала, Атлантика,
Целый год за кормой кораблей.

Эти сумерки старого мира,
Эти синие отсветы дня —
Как глухие шаги конвоира,
Что на пытку выводит меня.

Всё мне чудятся дикие казни,
Небывалые мысли досель,
Мое тело, что скошено навзничь,
Заметают снега и метель.

Подымается синяя падымь,
Невозвратная музыка дня,
Ты за первым прошла листопадом
В эту мгу, не узнавши меня.

Но откуда и ветер дощатый
Стал товарищем мне молодым,
И скользит по ночам розоватый
Над Атлантикой пепел и дым.

Руку в руку, друзья, о которых
В эту ночь мои песни прошли
На перебранных легких просторах
Заповеданной вьюгам земли.

И проходят валы океана,
Мои песни поют шкипера —
Здесь почти что начало романа,
Осторожная проба пера.

Это молодость шутит и кружит,
Это ливень бросается с гор
Перед дулом отверженных ружей,
Наведенных на сердце в упор.

<1928>

39. ПОЛЮС

Географ и естествоиспытатель,
Как и сейчас, в далекие года,
Туда, где льды застыли на закате,
Тебя ведет Полярная звезда.

И Южный Крест восходит в синем дыме, —
Полмира он по сумеркам берет.
Но есть ли что еще неотвратимей
Движения гипотезы вперед?

Она идет во мглу лабораторий,
Качая молний желтые шары,
Она идет, и на глухом просторе
Гипотенузой срезаны миры.

Мир, как он есть, с его непостоянством,
Большой, как шум средневековых орд, —

Трехмерным он качается пространством
Над колбами и смутною реторт.

Материков меня очертанья,
Мешая ветви корабельных роц,
Трансокеанский лепет мирозданья
Ведет тебя в арктическую ночь.

Но сквозь сиянье разноцветных полос,
Почти срезая тени кораблей,
Перед тобою раскололся полюс
На сотни тысяч ледяных полей.

И вот уже от края и до края
Свирепый ветер странствует у нас,
Тот самый, что ты видел, умирая,
Который я увижу в смертный час.

Природа, ты еще не в нашей власти,
Зеленый шум нас замертво берет,
Но жарче нет и быть не может страсти,
Чем эта страсть, влекущая вперед.

1928

40. ПРОБЕГ

Рассвет, не в меру желт и рыж,
Померкши на окошках,
Качает сотни длинных лыж
На беговых дорожках.

Как карусель, бегут холмы,
Земля проходит утло,
И вот уже поет калмык,
Качает сосны утро.

И парень в кепке расписной,
В зелено-белой майке,
Подветренною стороной
Летит подобно чайке.

Ему уж нет пути назад,
Тропинки вспять не сдвинешь,
Его глаза слепит азарт,
В зрачках мельчится финиш.

Так мне лететь сквозь гарь и дым,
Скользить привычным бегом,
Раскосым, вечно молодым,
Слегка примятым снегом.

<1929>, 1937

41. ВЧК

Над путями любого простора
Вновь идет, потрясая века,
Побеждающий годы раздора,
Нестихающий гром ВЧК.

Разве ты этой песни не знала?
Там республика строит полки.
Там проходят столы Трибунала.
Моросят на рассвете штыки.

Самый дальний, неведомый правнук!
По-другому деля бытие,
Побеждали мы в битвах неравных
Во бессмертное имя твое.

Над вечерней густой синевою
Всё пылает пожар золотой.
Войско юности ходит Москвою.
На Лубянке стоит часовой.

Враг ли прячется в злобном бесчинстве
Иль кипит мятежами земля, —
Твердой поступью входит Дзержинский
В стародавние зданья Кремля.

1929, 1937

Семнадцатилетние мальчики,
 Вы запомнили пули и топот,
 Те дороги, которые юность,
 Как дружную песню, вели,
 В полуночных разведках,
 В перестрелках накопленный опыт
 И вечерние дали
 Завещанной вьюгам земли.

Знаю, в Смольном тогда
 Вы стояли в ночном карауле,
 И Ильич, улыбаясь,
 Встречал из-за Нарвской ребят.
 Наша юность прошла,
 Эти годы давно промелькнули,
 Но они посеячас
 В нашем сердце немолчно гудят.

Вместе с нами росли
 И деревья высокого сада,
 Мы не знали тоски,
 Но кипело волнение в крови...
 Вечерами теснятся дожди,
 На рассвете приходит прохлада.
 Поколение наше,
 Ты меня трубачом назови.

Барабанщиком ставь
 В ряд большого пехотного строя.
 Я учу тебя песням,
 Выдай на руки нынче ж ружье,
 Чтобы вместе с тобой
 На просторы грядущего боя
 На октябрьской заре
 Пробивалось сердце мое.

То — совсем поутру,
 То — в двенадцать часов пополуночи,
 Проходя по путям,
 Под раскаты грохочущих труб,

Я опять узнаю
Тех, которые больше не юноши, —
Мужская упрямая складка
Легла возле губ.

Я их вновь узнаю
Среди сабель и пик эскадронов,
В тихом дне типографий
И в сумраке угольных шахт,
Прохожу торопясь,
Только за плечи запросто тронув,
Как в походном строю,
По команде ровняя свой шаг.

Сразу буря берет нас
И снова выносит на берег
Пятилетки, труда
И заводских ударных бригад.
Поколение наше
Берет все барьеры Америк,
Сто дорог впереди,
Ни одной не осталось назад.

Но, ровесники бури,
Сыновья трудового народа,
Если грянет война
И в полях закружится метель,
Мы готовы опять
К перестрелкам большого похода,
Мы начистим штыки
И привычно скатаем шинель.

1929

43. СЕНТЯБРЬ 1917 ГОДА

Провинциальных адвокатов сон
И журналистов домыслы слепые:
В парламентский высокопарный сонм
Должна вступить торжественно Россия.

И в чехарде страстей и министерств,
Эсеровских, кадетских, беспартийных,
Рассвет глухие заводи отверз
И тихий гром кружился на картинах.

Еще фронты, братаяся и мучась,
Летят вперед, и даже сводки те ж,
Но решена демократии участь,
И генеральский рушится мятеж.

Над митингом,
Где черный ворон каркал,
Лишь пропуск
«Буря»
Можно пронести,
Трамвайного заброшенного парка
Перекрестились за полночь пути.

А вечерами в полотняном цирке
Ораторы о мире говорят,
И по рядам мелькают бескозырки,
Солдатские фуражки шелестят.

Фронты гремят, — утрами золотыми
Еще идут дозоры вдоль траншей,
Но реет имя Ленина над ними
И с каждым днем становится родней.

И давний месяц в памяти не стерся:
Тогда один, в холодной тишине,
Среди гранитных улиц Гельсингфорса
Скрывался Ленин в финской стороне.

Но город тот с широкими прудами,
Скалистый берег с дикой крутизной,
Где без вестей томился он ночами,
Ему казался каторгой немой.

И падают в ненастный день осенний,
Как листья с лип, листки календарей,
И каждый день друзей торопит Ленин:
«Настанет час — и в Выборг поскорей. . .»

Там по утрам поют дожди косые
И веет ветер с ладожских полей,
Там брезжат зори ранние России, —
Ее цвета на реях кораблей.

Не торопясь, ночь патрули расставила.
Огни в лесах предчувствием томят.
Перк-Ярви, Мустамяки, Райвола —
И по озерам — путь на Петроград.

Он улыбался: кончится невзгода,
Немного дней — и пройдена черта.

.....
Тогда сентябрь семнадцатого года
Рядил сады в багряные цвета.

1929, 1939

44. ПАРОХОД

Зеленая пена
Кипит под винтом,
И мы по заливу
Неспешно плывем

Туда, где огни
Отдаленного форта
Встают за оградой
Военного порта,

Где реял бушлатами
Синий прибой,
Где умер за волю
Матрос молодой.

Там ходит по взморью
Теперь пароход;
Гудит он, как будто бы
Друга зовет:

Тому пароходу
Большому давно
Матроса погибшего
Имя дано.

1929

45. НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Ведь я из первых, кто, свирепость
Стихии взорванной познав,
По капле пью заводский эпос,
Заветный выговор застав.

И с песнею, с родной заставой
Сдружились дальние края, —
Матлота выморочной славой
Проходит молодость моя.

Она беглянкой светло-русой
Кадриль ведет, оторопев.
Иду за ней, иду, чтоб слушать
Неумолкаемый напев!

1929, 1939

46. СТАРАЯ МОСКВА

Переулки с Арбата к Пречистенке.
Сонный ястреб ударил крылом.
Там бродяги слонялись и странники
И мусолили карты в три листика,
Пахли веником старым предбанники,
Ползаставы сносили на слом,
И шатала давнишняя мистика
Эти темные сны о былом.

Старый быт, над проулками
реющий,
Тупики в невозвратную рань.
По базарам лабазы с крупчаткою,
А в трактирах напев канареечный.

Коминтерна ночная стоянка —
Отплывающий в море линкор.
Сосны к западу клонятся утло,
Но, для грома и славы восстав,
Отшвартуют в бессмертное утро
Все шестнадцать московских застав.

1930, 1939

47. СЛОВО

Был поэт — сквозь широкие годы,
Из конца пробиваясь в конец,
Он водил черный ветер невзгоды,
Оголтелую смуту сердец.

Словно отговор тягостной смуты,
Словно наговор странствий и бед,
Воспевал он, холодный и лютый,
Обжигающий сердце рассвет.

Старой выдумкой — песней цыганской —
Он людские сердца волновал
И стихи роковые с опаской
Нараспев неизменно читал.

Под гитару, как в таборе темном,
Над рекой, где гремят соловьи,
Он сложил о скитальце бездомном
Опрометчиво песни свои.

Он твердил: «Если сердце обманет,
Покоряйся бездумно судьбе,
Пусть негаданно время настанет —
Всё любовь не вернется к тебе.

Мне с младенчества, словно Егорью,
Желтоглазый приснился дракон,
Не люблю эту землю с лазорью —
Тихой жизни бессмысленный сон.

В небесах позабытого года
Буду славить холодную тьму,

Есть души отгоревшей свобода —
В грусти жить на земле одному».

Он улыбкой и ложью той странной
Желторотых подростков губил,
Только я не поддался обману —
И поэтов других полюбил.

И теперь только вспомню — и снова
Ясный свет отплывающих дней
Вдруг доносит ко мне из бывшего
Голоса тех заветных друзей.

С нами тысячи тех, для которых
Время вызубрит бури азы,
Молодой подымается порох —
Весь раскат первородной грозы.

Пусть же снова зальются баяны,
Все окраины ринутся в пляс,
За моря, за моря-океаны
Ходит запросто слава о нас.

А поэта того позабыли,
Перечтешь — и забудется вновь,
Потому что мы сердцем любили
Только тех, кто прославил любовь.

1930, 1939

48—51. ИЗ ЦИКЛА
«СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА»

ПОРТРЕТЫ

1

СЕМЬЯ

Над покоем усадеб,
Уходящих в безвестные дали,
Подымается небо
Оттенка суглинка и стали.

У высоких домов,
У деревьев старинного парка
В эту тихую ночь
По-особому душно и жарко.

И стучат до рассвета
Избушки на низеньких ножках
Костяною ногой
На посыпанных желтым дорожках.

Семь цветов, что над радугой
Подняты узкой дугою,
По проселкам страны
Обрываются песней другою.

Даль проходит уже,
И сбиваются в полночь копыта,
Гомозя и гремя
Над укладом старинного быта.

Там семья — как оплот,
И семья там опора всей власти,
Там приказу отца
Повинуются слезы и страсти.

А семейных романов
Отменная тонкая вязь,
Всё, что мы прочитали,
Смеясь, негодуя, дивясь, —

Обличенье того,
Что теперь уж навек позабыто,
Осужденье того
Невозвратно ушедшего быта.

Я запомнил всё то,
Что поют мне об единоверце.
Снова пепел отцов
На рассвете стучит в мое сердце.

Вновь приходит рассвет —
И горят золотые зарницы.

Ваши кости зарыты
На девятой версте от столицы.

Не под темною тенью
Кладбищенской тесной ограды —
По морям, по волнам,
По размытым краям эстакады.

Встань, другая семья.
Вот отцовский резной подоконник.
Захолустная ночь.
Здесь начало романов и хроник.

Здесь преемственность крови,
Преданья и сны старины
Вспоминаются в утро
Великой гражданской войны.

1930, 1937

2

ДЕД

Тихие, тихие теплятся клены,
Топчут вечерний покой тополя,
Дальних оврагов туманятся склоны,
В дымную даль убегают поля.

В этой губернии ночи глухие,
Сколько плотов на широкой реке
Выпьют медвяные зори России.
Тройки гремят в непонятной тоске.

Каторжник беглый, расстрига, картежник
Вспомнят, полжизни своей промотав,
Злую тропу, где растет подорожник,
Желтый суглинок у старых застав.

Вечером слышится звон колокольный.
Спит за оврагом бревенчатый дом.
Плотник усталый с тоскою невольной
Темную думу таит о былом.

В тихом проулке забор деревянный
Выведет прямо на берег речной.
Ходит форштадтами ветер медвяный,
Самою старой пылит стариной.

Детям тоскливо в старинном покое,
Ждут сыновья издалека вестей,
Ходят с конями чужими в ночное,
Слушают сказки бывалых людей.

Годы пройдут, и отцовского дома
Бросят они расписное крыльцо,
Смертная их поджидает истома,
Северный ветер ударит в лицо.

1930

в
ОТЕЦ

Белый и красный и синий омут —
Флаги империи. Свист свинца.
Тишь и покой захолустных комнат.
Так начинается жизнь отца.

Тюрьмы, побеги, угроза казни.
Пагубный свет роковых зарниц
Русские реки бросает навзничь.
Он перешел через пять границ.

Сначала все внове казались краски.
Мохнатые волны чужих озер.
Но вскоре наскучил быт эмигрантский.
Северорусский манил простор.

И сразу же после первых волнений,
Шатающих зарево диких пург,
Он не запомнил других направлений,
Кроме ведущих на Санкт-Петербург.

Он бросил Швейцарию, бросил шрифты.
Писарем строгим заполнен паспорт.

На дальней границе пьянили пихты,
Колоколами встречала Пасха.

На Марсово поле спешит император,
За Невской заставой собранья, а тут
Два контрабандиста, два рыжих брата,
Деньги считают и водку пьют.

В избушке этой простая утварь.
Лежит у порога футбольный мяч.
Как финская лайба, скользило утро,
Скрипели сосны, как сотни мачт.

И вот наконец, перейдя границу,
Впервые он полной грудью поет,
Пред ним раскрывают свои страницы
Журналы «Будильник» и «Пулемет».

«Твердыня царей, ты в тоске сугубой
Стоишь сейчас ни мертва ни жива,
И скалят в тревожный час твой зубы
Поэты и мелкие буржуа».

Прописан в полиции, внесен в списки
Предлинные сей гражданин российский.

Марсельского марша напев суровый
Гремел по России в далекий год.
К бессмертью плывет броненосец новый
По тихим просторам печальных вод.

В морозный полдень шум эскадронов
Сливается с гулом сабель и пик,
С бряцаньем глухих портупей и патронов;
Проходит отец, — за плечо его тронув,
Знакомую спину увидел шпик.

Дорогой Владимирской глохли кручи,
Тонули остроги в свинцовой мгле,
Жандармские ротмистры, усы закручивая,
Ходили, смеясь, по чужой земле.

Но в сумраке каторжного централа
Не сломлена воля большевика,
Он знал, что родная страна мужала,
И верил: победа труда близка.

· 1927, 1937

4

СЫН

В твоей дороге молодость теснится,
И старший брат сегодня узнает,
Как на заре сменяется зарница
И пионерский барабанщик бьет.

И знаю я — твой год рожденья страшен,
Спектакль истории идет не без затей,
Как декорации, крошатся крылья башен
Последних сухопутных крепостей.

Там танцевали так: в боку с глубокой раной,
С отметиной картечи на руке,
И пули врозь высвистывали странный
Мотив, годами стывший вдалеке.

Но это всё тебе необъяснимо,
В шестнадцать лет ты видишь мир иным.
Фабричного стремительного дыма
Не застилал тебе сражений дым.

Как барабан, стучат грудные клетки,
Они полны упорством молодым,
Так, вместе с верным войском пятилетки,
И ты идешь ее мастеровым.

•

Я знаю, нам теперь возврата нету —
Равнение, строй, штыки, полоборот,
Из рук отцов мы взяли эстафету,
Чтобы немедля ринуться вперед.

Когда ж для нас настанет время тленья
И смертный час расстелется как дым,
Без страха мы другому поколению
Ту эстафету вновь передадим.

1929, 1937

52. МОГИЛА В СТЕПИ

Старик, водивший в Гарму и к Мешхеду
Все караваны в давние года,
Вел о былом неспешную беседу.
Сегодня с ним солончаками еду,
Степной орел летит, крича, по следу...
Неужто здесь нас стережет беда?

Над пересохшей речкой изваянье
Какого-то старинного божка.
Предсказывал он странникам скитанье,
И тьму — слепым, и нищенкам — молчанье,
И сам просил, как нищий, подаянья,
И простоял, не мудрствуя, века.

А рядом есть заветное строенье,
Легли кругом горбатые каменья,
Чеканки старой, кокчетавской, звенья
На черном камне стерлись от подков;
Здесь поджидают путника виденья
Давно ушедших в прошлое веков.

Рассказывают: дочка Тамерлана
В урочище степном погребена,
Она в походе умерла неожиданно,
Привезены каменья из Ирана,
С Индийского как будто океана,
Огромные, как на море волна.

Как мучит нас порой воображенье:
Она мне снилась много, много дней,
Уже тропа вела меня на север,

Полынь степную я сменил на клевер,
И ночи стали явственней длинней,
А не забыть предания о ней...

Ведь там и я бы лег среди простора:
В ночной налет от пули басмачей,
Когда б друзья из ближнего дозора,
Пройдя пески и переплыв озера,
К нам не пришли б, чтоб выручить друзей...

1930

53. ПРИСКАЗКА

Он вышел за сугею татарской орды,
С ржаного дорожного болтня.
Шел ветер лесами его бороды,
Усы не измерить и в полдня.

Вскипает и с ближних и с дальних сторон
Рассвет в три погибели, молча,
И мечется сорок сорок и ворон
Да серая вольница волчья.

Хлеб аржаной,
Отец наш родной,
Тебе, видно, ночи не спится, —
Которые годы кружит над страной
Большая двуглавая птица.

Он на руки плюнул и землю копнул,
И видит он: шпич над собором,
На кончик шпича посажен каплун,
Сидит полуночным дозором.

И сто часовых окружают собор,
Пехоты полков девятнадцать,
И бьют барабаны полуночный сбор —
Пора караулам меняться.

Калиновый мостик навстречу летит,
Расшива плывет, и теснится,
Ровня верхи придорожных раки,
К Поцелуй-кабаку зарница.

Хлеб аржаной,
Отец наш родной,
Шумит над вечерней отавой,
Встает над далекой степной стороной,
Летит над пшеничной заставой.

Царь — низенький, рыжий, пшеничный
такой, —
Тебя мы отныне не стерпим,
Ты искоса смотришь и машешь рукой,
Стоишь подбоченясь, фертом.

Но ядра сорвутся — и штык у виска,
И кровь у размытого грунта,
И вот уже сразу пройдут свысока
Знамена мужицкого бунта.

То Русь Пугачева вступает в раздор,
Дорога кудрявая тряска.
Кленовая роща и звончатый бор, —
Но присказка это, не сказка.

1930

54

Если нам суждено разлучиться,
Я уйду на далекий Эльтон.
На заре перелетная птица,
Горбясь, мне просвистит о былом.

С первой зорькой пройдут деревеньки,
Где слепцы костылями стучат,
Старики давней песней о Стеньке
Там своих забавляют внучат.

Есть далекие заводы, тони,
Соляные дымят промысла,
В ломовые пласты на Эльтоне
Вся судьба молодая вросла.

Снова день закружил по болотам,
Лисий след за оврагом глухим,
От костров соколиной охоты
Подымается медленно дым.

Значит, надо, чтоб давнее было,
Чтоб разлука мучительно жгла,
Чтоб любовь наше сердце томила
И по тихому склону вела.

Пусть любовь отойдет, но старинной
Нашей дружбы забыть не смогу,
Часто снится мне город былинный,
Соколиный полет на лугу.

1930, 1937

55

Так тихомолком, ни шатко ни валко,
Сонные сумерки встретили нас.
Тихо летит осторожная галка
В этот сквозной завороженный час.

Старого друга седеющий волос.
В темных лесах притаился посад.
Ветер — и с петель срывается волость,
Сумрак — и жалобно шурхает сад.

В севернорусском дорожном просторе
Тихая есть пред рассветом пора:
Что б ни томило — разлука иль горе, —
Всё позабудешь при свете костра.

1930, 1937



Только с севера коршун сердитый
Пролетит, нестерпимо дыша,
Снова в дом на реке позабытой
За тобой улетает душа.

Там раскольничьи бороды вьются,
Там нехоженных троп колея,
Расписного заморского блюдца
В пятерне остывают края.

По морям отходили поморы,
Отшумела по сходням вода,
Ты вела через степи и горы
Все мои молодые года.

Ночь пройдет, шелестя переправами,
Задыхаясь над каждым ручьем
От любовной немислимой зауми,
Тихо дрогнувшей в горле моем.

Вот борта на высоком причале,
Мимолетный твой взгляд на мосту...
Ведь вчера еще чайки кричали,
Меркли скаты в далеком скиту, —

Но шумит золотая прохлада,
И вдали, за речной синевой,
Там, где стынет ночная громада,
Снова голос мне слышится твой.

1930, 1937

На юге, среди гор, я заметил вдруг
Дрёму — кукушкин цвет. И сразу вспомнил луг

На севере, убогий хвойный лес,
Негромкий ручеек, рощицы навес,

Березку белую, в зазубринах полос,
Плетень убогий, тихий-тихий плес,

Сад белой ночи с призрачной луной, —
И милое лицо мелькнуло предо мной.

Так шел я по горам, а мне навстречу брел
По срезанной тропе медлительный орел.

Мы молча разошлись, и взгляд его упорный
Скользил, неумолим, над светлой кручей горной.

Он крикнул, полетел, и света полоса,
Немея, обожгла беззвучные леса.

Орлиный темный горб тонул в дыму заката...
Не так ли я опять ищу к тебе возврата?

1930

58

Старый сон мою пытается душу,
Ночь в саду сырою вешкой бьет, —
Спят просторы ста морей, и суша,
И тяжелый стан озерных вод.

Жизнь идет — и всё уносят годы,
Тяготят и тихо старят сны.
Полые, взметнувшиеся воды,
Дни моей неведомой весны.

Только разве памяти не стало
Помянуть минувшее добром?
Молния мне сердце рассекала,
И катил ко мне лафеты гром.

На полянах поднимались травы,
Судорогой сердце мне свело.
По степям форштадты и заставы
Небывалым снегом замело.

А от снега волосы седеют,
Редечка-ломтиха не горька,
Облака пролетные желтеют,
Как разводы твоего платка.

1931

59

Искатели таинственных цветов,
Не вписанных в тома энциклопедий,
Во снах мы видим чашечки из меди,
Тычинки из литого серебра,
Ночных цветов зазубренные тени.
Мы видим сны, и сотни поездов,
Товаро-пассажирских и почтовых,
Всегда служить ботанике готовых,
Спешат к лесам, где бурые медведи,
К озерам, где разрезана жара
Грудными плавниками осетра,
Где волны моют белые ступени.
А жизнь пройдет по сотням переправ,
По мхам болот и по распустьям сопок,
Чтоб из безвестных человеку трав
Могли родиться каучук и хлопок.

1931

60

Ты в светлые воды в то утро смотрелась,
Сквозным отражением плыли леса,
И пламенем черным заря разгорелась,
И горькая сразу легла полоса.
Пусть годы проходят, — спокойная зрелость
Уже заглянула, туманясь, в глаза.

Пора расставанья — в холодной невзгоде,
В минуту последнюю только взглянуть
На лодку, что пляшет в родном ледоходе,
На пламя костра и на брошенный путь, —

Как лебедь на взлете, шумит половодье,
И тлеет в разводьях зеленая муть.

Услышать твой голос — на брошенных пожнях,
На злом ледоплаве, в разливе зари, —
Предвестьем разлуки и странствий тревожных
Недаром казалось мне время любви.
Неужто в горах, на распутьях дорожных
Померкнут печальные звезды твои?

Сады расцветут, — от трезвона черемух
Проснется до света твоя сторона,
Но встретит меня дымных гор окоёмок, —
И там в половодье шумит тишина,
И там, по названьям цветов незнакомых,
Узнаю безвестных друзей имена.

Так! Быть однолюбом, не помнить невзгоды,
В заветную пору, в медвяных краях
Увидеть высот заповедные своды,
Окликнуть тебя — и услышать в горах,
Как ты отзовешься сквозь версты и годы —
Любовь, победившая горе и страх!

1932

61

В цветах запоздалых нескошенный луг,
Снопки выгорают на ниве,
Ты песню печальную вспомнила вдруг,
Предсмертную песню об иве.

Загадочна песня и странно-дика;
Бегут по раздолью обрывы,
Крылом лебединым мелькнула рука
Над веткой загубленной ивы.

Ты хочешь понять ее, смысл ее,
И муки ее, и надрывы,
О, как отразилось навек бытие
В значеньи Шекспировой ивы!

Ведь ветка прообразом жизни была
В ее нескончаемой силе,
И вот почему так печально-светла
Прощальная песня об иве.

Ведь ива от веку считалась людьми
Живучей, упорной, счастливой, —
И вот почему так рыдала, пойми:
Ведь с жизнью прощалась, не с ивой. . .

1932

62

Как ты в жизнь входила?
Весело? Легко?
Иль тоска бродила
Где-то глубоко?

Или просто — в светлом
Платьице своем
Шла ты вместе с ветром,
С песней о родном,

С зорькой золотою
На большой реке,
С ивовой простою
Веткою в руке?

1932

63

Мы в зеркало ручья глядимся.
Вдали зарницы на лугу.
Лишь в целостном его единстве
Я облик полдня сберегу.

Он здесь во всем — в очарованье
Лесов и скошенных полей,
И в чистом, медленном дыханье
Суровой спутницы моей,

И в том стихе, что будет сложен, —
И он в единстве том живет —
Как это зарево тревожен
И светел светом этих вод.

1932

64

Я жалобу всегда скрывал —
Мужское, властное начало
Мне вслух грустить не позволяло,
И, стиснув зубы, я страдал.

Так почему ж сейчас слеза
Какой-то странною напастью
От полноты земного счастья
Туманит медленно глаза?

1932

65

Ты светла, словно солнцем ты вымылась,
Где пройдешь — словно теплится свет.
Тонкой веткой дорожная жимолость
На заре тебе машет вослед.

1932

66

Ты спросила меня, как зовется
Та звезда, — я не помнил, не знал,
Я в наплыве небесного воска
Глубь зрачков твоих ясных искал.

Знаю, там, в высоте, за оленем
Проскакал беспощадный стрелок.
Если б я неизбежным веленьем
В высоту сразу ринуться б смог,

Ты звезде мое имя дала бы,
До утра выходила смотреть
Над обрывом, где финские лайбы
Тянут к берегу редкую сеть.

И тогда не страшила б разлука,
Не томил наступающий день, —
Может, всё мое счастье, вся мука —
Этот скачущий звездный олень.

1932

67. ДУБ

Грозой расколот дуб огромный,
Она прошла, испепеля
Весь край той ветки, темной-темной,
Чуть ноздреватой, как земля.

Остался след в долине этой
Мелькнувшей молнии былой,
И пахнет воздух разогретый
Прогорклой северной смолой.

А где же молния? Сияньем
Уже вдали слепит она...
Пусть ты ушла, — а всё дыханьем
Твоим душа обожжена.

1932

68

Море разделившая зарница
Зажигает реи кораблей...
Хочешь, расскажу я про синицу
Сказку самых ранних, детских дней?

Та синица за море ходила,
За морями города зажгла...
Как я ей завидовал, и сила
В этой сказке дедовской была.

«Да какая ж это вот синица?» —
Спрашивал у взрослых я не раз...
Увидал — безропотная птица,
А гляди ж, какой о ней рассказ...

1932

69

Как темная даль беспредельна была...
Вновь слышу твой медленный голос, —
Кубанская шапка с размаху легла
На русый седеющий волос.

Упрямые губы всё шепчут свое,
А сердце по морю тоскует,
По лесу, где ночью кричит воронье
И белая вьюга колдует.

Так началось наше знакомство с того,
Что взводы сверкнули штыками.
На улице дымной — снегов торжество.
Высокое небо над нами.

В извозчицьи сани мы сели. Москва
Вся в оползнях зеленокрылых.
Какие тогда говорили слова —
Пожалуй, я вспомнить не в силах.

А щеки мороз одичалый дерет,
Сквозь зубы два слова процедим —
И снова в пролет Триумфальных ворот
На низеньких саночках едем.

Фофан с толокном да Иван с волокном,
А вьюга-разлучница пляшет...
В ту ночь непогода шумит под окном,
Широкими крыльями машет.

Последняя ночь в деревянной Москве.
Ночные луженые своды.

В коротком раструбе, как в злом рукаве,
Грустят москворецкие воды.

Нас время разводит, нас годы трясут,
Давно мы с тобою седеем,
Но диких степей молодую красу
Вовеки забыть не посмеем.

Ты был комиссаром — и вел наш отряд.
Я был ординарцем веселым.
Флажки золотые на солнце горят
По вольным станицам и селам.

1933

70—97. ЗОЛОТАЯ ОЛЁКМА

1

Дай руку мне, пойдем со мною
В тот вьюжный край,
Он полонил мне сердце тишиною,
И снегом зим, и свистом птичьих стай.

Там горбоносых желтобровых птиц
Эвенк охотник ждет, и на рассвете
Слепят огни бесчисленных зарниц,
И гнет пурга тяжелых кедров ветви.

Тайга бежит по белым склонам вдоль
Последних побережий,
Где по заливам высыхает соль
И где во мхах таится след медвежий.

Там сердца моего заветная отрада,
Край детских лет,
Родной страны холодная громада,
Я — твой поэт.

1933

СТАРЫЙ ИРКУТСК

На Дьячем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб собирать ясак...
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.

Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дён, и старой веры нрав.

И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окурённый пожарами курень.

Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Немало есть фамилий именитых —
Трапезниковы, Львовы, Баснины.

Он богател. Его жирели тракты.
Делил полмира белыми дверьми,
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.

Он грузен стал, он стал богат, а впрочем,
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин,
От ярмарок и паузков речных.

Он, словно струг, в века врезался, древний.
Рубили дом, стучали топоры,
Бродяги шли из Жилкинской деревни,
С Ерусалимской проклятой горы.

Он шлет их вдаль. Оборванные парни
Идут навстречу смерти и пурге,
Мрут от цинги в тени холодных варниц,
От пули гибнут смолоду в тайге —

Чтоб богател, чтоб наливался жиром
Купеческий, кабацкий, поторжной,
На весь немшоный край, над целым
полумиром
Поставленный купцами и казной.

1933

8

ХОЗЯЕВА

Низко кланяясь, провожала управа,
Лошадь рванула — сойти с ума,
Налево — лабазы его, а направо —
Им же построенные дома.

А сбоку саней медленно едет,
Снегом и ветром обдавая на миг,
Весь мир, разбитый на «дэбет» и «крédит»,
Занесенный в рубрики бухгалтерских книг.

Купола церквей — как пробки графинов.
Зело выдыхается это вино.
Кладбище в жимолости и рябинах:
Здесь-де покоиться суждено.

Годы легли по откосам чалым,
Как козырные тузы крестей.
Души загубленных по отвалам
Изредка встанут во мгле ночей.

Души всех тех, кто погиб в юродстве
(Вниз пригибаются плечи их),
Тяжбы в старинных судах сиротских,
Торжище ярмарок площадных.

Сядет обедать — уха стерляжья.
Скучно идет с коньяком обед.
Сын-гимназист, бормоча, расскажет:
«Жил-де на севере людоед».

Покажется сразу: пельмени — уши,
Злобно мигают глаза сельдей,

В черном рассоле коптятся души
Всех позагубленных им людей.

В комнату бросится прямо с инею
И поясные поклоны бьет.
Ветер уходит в Китай да в Индию,
Неопалимой тропарь поет.

Церковь построит, на бедных тысячу,
Но не оставит сего в тиши,
Толстый бухгалтер на счетах вычислит
Цену спасенья его души.

Деньги дарит он теперь, раздобрясь.
Надобно всё ж искупить добром
Трупы шахтеров и брата образ.
(За ассигнации. Топором.)

Так бы и жил, да неожиданно выплыл,
Всех сотрапезников веселя,
Купчик из Питера — голос сиплый,
В кожаной сумочке векселя.

Месяц прошел, — прииска ему продал,
Тихо заплакал: «Что ж, володей»,
Но следом за купчиком шла порода
Совсем непонятных, чужих людей.

Никто из них не ел струганину,
Они и не знали, как водку пьют,
Когда баргузин вдруг ударит в спину
И дымный мороз невозбранно лют.

Они аккуратно носили фраки,
Души свои не трясли до дон,
Вовек никому не кричали: «враки»,
А всё по-французски: «pardon, pardon».

Их имя со страху едва лепечется,
Топырьась, идут упыри-года,
И стало подвластно им всё купечество,
Процентом напуганы города.

1933

РОМАНСЫ

Есть один романс старинный.
На отверженной заре,
Ночью зимней, длинной-длинной,
Он гремел на Ангаре.

«Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец,
В белых перьях штатский воин,
Первый в бале и боец».

В белых перьях ходит вьюга.
Зимний вечер хмур и тих.
Кто идет? Найду ли друга
У шлагбаумов пустых?

От него пришел гостинец,
И тоскуют на току
Сто дебелых именинниц
По Иркутску-городку.

Эти годы отступили,
Отстучали в барабан,
Колчаковцы прокатили
По Сибири шарабан.

То английский, то японский
Танец грянет на балах,
И поет правитель омский
В смуте виселиц и плах.

«Белы струги, белы перья,
Не хватает якорей,
Где дредноут твой, империя,
В глубине каких морей?»

А по Лене ходят паузки,
Бьет по отмелям весна,
В деревнях, в Тутурах, в Павловске
Не гуляют лоцмана.

Моего ль вы знали лоцмана
С красной лентой у штыка?
Вместе с ним дозоры посланы
Партизанского полка.

1933

б

В БЕГА

«В бега!» — закричали тебе снегири,
«В бега!» — громыхают на шахте бадьи,
«В бега!» — зарывается в гальку кайла,
«В бега!» — прижимается к локтю разрез,
Как ель, на костре придорожном сгори,
Хоть в дальней дороге без хлеба умри,
Послушай, что скажут ребята твои:
За прииском сразу — крутая скала,
За ней пригибается к северу лес,
Хоть из носу кровь, собирайся в поход
От этих гремящих без устали вод.

Нарядчик тебя в три погибели гнул,
Пять шкур барабанных с тебя он содрал.
Твой брат в дальнем шурфе навеки уснул,
Беги за Байкал и беги за Урал!

Глядит на тебя, не моргая, дупло,
И неясить-филин дорогой кричит,
Уходит в тайгу отработанный штрек,
Бежит впереди он, и стало светло,
И сумрак широким крылом развело,
И прыгает белка, и коршун летит.

Тебя управляющий розгами сек,
Ты нож ему в сердце — он сразу упал,
Беги, задыхаясь, покуда живой,
Старинной, заветной, болотной тропой.
На небе сто звезд, словно сотни стрижей,
Дорожный кустарник рыжей и рыжей.

Ты счастья искал, — но к туманной стене
Приковано счастье цепями семью,
На семь завинчено крепких винтов.

Разрыв-трава и листок-размыкай
Напрасно тебе снились во сне,
Напрасно за ними ты шел по весне,
Покинув деревню и бросив семью.
Отвал отработан, ты тоже готов,
Ложись на дороге, ложись — умирай.
Дожди тебя били, слепили снега,
И кости твои обглодала цинга.

В последнюю вспомнишь минуту свою
Вашгерды, проселки, жену в шушуне,
Кушак кумачовый и шаль на груди,
И песню, которую нянчил якут,
И шаньги, которые девки пекут,
Березы и сосны в родимом краю,
Дороги, бегущей на юг, колею,
Реку при дороге, овраг при луне,
Кривые кресты на путях впереди.
Неужто всё запросто — сумрак и мгла,
И жизнь мимоходом, как шитик, прошла?

Мы едем тайгою. Валежника треск.
Век прошлый хрустит под копытом.
С твоей ли могилы разломанный крест
Нам знаменьем машет забытым?

1933

6—7

БАЙКАЛЬСКИЕ ПРЕДАНИЯ

1

КАТОРЖАНИН И СОХАТЫЙ

Ямская почта мимо проскакала,
Но всё, что пел ямщик, я сберегу.
Есть пегий бык на берегу Байкала,
Пасется он на синем берегу.

Есть пегий бык. Его зовут сохатый.
Большой нарост под горлом у него.

Шумит тайга. Вдали острог дощатый,
Преселок, ночь — и больше ничего.

Вдруг человека вынесло над бездной.
Минуто он стоит, оторопев.
Как глух и резок этот звон железный,
Стон кандалов, их яростный напев!

Как будто мир закрыт ветрами наглухо,
Пожаром вся земля опалена,
В тумане, будто наливное яблоко,
Едва блестит клейменная луна.

Он так стоит. Он с моря глаз не сводит,
Большие волны рушатся в дыму,
И пегий бык тогда к нему подходит,
Губой мохнатой ластится к нему.

Но дальний шум уже несется лесом,
Спешат враги на берег роковой,
И конь храпит, пригнувшись над отвесом,
Сечет в семь сабель сумерки конвой.

Мыча, подходит к берегу сохатый,
Садится беглый на спину к нему,
Прощай навек, прощай, острог проклятый, —
Они плывут, они уходят в тьму.

Они плывут, и ночь плывет, седея,
А в тихом Курске свищет соловей,
Руками машет теплыми Расея,
Своих зовет обратно сыновей.

Далекий путь, но смерть его минует,
Кругом враги, но жизнь его легка,
И в губы он мохнатые целует
Сохатого, спасителя, быка.

Когда зимой обледенеют кенди
И каторжане к Нерчинску бредут,
То молодым — потайно — о легенде
Бесписьменные в ночь передадут.

И может, всё, что в жизни им осталось:
Щедрота звезд падучих на снегу,
Разлучниц-волн нежданная усталость
И пегий бык на синем берегу.

1933

2

КЛЮЧИ

В забытые злые годы
Сибирью шел летний снег,
И с гулом вздувались воды
Ее ненасытных рек.

На берег реки покатый
Носило раскат глухой.
И долго стучал сохатый,
Вступая с врагами в бой.

И криком его сердитым
Гудела тайга в ночи. . .
Он выбил в ту ночь копытом
В промерзлой земле ключи.

Спасаясь от злой погони,
Ушел партизан в тайгу
И видит ключи на склоне, —
Не мерзнут они в снегу.

1936

8

ЗОЛОТАЯ ОЛЁКМА

Много было громких песен, токмо
Где же ты, заветная Олёкма,
Нищая, хоть оторви да брось,
Золотом прошитая насквозь?
В кабаках девчонки запевали,
Золота-де много там в отвале,

Мы с одной особенно сдружились —
Балалайки-бруньки жарок грай, —
Пожениться с ней мы побожились,
И ушел я в этот дальний край.

Я увидел там зарю из меди.
За гольцами бурые медведи.
Соболиных множество охот.
На траве испарина, как пот.

Небо там совсем не голубое.
Ночь длинна в покинутом забое.
Ворон — по прозванию верховой —
Пробегает мятою травой.
Я потом тебе писал без фальши:
Ты меня обратно не зови,
До жилого места стало дальше,
Чем до нашей прожитой любви.

По тайге, гольцов шатая недра,
Непокорней лиственниц и кедра,
Ходят зимы в быстром беге нарт.
Мне пошел тогда особый фарт —

Я нашел в забое самородок.
Разве жалко хлебного вина?
Весь в дыму и в спирте околоток,
Вся Олёкма в синий дым пьяна.

Самородок отдал я в контору.
Получил за то кредиток гору.
Деньги роздал братьям и друзьям.
Сшили мне отменнейший азам.
Шаровары сшили по старинке,
Блузу на широкой пелеринке.

Заболел потом я страшной болью:
Год лежал в бараке, чуть дыша,
Будто десны мне разъело солью,
От цинги спасала черемша.

Как прошла тайгою забастовка,
Я со всеми шел, а пуля ловко
В грудь навывлет ранила меня.
Сто четыре пролежал я дня.

Пять годов прошло, как день. Как парус
Раздувают ветры средь морей,
Сердце мне тогда раздула ярость,
Дух недоли призрачной моей.

Хорошо потом я партизанил,
С боя брал я каждый шаг и дол,
Этот край под выстрелы я занял,
На Олёкму торную пришел.

Ты опять мне поднялась навстречу,
Как тугая вешняя гроза,
Пегий бык бежит в людскую сечу,
По реке проходят карбаза.

Ради старой ярости в забое
Я стою. Совсем не голубое,
Всё в дыму, как перегар пивной,
Небо распласталось надо мной.

Жизнь моя простая мимолетно
Не легла отвалом в стороне,
Ты меня прославила, Олёкма,
Сколько песен спето обо мне!

От гольцов до озера большого
Каждый знает деда Кунгушова.

Вот она, моя большая доля,
Под кайлой гудит моя земля,
Ветер вновь летит с ямского поля
На мои дозорные поля.

1933

ОСИБИРЯКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С КАРПАТ В 1917 ГОДУ

Есть белый туман на малиновых взгорьях, —
 Как скатертью белой покрыта скала,
 И в губы отставших на утренних зорях
 Впиваются черные когти орла.

Проходят солдаты дивизий сибирских,
 Лавины летят, грохоча, с высоты,
 Шинели трещат на плечах богатырских,
 Пылают вдали ледяные мосты.

Идут впереди трубачи молодые,
 Идут знаменосцы сибирских полков,
 Идут позади ополченцы седые,
 Возносятся к небу шесть тысяч штыков.

Идут молодые добытчики меди,
 Крестьяне густых и могучих кровей,
 Разведчики троп, где таятся медведи,
 Лошадники из барабинских степей.

В тот час по Сибири у каждого тыша,
 Свистя, пробивается кверху репей,
 Кончается день лисогона Мартына,
 И ворон в раздел выпускает детей.

А тут затаили измену Карпаты.
 Как гаубица грянет вдали с высоты —
 Приходят саперы, приносят лопаты,
 Копают могилы и ставят кресты.

Орел пролетит над обрывом зеленым,
 Увидит — внизу, словно белый навес,
 Кресты смоляные по кручам и склонам,
 Огромный, негаданно выросший лес.

«Довольно!» — кричат, сатанея, шахтеры,
 К словам прибавляя реченье штыка.
 Корниловцы ринулись в дальние горы,
 Но беглых настигла разведка полка.

И новый идет командир, запевая,
Кудрявоголовый казак с Иртыша,
И песня летит, на зубах остывая,
Двенадцатью тысячами легких дыша.

А знамя полка вверх стремится упрямо.
Что там нарисовано? Кони летят?
Снегов бесконечных блистанье? Иль мамонт,
Трубящий в зеленое небо Карпат?

Нет, в зареве войн и наставших усобиц,
С газетой, зажатой в тяжелой руке,
На знамени этом встает полководец
Не в форме военной — в простом пиджаке.

Он встретит солдат после долгих ненастий,
Веселый, с улыбкою доброй такой,
Он ласково скажет дивизии: «Здравствуй»,
Махнет, улыбнувшись, могучей рукой, —

И каждое слово, как пулю литую,
Немного прищурясь, стремится во врага,
И душу оно обжигает простую,
Волнует моря, зажигает снега.

1934

10

СОВОЛИНАЯ ОХОТА

Встану в час охоты соболиной,
Три силка поставлю на пути,
Млечный Путь раскинется былиной,
От которой следа не найти.

Будто в небе тоже эта заметь,
Шум снегов и шастанье пурги,
И ведет глухой тропею память,
И снега глушат мои шаги.

Душен мертвой лиственницы запах,
Но уже бежит навстречу мне

Бурый зверь на красноватых лапах,
С ремешком широким на спине.

Бурундук прошел, за ним поодаль,
По следам разымчатым спеша,
Ноготь в ноготь, пробегает соболь.
Как тоска, черна его душа.

Но дорога ринулась прямая,
Выстрел грянет издали, пока,
Ничего еще не понимая,
Держит он в зубах бурундука.

Вот звезду сдувает, как соринку.
Шкурку сняв чулком, я на заре
Куренгу соболью по старинке
Обкурю на медленном костре.

Но года пройдут с центральным боем
Доброго и верного ружья,
И когда смертельным перебоем
На весах качнется жизнь моя,

Я скажу, что прожито недаром:
Грудь под ветер подставлял любил,
Золото намыл я по бутарам,
По тайге я соболей губил —

Чтоб в твоём, республика, богатстве
Часть была и моего пайка.
Как никто, умел я пробираться
По глухим следам бурундука.

1933

II

БИОГРАФИЯ

Сначала малиновка пела в детстве,
Бабушкины букли, посыпанные мукой,
Крючок на удочке, пруд по соседству,
Форель, запыхавшись, плывет рекой.

От игры на поляне и детской забавы —
Лишь пачка тетрадей да смутный дым,
И в юности долго грустит о славе,
Идет, торопясь, по путям земным.

И в цирке, в тоске обезьян бесхвостых,
Мечтал он, что жизнь — вся впереди,
Что скажет цыганка, сгадав на звездах:
«Строитель, твой час наступил. Иди!»

Друзьям говорил: «Ведь и вы упретесь
В такой же бесплодный и злой тупик,
В фурункулах будет душа-уродец,
И станет невнятным ее язык».

Так наедине прозябал с мечтами,
Но черта ли в стену стучаться лбом?
И шел, получив перевод в почтамте,
В гремящий мазуркой публичный дом.

В цветах из майолик, в узорах странных
Злорадные тени по всем углам,
И в толстые груди красоток пьяных,
Шурша, зарывается мадаполам.

А годы меж тем проходили, запись
В матрикуле вдруг к концу подошла,
И душу, как жжет бородавку ляпис,
Любовь неожиданная прожгла.

Счастливая пара молодоженов,
Покуда еще на подъем легка,
Спешит, по совету дельцов прожженных,
На самые дальние прииска.

Они повезли с собой пианино,
На случай бессонницы — белый бром,
Платья из бархата и поплина,
С орлами развесистыми диплом.

И стал поживать инженер богатый,
Семейный уют не спеша потек

На дом двухэтажный, забор покатый,
Площадку для тенниса и каток.

И вдруг — революция: Красногвардейцы.
Шахтерские вышли в поход полки.
Ночами Иванов не спит — надеется,
Что всё же отступят большевики.

И только по кочкам, в росе туманов,
Колчак на Россию повел войска,
Все списки зачинщиков сдал Ив́анов,
И кончилась сразу его тоска.

Гуляет ночами в калошах, с зонтиком,
Не гнутся прямые его шаги, —
Спешат казаки с белокурый сотником —
И выстрел доносится из тайги.

Колчак побежал, и с ордою беженцев,
Под присвист немолчных сорочьих стай,
С последним отрядом его приверженцев
Иванов бежит на восток, в Китай.

Случайно раздавлен на самой границе,
Спиной перебитой к земле приник,
Недвижно лежит под колесной спицей,
И страшен высунутый язык.

И тянется снова в покой диванов,
В семейный уют, в двухэтажный дом
Обрубком руки инженер Иванов,
И ночь опускается над прудом.

1933

12

ПЕСНЯ

Спит Алдан и спит Олёкма,
Реки северные спят,
И метель стучится в окна,
Распустив два дымных локона,
Космы серые до пят.

Парню рыженькому снится,
Будто ходят копачи,
Долго цвинькают синицей
И зовут его в ночи.

В шали рыжей, в шали черной,
Накрест сшитой на груди,
Вдоль по улице просторной
Ходит старший впереди.

По снегам, по хрусту галек
Он проходит налегке,
Полуштоф большой да шкалик
В окровавленной руке.

Парень рыженький проснется —
Прииск снегом занесло,
Снег высокий у колодца,
Дремлет дальнее село.

Спит Алдан и спит Олёкма,
Реки северные спят,
И метель стучится в окна,
Распустив два дымных локона,
Космы серые до пят.

Темнота на дальнем стане,
Осторожна тишина.
Шахта тихая в тумане
Потаенна и страшна.

Он спускается по лестнице.
Темь, мохнатая как шерсть.
Знать дается пулей-вестницей,
Что взаправду гости есть.

Кто там ходит? Кто шурует?
Пулю целит мне в висок?
Наше золото ворует?
Промывает наш песок?

Чья там торкается поступь?
Чьи тут ходят копачи,

На лицо наводят фосфор,
Чтоб светилось в ночи?

У крепей, у старых кровель
Тень большая копача.
«Вас я, братцы, не неволил», —
Вынимает он револьвер,
Заряжает сгоряча.

Копачи бегут украдкой,
Чтобы бить наверняка,
И тяжелой перчаткой
С сокровенною свинчаткой
Ударяют паренька.

Жизнь окончена в ночи,
Сон уж больше не приснится —
Ни дорога, ни синица,
Ни ночные копачи.

Убегают вверх убийцы
Со свинчатками в руках —
Только некуда пробиться:
Десять выстрелов дробится,
Дым холодный на штыках.

1933, 1937

13

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИИСКОМ

Опять, не поверивши памяти-патоке,
Прошедшее тянет мне руки из тьмы,
От муки кандалной на сумрачной каторге
Бежал я тогда из царевой тюрьмы.

Я шел по Иркутску, и крался я стеночкой,
Накрапывал дождь, и звонили ко всенощной.
Союз Михаила-архангела нес
Хоругви и знамя на дальний откос.

Лабазники в шапках бобровых прошли.
Столбы придорожные ветхи.
Сутяжницы-пихты до самой земли
Пригнули тяжелые ветки.

Тебе ли, Сибирь, прозябать на роду
В охотном, в марьяжном, в купецком ряду,
С усобицей служб по старинным церквам,
С поддевками синего цвета,

С шустовской рябиновкой по кабакам,
С фитою и ятью по щирым листам,
С орлами по черным жандармским полкам,
Со всем, что цыганами спето?

Чуть осень настанет, пройдетя метель
Полосками нищих мужицких земель,
Прудами рыбачьих затонов —
Дорога расхожена на прииска,
И гложет по громкому фарту тоска
Сумятицей души чалдонов.

Расписаны годы, и время всё занято,
В снегах достопамятных спит слобода,
И падают годы пролетные замертво,
Ползет по холодным полям лебеда.

Минутная встреча, невнятица, роздых —
И дальнедорожная стынет тоска,
И с новою явкой дорога при звездах,
За дальним Витимом зовут прииска.

Давно седина на висках и затылке,
А всё я никак не уйду с приисков, —
Со мной два товарища старых по ссылке
И сто партизанов шахтерских полков.

И жадность такая — всё больше бы золота
На драги несли придорожные рвы,
Скорей бы его с мерзлоты бы да со льда
В немолчно гремящие сейфы Москвы,

Чтоб, скупости подлой забыв перебранки,
В поправление вечное жизнью пустых,
Отхожее место поставили правнуки
Из самых отменных пород золотых.

1933

14

ЛЮБОВЬ

Смерть придет — не в тоске умираем,
Сразу в памяти встанет судьба.
Вот сплотки — и по брошенным сваям
Осторожно бегут желоба.

Этой ночью, проворней, чем ястреб,
Память торной дорогой пройдет
По заметам сугробов и заструг
На речной остывающий лед.

Вот в лотке золотые крупницы,
В старой шахте дробится обвал,
Вот лицо инженера-убийцы,
Что на гибель меня посылал.

Так, но в смуте годов одичалых
Только память твоя дорога,
Вот весна протрубит на отвалах,
Ветер с веток сдувает снега.

Промелькни, пробеги по тропинке,
Чтоб я вновь увидал, как впервой,
Из сафьяновой кожи ботинки,
Оренбургский платок пуховой.

Вновь поет молодая истома,
Проступают из смуты и тьмы
Два разбитые кедра у дома,
Снеговое сиротство зимы.

А луна надо мною, как пряник,
И кругла и духмяна на вид.

Старый муж, трех дистанций исправник,
Вечерами тебя сторожит.

Только горные реки взыграли
Синим станом воды коренной,
Нас в царевый поход собирали,
Повели на германца войной.

Как война распахнула воротца,
Мы и запросто мерли и так,
Отдавая свое первородство
Перебежчикам конных атак.

Только после, по сотням дивизий,
Золоченую рвань волоча,
Двоглавых орлов на девизе
Полоснули штыком сгоряча.

Вот и я восемнадцатым годом
Всё лечу на конях вороных.
Бродит паводок вешний по водам
Над прибоем голов молодых.

Я тебе присягал не как рекрут,
По согласью с тобой, по любви,
Через вал, набегающий к штреку,
Берега я увидел твои.

Скобяной ли товар, бакалейный,
Все гостинные лавки на слом,
Станет славою ста поколений
То, что было твоим ремеслом.

И минуты короткой не выждав,
Всё, что было тобой, возлюбя,
Снова встану, расстрелянный трижды,
Чтоб опять умереть за тебя.

Только дождь — и горят мои раны,
Чернокнижницы-тучи в пыли,
И в песок, в тротуар деревянный
Ударяют мои костыли.

Но поет молодая истома,
Проступают из смуты и тьмы
Два разбитые кедра у дома,
Снеговое сиротство зимы.

Вдалеке от дорожных колдобин
Спит в лазоревом дыме плетень,
Дальний берег, что смёрти подобен
И уже беспросветен, как тень.

Ты — разор моей юности жаркой,
Полдень таборной жизни моей,
Всё лицо твое — в смеси неяркой
Костромских и татарских кровей.

Ты не плачь — осторожны наезды.
Весь полбн моей жизни храня,
Словно слезы, падучие звезды
В эту полночь оплачут меня.

Мое имя в воде не потонет,
На дорожном костре не сгорит,
Его нож двоедана не тронет
И бродяга в тайге пощадит.

1933

15

БЫЛИНА О КРАСНОМ КОННИКЕ ИВАНЕ ЛУКИНЕ

Ехал эскадронный Иван Лукин
По черному берегу злого Витима,
Взглянул на снега — снега далеки,
Взглянул на тайгу — тайга нелюдима.

Как ягоды, красные звезды висят,
А небо над ними вечернее, вдовье.
По склонам отлогим олени спешат,
И сохатый бежит на свое зимовье.

Легли по краям прямоезжих дорог
Зверей молодых молодые кочевья,
Скользнет за рекой позабытый острог —
И снова бегут, коченея, деревья.

А пастбища мамонтов дремлют вдали,
Над ними снегов беспробудные толщи,
Под тяжестью мерзлой наносной земли
Сгибаются бивни бесчисленных полчищ.

Пурга заметает разводья копыт.
Едет эскадронный, а ночь нелюдима,
Волк пробежит, глухарь пролетит
По черному берегу злого Витима.

Край там потайный — в глухой стороне,
В лесу, хоронясь от змей семиглавых,
Творила старуха тесто в квашне
На браге и тайных китайских травах.

Седая как лунь уплывает луна,
Молчит эскадронный, — неужто задумался?
Ночь встала над лесом черным-черна,
Хотя начиналась без злого умысла.

А птицы в отлете у синих степей,
А сиверко спит у студеного моря,
И стонет пурга, среди черных ветвей
Гудя, двоедушные пихты узоря.

В далекие дни и в далеком краю
Рассказывал сказку солдат одноглазый,
Что будто есть город: там светло, как в раю,
Его стерегут придорожные вязы.

Его стерегут сто дорожных раки,
Ночной нетопырь злые крылья топорщит,
А в будке солдат большеротый стоит,
И хмель у него в сапоге от порчи.

Тот град стерегут по лесам соловьи,
А если б туда и добрался храбрый,
То выплывет рыба с черным ядом в крови,
Распластав по воде стопудовые жабры.

Вот видит Лукин избушку в тайге
На волчьей спине и на курьих ножках.
Как щеголь, дымок навстречу пурге
По крыше бежит в слюдяных сапожках.

Огорожена лесом смоляная изба,
Жилье с локоток, а хозяин недобрый,
У него с перепою отвисает губа
И трещат к непогоде перебитые ребра.

Лукин

А есть ли, скажи, тут дорога в края
Заячьих троп, лесов дремучих,
Непуганых коршунов и молодого зверья,
Где мамонты спят у ручьев гремучих?

Хозяин

Я тебе скажу, дорогой приятель,
Сказывали сказку нам старики,
Будто три года шел приискатель
По берегам нежилой реки.

Был он уж очень щупливый малый,
Родина будто его Тамбов.
Собой большегубый и шестипалый,
С четырьмя рядами белых зубов.

Будто три года он шел, а края
Всё не видать постылой реке,
Снегирь и тот в пути умирает,
Человеку никак не пройти налегке.

Край там постылый — кресты по дорогам,
Птицы небольшие, а кричат, как скворцы,
Реки жиреют, кружась по отрогам,
У важенок старых пухнут сосцы.



1930.

A. Carnob

Верст на три тысячи нет дымочка,
Край там пустынный — туманный скит,
Старого тунгуса черная дочка
В берлоге зимой с медведицей спит.

Могилу будто вырыл себе братенник,
А рядом течет синий стан реки,
Положил он себе под голову тельник
И сам на ресницы свои кладет медяки.

Так умер он безо всяких молебствий,
Хитрый, подмигнул, а кругом тишина,
Никаких-де забот ему нету о хлебце,
Ни даже будто о косушке вина.

Он большегубый, он шестипалый,
Он в переделках мужик бывалый,
Тертый, как редька, сквозь сорок бед,
Только дороги обратно нет.

Спит будто малый, но если ходит
Этой тайгой человек чужой,
Он из могилы тогда выходит,
Следом бредет по тайге глухой.

Долго глаза на чужого пялит,
В спину кайлою наотмашь бьет,
Прямо на землю сырую валит,
Кровь человечью, как мошка, пьет.

Булатная сабля прижата к ноге,
Встречный ветер и тот Лукиным заподозрен,
А и трудно в мороз пробиваться в тайге,
Очищать от ледяшек лошадиные ноздри.

Едет Лукин дальше на юг,
По черному скату, по зеленому логу,
Пролетные птицы ему песни поют,
И беглые звери приминают дорогу.

А в далеком улусе девушка смуглая
Глядит вечерами в слюдяное окно,
А звезда очень белая, а луна очень круглая,
А дым очень длинный, а и ей всё равно.

Да и сказка-то, может, спиртоносом рассказана,
Поглядишь да подумаешь, и нет ничего, —
Лиственница прохладная, небо ясное,
Пьет олень, нагибаясь, пляшут губы его.

А на белых снегах молодых полян
Пугает мороз ледяной опалой,
Из Амги-слободы бежит на Аян
На черном коне генерал сухопарый.

А в Аяне зимуют сто кораблей,
А в Аяне паруса накормлены ветром,
И едет Лукин вдоль белых полей,
На рассвете мечтая о граде заветном.

Красное войско от Якутска идет,
Плещутся сабли, с револьверами споря.
Зарывшись лицом в отпылавший лед,
Не доехал Лукин до Охотского моря.

То ли он в наледи злой потонул,
То ли погиб от варначьего происка,
То ли убил его на заре есаул
Бежавшего к морю белого войска.

Но сказывают, что будто бы в день,
Когда зацветает по ложбинам донник,
Мчится по лесу длинная тень —
С казацкою шашкою красный конник.

А был он, Лукин, двадцати пяти лет,
С лица рябоватый, с усмешкой лукавой.
Молодые чалдонки всё глядели вослед,
Как, бывало, тряхнет головой кудрявой.

1934

Вот родная земля за Леной.
 Кони ринулись с высоты.
 Восьмигранная мать вселенной —
 Так зовут тебя якуты.

Как прозрачны речные воды,
 И отборны твои леса,
 И богаты в горах породы,
 Ослепительны небеса!

И тропа отступает, пятась,
 Снова песня поет в груди,
 На обломанных соснах зátесь —
 След пробившихся впереди.

След прошедших в тяжелых катах
 Над раздором лесных путей,
 По кандалным дорогам каторг,
 По тропам сорока смертей.

Хоть уйду от тебя далеко,
 Хоть не той судьбой заживу,
 Всё же в сердце стучит Олёмка,
 Кони мнут по лугам траву.

А тайга убегает в горы,
 Студенеет страна отцов,
 И светлы на заре просторы
 Всех пустынных ее гольцов.

1933, 1937

Года прошли — и сердцу пособили,
 И жар остыл неукротимых лет,
 По наледям моей родной Сибири
 Прошел мой путь, как узкий лыжный след.

В глухую ночь в тайге кричит сохатый;
За много тысяч верст он слышит соловья:
Так я иду, кругом снегами сжатый,
Но знаю, близко выручка моя.

Два-три словца, в которых бродит солод,
Оставлю я иль песенку одну, —
В седой тайге, где звездный край расколот,
Всё будут славить девушки весну.

И может быть, среди других, мне равных,
Пройду походкой медленной своей,
И невзначай строку повторит правнук,
Когда в снегах, как в думах, Енисей.

Ведь свет гостил в тех песнях небогатых,
Придет пора — я другу принесу
Сказанья давних дней о кедрах и сохатых,
Тайги сибирской дикую красу.

И этот край, прославленный и зримый,
Где каждый колос выстрадал я сам,
Как часть твоей судьбы неповторимой
Я по складам потомству передам...

1933, 1939

18—21

ВОСПОМИНАНИЯ

1

А на острове дальнем, где белое польмя вьюг,
Вспоминаю тайгу и ночную тоску перелесиц,
Поторжные дороги, как лето, уходят на юг,
И как ложка кривая — над старыми юртами месяц.

В соболиных следах потеряется след бурундучий,
Кренясь, вновь пробегают над брошенным прииском
тучи.

Смута желтых снегов. Над озерами лед голубой.
В дымный край мерзлоты позабытый уходит забой.

Приискатели спят. Страшен прииск богатый в ночи.
С фонарями «летучая мышь» пробегают вдали копачи.

Человеческий фарт. Человеческой жизни удача.
Якуты постоят и на север уходят, судача.

Вдруг заржала кобыла, бежит жеребенок ее,
Это пулю ведет по коротким нарезам ружье.

Я ребенком еще по дорогам Сибири прошел.
Душны ночи ее, а заря — огуречный рассол.

Помню яркие звезды и воздух как порох сухой.
Мимо летников братских, где кормят нас жирной ухой,

Мы уходим на север — ветер каторжный шастает прочь,
И с любой стороны наступает на прииски ночь.

Нам якут говорил: «Я рубахой клянусь, что не спятил,
Чертов сын в красной шапке, над пихтой подыметса
дятаел —

И, как рог, не промерзнет то дерево. Ветви его серебра,
Так, без стуку, над ним пролетит молодая заря».

Что же, сердце мое, ты опять меня смутой томишь?
Ведь уже отшумел по далеким болотам камыш,

И другая тайга от оврага бежит на овраг,
В экскаваторном шуме и яростной поступи драг.

1933

2

Заплетается вновь в перелесках весенняя вязь.
Снова горы багряные рвутся ко мне, громоздятся.
Полуденник скользнет — не пройдешь, не отыщешь
соседства.
Теплый ливень в гольцах. О, мое бесприютное детство!

Одиночество сердца, не знавшего детства. Глухие
Завитимские дали. За прииском — грохот телег.
В десять лет из отцовского тесного дома побег.
О дорожные камни изранены ноги босые.

И где путники пели — там след мой короткий прошел.
Злая хвоя в тайге осыпалась на дикое поле.
Мимо душных становий и черных загубленных сел
Я, как странник, прошел и узнал всю страну поневоле.

Песню пел мне шахтер о страданиях каторжных лет,
Пел рыбак, что до света в озера закидывал невод,
Как зажжется в снегах на соленых озерах рассвет.
Крепнет в сердце моем это властное слово напева.

То, что слышал тогда от солдат и прохожих людей,
От сказителей верных, в ночи, на дворах
постоялых, —
Стало радостью сердца, и лучшею песней моей,
И свершеньем судьбы, и началом надежд небывалых.

1937

3

Что же, я знаю, рассказы твои пособили
Радости первой, и воле, и доблести всей.
Каторжный ветер кружил по размытым долинам
Сибири...
Реки сибирские: Лена, Иртыш, Енисей.

Сердце вселенной, открытое вечному шуму
Хвойных лесов и грустящих о полюсе рек...
Зоркий охотник таил вековечную думу.
В лютых пожарах кончался прославленный век.

Мамонты ходят на древние стены Китая,
Режет глаза поднебесная темная синь,
Зыбким узором снегов азиатских пугая,
Льдами морей и песчаным безлюдьем пустынь.

Детство свое перечту, как старинную повесть.
Стонут орлы, и поблекла трава в сентябре.
Поле в цветах, и безоблачно небо, как совесть.
Я ли тот мальчик, который грустил на заре?

1937

4

Журавель задремал у колодца,
Свечи жгут в деревянных церквах,
Поздно вечером песня поется
О летящих в Китай журавлях.

Как мне сызмальства это знакомо, —
Там, где каторжный стынет централ,
В тихой смуте холодного дома
Я старинные книги читал.

Разбираться в кудрявом уставе
Научил меня добрый старик. . .
Звали вдаль журавлиные стаи,
И орлиный мне слышался крик.

В нищем крае, где с золотом краденым
Шлялись парни в двойных поясах,
Где заря по глухим перекладам
С горных рек собирала ясак,

Где насупились ель да ольшаник
И во мхах не отыщешь следов, —
Мне рассказывал сумрачный странник
О приволье больших городов.

По траве, теплым ливнем примятой,
Стялся медленно дым-вертопрах,
И бежал по возгорьям сохатый
Со звездой на дремучих рогах.

Я до света в мечтах заповедных
Своевольному зову внимал,
Ярым топотом всадников медных
Шумный город меня призывал.

Я мечтал тогда стать капитаном
Иль в счастливые горы уйти, —
По нбчам, за пылающим станом,
Все мои начинались пути.

Твоего не забуду наследства, —
Звездный берег грозой потрясен.
Снова кличет из бедного детства
Этот утренний праздничный сон.

1937

22

СКАЗКА

Сказка твердила,
Что мимо заветных гор
Убегает дорога
На самый безвестный север.
Горят облака,
Якуты с тунгусами жгут костры,
А потом и они пропадают
В зеленой да синей пустоши.
Там живут старoverы,
У них, во скитах больших,
Пляшут медвежата,
Испивши хмельного зелия.
А селенье стоит на столбах
Посреди болот,
И оленье следы
Вплоть до самого моря синего.
Не пробиться туда,
Не пройти никому в ночи,
В омурах речных
Там горбатые пляшут окуни,
А в волне стрежневой,
По теченью великих рек,

Желтоватое брюхо
Купают всё лето стерляди.
А начало той сказки
Повелось из грозových дней.
Был казак молодой,
И ушел он на север некогда,
Повстречал он в пути,
У распутия сибирских рек,
За сосновыми падыми,
Уходившего к морю странника.
«Ты откуда идешь,
Где корабль души твоей?» —
Вопрошает его
Тихий странник
В лаптях с оборником.
«Из-за Дона бежал я,
От царевых слуг-воевод,
От купцов вороватых,
А зовут меня Бахтиаровым.
Покусих же ся аз,
Многогрешный и тихий сын,
От мирской отойти
Кратковременной суетной прелести,
Здесь-де земли все вольные,
И ко пролетью дождей
Дыму и смраду из туч
Испокон веков не видано».
Вот и с той-то поры
Будто всё началось там.
Словно с маслом вода,
Не смешалась со лжою истина.
Там над кедрами солнце
Пылает и день и ночь,
По заветным тропам
Бахтиарова ходят правнуки.
.
Как, бывало, метель
Заметет по тайге пути,
К слюдяному окну
Прислонившись лицом обветренным,
Говорил мне старик,
Как пройти в отдаленный скит.

Только годы прошли,
Я забыл про былые рассказы,
И порой лишь приснится
Старинный дремучий сон,
Слюдяное оконце
И первая дума детская.

1938

23

ЖЮЛЬ ВЕРН

Я книгу твою запомнил
Про звездный чужой простор,
Где вьется в сияньи молний
Кондор Скалистых гор.

Я тех берегов не видывал.
Гремела в ночи труба.
О, как я тебе завидовал,
Неведомая судьба!

И снилась мне ширь заката,
По рваным снастям ползу,
Срезаю концы каната,
Костры стерегу в лесу.

Не зная в пути преграды,
Орел в облака зовет.
Грустят на заре громады
У края Великих Вод.

Как яростен рев гортанный,
А берег земли высок!
Но встретился друг нежданный,
Волшебный лесной стрелок.

Не видно в лесах рассвета.
По джунглям слоны бегут.
В тугих парусах корвета
Все ветры земли ревут.

Звонящая в ливнях пестрых,
Как факел луна горит.
Плывем на безвестный остров,
Где сердце земли стучит.

За то, что ты сделал краше
Страницами дерзких книг
Холодное детство наше, —
Спасибо тебе, старик.

1937

24

ОФЕНЯ

По деревням ходил тогда офеня,
Игнатий Ломов, в старом зипуне.
В своеобразной нашей стороне
Он был лошажник и знаток оленей.

В престольный праздник зимнего Микола
В больших бараках пляшут или пьют.
Бывало, песни девушки поют,
И пляшет он, беспечный и веселый.

Свои лубки показывал он мне,
И весел был кошель его лубочный,
Где русский снег в дремучей вышине
Раскрашен яркой выдумкой восточной.

И вот в бараке нищем иногда
Такой лубок трескучая лучина
Вдруг освещала, — кралась паутина
Туда, где стынет черная вода.

И мы смеялись; в месте нежилом,
Где так томило долгое ненастье,
С ним приходила песня о былом
И тайный сон о славе и о счастье.

Уехал раз он — больше не пришел.
Напрасно мы его всё лето ждали

И письма слали в край далеких сел,
На короля трэфового гадали.

И только бедной памятью о нем
В чужих домах лубки его остались. . .
Где он теперь, неведомый скиталец?
В каком краю его веселый дом?

1937

25

Мне часто снятся на рассветах синих
В ущельях гор заветные места, —
Белокопытник и лесной ожинник
Бегут по склонам горного хребта.

Всё дальше в ночь, и вот не слышно шума, —
Увижу вдруг верховья горных рек,
Где подо льдом шумит вода угрюмо
И, словно зверь, к весне линяет снег.

Сасыл-сасы, якутских коней ржанье,
Тоскующих по родине лесной,
Немолчное сплошных снегов блистанье,
Глухая ночь осады ледяной.

Мне часто снится вечер, крыша дома,
Холодный свет большие звезды льют,
И про отряд якутского ревкома
Былинники скуластые поют.

Придет пора, увижу край тот снова,
Тогда мечта исполнится одна:
Расскажут мне про старость Кунгушова,
Про молодость Ивана Лукина.

1934

Медвежий охотник Микита Нечаев
 Просыпается ночью на широкой реке, —
 Привязанный к пихте шитик качает,
 Тысячи звезд горят вдалеке.

Кто там кричит на озерах дальних?
 Птица ль какая? Иль зверь большой?
 Стонет ли снова медведь-печальник,
 Берег заветный томя тоской?

Горбась, кричит над обрывом птица,
 Хлопает крыльями, суетась.
 Что в эту звездную ночь приснится?
 Тысячи верст разделяют нас.

Старый мой друг, золотой приятель,
 Там, где бежит по камням поток,
 В соснах, что спят за болотной гатью,
 Нежно шипит глухариный ток.

Вечно я сердцем моим с тобою,
 Снова я руки к тебе простер, —
 Теплится ль там, за рекой большою,
 В детстве покинутый твой костер?

1935

ЗАПЕВКА

Пролетали города,
 Пулями клейменные,
 Тем ли жизнь моя горда,
 Тем ли жгут мои года,
 Братья поименные?

Пролетали по краям
 Стриженные бобриком,
 Умирили по морям,
 Погибали по горам,
 Под залетным облаком.

Пили водку на меду,
На густом настое,
Но гнала зима беду,
И мутна луна на льду,
Как бельмо пустое.

В достопамятных горах
Кедр растет ползучий.
Ночи сохнут на кострах,
В смуту снега, в пух да в прах
Выползают сучья.

Там далекая страна
Меж горами спрятана.
Если старость суждена —
Как ударит седина,
К ней вернись обратно.

Пропадает на земле
Тягота земная,
Пуля сплющится в стволе,
Месяц вымерзнет во мгле,
Как тропа лесная.

Но одна дорога есть
Нерушимой области —
Побеждающая весть,
Несмолкаемая честь,
Дело нашей доблести.

1933

28

ВОЛОКУША

Ты видел, скажи мне, в тайге волокушу?

Приладив стволы невысоких берез,
Впрягли их в упряжку и едем по суше,
Пока не увидим негаданный плес.
На той волокуше я ездил тайгою
На кроне березы, с вожжами, с кнутом,

В дымных садах, среди лип и флоксов,
Говор веселый навеки смолк,
В братской могиле, теснясь, улегся
Ингерманландский стрелковый полк.

Спят комиссары, раскинув руки,
Спят командиры ударных рот,
Спят в отгоревшем, в истлевшем туке,
Смерть перешедши, как реку, вброд.

Время придет, и в садах Республики
Желтый загар обоймет плоды,
Мальчик на толстеньких ножках, пухленький,
Увидит большие эти сады.

Будет ходить он, песок притаптывая,
Может, услышит в последний час,
Как облака доплывут до запада,
Песню, что рядом поют о нас.

1934

99. УЛИЦА ГАЗА

Незабываемы слова
Неповторимого рассказа.
Пробьется первая трава
На улице Ивана Газа.

Газоны теплые в ночи...
Наш бронепоезд мчится к югу...
Гремя, весенние ключи
Бегут по заливному лугу.

Ночь девятнадцатого года...
О рейде Мамонтова весть...
А память давнего похода
В названьях наших улиц есть.

Вот умирает человек,
Но рядом дни его живые.
Так, превращаясь в теплый снег,
Твердеют капли дождевые.

1934

100. ПРИВАЛ

Баранину в ломтях на вертелочке,
Люли-кабав с приправой из корицы
Нам предлагали добрые сестрицы,
А мы сидели у костра и пели
И очень за еду благодарили.
В чужую даль дозорные смотрели,
Мы о пути на Каспий говорили.

За каланчой стояли кони бая,
Мелела с края речка голубая,
Степь подымалась, зла и горяча,
В шелках зари и лунном серебре,
Зажав кривую саблю басмача,
Как полумесяц тонкий на заре.

А между тем в тумане желто-синем
Вдруг грянул выстрел, воздух расколов;
Он к нам принес кипение валов
Аральского мелеющего моря.
Приказ — по коням, и с крутого склона
Летит песок, с ковыльным прахом споря.
Таится враг у дальнего затона.
Погибнуть ли, пробиться ль суждено, —
Скорей туда, где дымно и темно,
Где ринутся навстречу сабли вскоре.
Ночь высока, и саксаул горит.
Протяжный залп над степью и над морем
По полукругу синему летит.

Так, день за днем, который год в тумане
Солончака пустого полоса,
Немолчный скрип большого колеса,

Красноречивый выговор ружья,
Разведчиков бывалых разговоры,
В трудах походных молодость моя...
Зовут вперед бескрайние просторы,
При выщербленной розовой луне
Застывшие в полночной тишине.

Наш час пришел, сгорел кустарник тощий,
Уже летят в разведку журавли
Сквозь дым и зной непроходимой ночи
На ясный берег утренней земли.

1934, 1937

101

В ранней юности — топот казахских коней,
В ливне белые тополи тонут,
Старый коршун летит из ковыльных степей,
И луна загляделася в омут.

В ранней юности теплые травы томят
Молодым быстротечным раздором,
И сомы-великаны старательно спят,
Распушивши усы, по озерам.

В ранней юности ходит по речке паром,
Быстро кони двужильные пляшут,
Плясуны-старика за дорожным костром
Рукавами широкими машут.

В ранней юности пули свистят вдалеке,
Степь сухая — парилен громада,
В пересохшей, мучительно горькой реке
Словно слезы — следы звездопада.

1934

102. СТЕПИ

Таёт месяц в ночах,
Словно вылит из воска,
В оренбургских степях
Снова красное войско,
А ковыль пожелтел
На исходе весны,
И томит партизана
Прошлогодня рана,
И бегут по курганам
Потаенные сны.

На дорожном привале,
У широкой горы,
Где орлы пировали,
Догорали костры, —
Партизаны сидели
На разубранных седлах,
Вспоминали походы,
Хитрость дутовцев подлых,
Песню старую пели,
Струн заветных касаясь:]
«Нету ласковой боле
Оренбургских красавиц.
Пуховой полушалок
На пригожих плечах. . .
Я тебя повстречала
В заповедных степях. . .»

А утрами глухими
Птичьи стаи летят —
То на север далекий
Гуси-лебеди мчат.

По тропам позабытым,
Где гремели копыта,
Как зажглись на закатах
Золотые огни,
Мы от сел небогатых
Шли безвестной тропюю.

Протекали рекою
Партизанские дни.
Выходили за нами
Батальоны в туман,
Гордо реяло знамя —
Дар самарских крестьян.
И, сметая преграды,
В непокое ночей
Мчались наши отряды
В глубь ковыльных степей.

1934

103

В ночном краю, в краю туманном,
Огнями жаркими палим,
Таился город безымянный,
Грустил над озером большим.

Мы мчались вместе с другом добрым
К большому городу тому —
По черепам, по конским ребрам,
По склонам, падавшим во тьму.

Туда пути бродяги знали,
Но мы бродяжек не нашли,
Орлы над озером летали
И мертвый город стерегли.

Искали мы в лугах окружных
Следы, что выбиты до нас, —
По желтым кручам троп верблюжьих
Тянулся прошлого рассказ.

Туман клубился, и нежданно
Мы увидали на заре
В холодной дали край лимана
В солончаках и серебре.

В тревожный день вела дорога
За отдаленный поворот,

Наохлившийся коршун строго
Встречал у городских ворот.

Тот город вытоптан когда-то
Был Тамерланом.

В мгле ночной
Я снова вспомнил дым заката
И конский топот за рекой.

Прошли года, — опять полями
Бежит проселок в тишине.
Опять глухими колеями
Мы проскакали при луне.

Но там, где мнился мертвый берег, —
Бормочет тополиный сад,
Скрипит весенней ночью деррик,
Лебедки глухо дребезжат.

И ветер полночи полощет
Знамен тяжелые шелка, —
Озарена огнями площадь
С названьем нашего полка...

1934

104

Если там, где спят купавы,
Где туманны небеса,
На серебряные травы
Ляжет медленно роса, —

Вспомню домик за рекою,
Крашен охрою забор.
Старый фельдшер с перепоею
Затекает разговор.

А кругом снега большие
Верст на тысячу лежат.
Кони сумрачные, злые
Несговорчиво храпят.

Там от края и до края
Золотая тишина,
Даль холодная, глухая,
Вся луной озарена.

Перед раннею разлукой
Ты не вышла на крыльцо,
Темной судорогой-мукой
Боль свела мое лицо.

Травы утренние зябли
У покинутых застав,
Прорубали наши сабли
Конный путь на Кокчетав.

С той поры я шел походом
По дорожным колеям,
По совсем безвестным водам,
По прославленным морям.

Что же, в жизни мне случилось
Повстречать да полюбить,
Только ты одна осталась
Неизменно в сердце жить.

Где теперь ты, и доколе
От тебя мне ждать вестей,
Где же синее раздолье
Тех далеких волостей?

1934

105

Город спит на заре... Пусть опять, как в тот год,
Куст черемухи белой в снегах расцветет,

Пусть над нами не властвуют больше года,
Пусть не старимся мы никогда, никогда,

Пусть заветная песня приходит, тиха,
Сливши сердцебиенье с биеньем стиха,

Пусть по улицам стадом пройдут облака,
В семизвездном ковше пусть струится река, —

Много надобно мне небывалых примет,
Потому что тебя в этом городе нет.

1935

106

В эту пору море злое,
Косо гнутся паруса,
Рыбаков на позднем лове
Осторожны голоса.

Это море — не смеется,
Здесь от веку тишина,
Не ласкает мореходца
Эта серая волна.

Тишина. Светла у края
Проступившая заря.
Есть холодная, скупая
В ней прозрачность янтара.

Ведь и в небе разогретом
Синь тумана холодна, —
Так твоим холодным светом
Жизнь моя озарена.

1935

107. СОСНА

Есть русский город, тихий-тихий,
С крестами рыжими церквей,
С полями ровными гречихи
Среди картофельных полей.

Березки там стучатся в окна,
Провинциала-петуха
Раздастся окрик расторопный,
И снова улица тиха.

А за мостом, по топким склонам,
Ходить вдоль берега привык
В больших очках, в плаще зеленом
Высокий сумрачный старик.

Когда весной цветет шиповник
И стонет в роще соловей,
Идет седеющий садовник
К деревьям юности своей.

Огромный лоб его нахмурен,
Уходит тень в ночную тьму,
Его зовут степной Мичурин
И ездят запросто к нему.

Как часто я к нему, бывало,
С пути-дороги заезжал.
Шлагбаум дедовский сначала .
Издалека уже кивал.

А палисадники, крылечки,
Витиеватые мостки,
Скамейки низкие у речки
Протягиваются, легки.

И вечером, за самоваром,
Наш задушевный разговор
О всем пережитом и старом,
Но не забытом до сих пор...

«Тебя я не неволю тоже, —
По-своему придется жить,
Но дерево за жизнь ты должен
Одно хотя бы посадить».

Он говорил, слегка нахмурясь...

Растет ли ныне за стеной
В конце бегущих в степи улиц
Сосна, посаженная мной?

Иль, может, время миновало,
Дорогу выюга замела
И ту сосну, гремя, сломала,
По снегу ветки разнесла?

1935, 1939

108. ЮНОСТЬ КИРОВА

В деревянном Уржуме — холодный рассвет, снегопад.
И быть может, теперь русский мальчик с такой же улыбкой,
Что была у него, чуть прищурясь, глядит на закат,
Повторяя всё то, что о нем в деревнях говорят,
И грустит на заре, догорающей, северной, зыбкой.

Сколько в нашей стране затерялось таких городов...
Полосатые крыши во мхах, в белых шапках наносного
снега,

На рассвете гремят стоголосые трубы ветров,
И я вновь узнаю в синеве отпылавших снегов
Этот облик живой в светлый день молодого разбега.

Стало душно ему в запустении улиц кривых,
На Уржумке-реке говорили о Томске и Вятке,
И желтели овсы на широких полях яровых,
Смолокуры ходили в туманных долинах лесных
И учили подростков веселой кустарной повадке.

И настала пора, дни скитаний его по земле
От приволжских равнин до сибирского края лесного.
Уходили дороги, и таяли скаты во мгле,
Стыли старые башни в высоком казанском кремле,
В типографских шрифтах оживало знакомое слово.

Слова юность его в мгlistом зареве белых ночей
Нам приходит на память, и сердце светлеет с годами.
Ведь в огромных цехах, в синеве бесконечных полей,
И на горной тропе, и в раздольях любимых морей,
И в просторах степных — всюду песня о Кирове с нами.

1935

109. ДРУГУ

Опять приходят в наши годы
Преданья светлой стороны,
Неумолкаемые воды
Бегущей к северу весны.

Вся жизнь моя, как верный слепок,
В моих стихах отражена,
Не надо домыслов нелепых,
Как снег ударит седина.

И ты узнаешь, может статься,
Стихи давнишние мои, —
Там рог трубит, там кони мчатся,
Раскатом тешат соловьи.

Да, я поэт годов тридцатых,
Но в ранней юности моей
В седых бревенчатых закатах
Гремели трубы журавлей.

И, весь предчувствием томимый,
Невольной грустью потрясен,
Я повторял напев любимый,
Стиха невысказанный сон.

В мечтаньях сумрачных и трудных
Мужали медленно года,
Словами шуток безрассудных
Меня встречали иногда.

Нет, не был я поэтом модным,
Я прямо шел своим путем,

И время отгулом свободным
Гремело в голосе моем.

Вся молодость в труде упорном
Чернорабочая моя,
В пути далеком, необорном
Последних странствий колея.

Предчувствую побед начало,
Не помню тягостных обид,
Всё, что в душе моей дремало,
Теперь в стихе заговорит.

Есть в сердце мужество живое,
Непобедимое ничем,
И вот идут ко мне герои
Еще не сложенных поэм.

1935

110—123. ИЗ «ПЕТЕРГОФСКОЙ ТЕТРАДИ»

1

Как любовь возникает? В улыбке?
В первом взгляде? В движении глаз?
Или знак есть, невнятный и зыбкий,
О котором не сложен рассказ?

Или, может быть, просто так надо,
Чтобы ветер прибрежный гремел
В золотые часы листопада,
Как простой, без раздумья пример?

Между 1932 и 1936

2

Стекала вода по изгибу весла,
Волна нам с тобою янтарь принесла.

Мы, славя щедроту, вернули волне
Всё то, что она принесла в тишине,

И мир проблестевший, янтарный, сквозной,
Опять ускользнул за летучей волной.

Мы так порешили, мы так захотели —
Мы так с тобой вместе пройдем по земле:
Задумаем — звезды от нас отлетели,
Задумаем — море замрет на весле!

Между 1932 и 1936

8

Как увижу тебя — ничего-то
Не ищу, не грущу ни о чем...
О, как долго колдует дремота
Над припухлым девическим ртом...

Улыбнешься, иль словом осудишь,
Или попросту скажешь: «Прости» —
Всё равно, хоть навеки погубишь,
Мне с одною тобой по пути.

Между 1932 и 1936

4

Словно сердце вдруг сжали тиски,
Захлестнули нездешнею властью...
Захлебнешься ль теперь от тоски
Иль умрешь, задыхаясь от счастья?

Между 1932 и 1936

5

О чем мы с тобой говорили?
Слова позабыл я тогда,
Хоть есть в них сумятица были,
Хоть есть в них глухая беда,

Хоть есть в них звучащая странно
Большая нездешняя грусть.
...А годы пройдут — и неожиданно
Я всё повторю наизусть!

Между 1932 и 1936

Как цвет лица изобразить?
Словами, краской или звуком?
Ведь никогда и нашим внукам
Задачи этой не решить.

Неповторимые черты —
Глаза, улыбка, губы, веки,
И кто поймет в далеком веке,
Какой была когда-то ты?

Между 1932 и 1936

Какая ты стала сейчас невозможная,
Какие слова подбираешь замедленно,
Откуда сегодня улыбка тревожная,
Как отсвет, плывущий над гулами медными?

Зачем же слезинка случайная катится,
Невнятицу ль давней тоски обнаружила?
И мнешь ты по-детски короткое платьице,
С оборкой широкой из белого кружева...

Сметай наше счастье, лесная метелица,
По-вдовьи рыдай над глухими сугробами,
А время придет — и улыбка затеплится,
Да только тогда не пойдем ее оба мы...

Между 1932 и 1936

Шумит последняя гроза,
Кончается в раздольях осень.
Друг другу поглядев в глаза,
Печально мы друг друга спросим:

«Неужто близится зима?»
Ты улыбнешься так устало
И скажешь: «Не пойму сама,
Как пережить ее начало».

А ночью вдруг окно откроет
Морского ветра хриплый вой,
И сразу душу успокоит
Мерцанье ночи снеговой.

Между 1932 и 1936

9

Над зыбью волн кривые прутья,
Осколки старых черепиц, —
Мы здесь с тобой на перепутье,
На рубеже, меж двух зарниц.

Одна гроза отбушевала,
Другая где-то далеко,
А всё тебе и горя мало —
Шагаешь быстро и легко.

А может, так в предгрозье надо —
Не слушать ропота молвы,
Ходить по шелку листопада,
Бродить по ситчику травы.

Грустить у моря, брови хмуря,
Мечтать у низких берегов, —
Ведь всё равно, коль грянет буря,
Ты сам откликнешься на зов.

Между 1932 и 1936

10

На холме высоком мы с тобой стояли,
Дымка пролетала в синий кругозор,
А за ней неожиданно выплыли из дали
Парки, зданья, мачты, берега озер.

Где над морем низким бились перекаты,
Грохоча сурово над прибрежной мглой,
Как в котле огромном, плавали закаты,
Пар голубоватый стлался над землей.

Незаметно и приветно,
С той дремотной тишиной,
Что жила в порыве ветра,
В дымке осени родной.

Жили так, беды не выдав,
То в веселье, то в тоске,
Но без горя, без обиды —
С веткой ивовой в руке.

Среди этих желтоватых,
Свежекрашенных дворцов,
На широких перекатах
Петергофских берегов.

Между 1932 и 1936

12

Одержим строитель был
Странною причудою —
Из берез дворец срубил
С нимфой полногрудую.

В прошлом веке, в полумгле,
Средь цветов и зелени,
Перстнем вензель на стекле
Вырезали фрейлины.

Нас встречала тишина,
Мы в дворце том грезили, —
Там и наши имена:
На стекле — и в вензеле.

Замела метель пути,
Нет ни слов, ни отзыва...
Как же мне опять пройти
В тот дворец березовый?

Между 1932 и 1936

Я тебя в своей песне прославлю,
 Всю отдам тебя русским снегам.
 Мчатся ль кони твои к Ярославлю
 По заволжским крутым берегам?

Иль, быть может, в истоме тревожной
 Ты не спишь в эту звездную ночь,
 Вспомнив муку той песни острожной,
 Что велела любовь превозмочь?

Что же делать?.. Мне тоже не спится...
 Ведь былую любовь развело,
 И она не подымет, как птица,
 Перебитое пулей крыло...

Где искать тебя? В зареве диком?
 В реве ветра? В бегущих годах?
 В Белозерске? В Ростове Великом?
 Иль в старинных других городах?

Или, может, до вести, до срока,
 Словно благовест чистой любви,
 Вдруг плеснут, вдруг плеснут издалёка
 Лебединые крылья твои?

Между 1932 и 1936

Когда я умру, ты не плачь,
 Нас время с тобою рассудит,
 Меня не повесит палач,
 Разбойник в лесу не зарубит.

Сраженный в открытом бою,
 Паду я на снежное поле...
 На грудь припадешь ли мою?
 Припомнишь ли всё поневоле?

Расскажешь ли людям о том,
 Как жили на свете когда-то?

Накроешь ли старым плащом
Застывшее тело солдата?

Ответишь ты мне или нет?
Придешь ли до вести, до срока,
Иль буду в холодный рассвет
Лежать на снегу одиноко?

Не взглянешь, как губы мои
Метель темной синью обводит,
И чистое слово любви
В могилу меня не проводит?

Пусть так — всё равно дорога
Ты мне навсегда и доселе,
Пускай же заносят снега
Мой прах и клубятся метели.

Я землю родную любил
И счастлив, что стал я отныне
Одною из дремлющих сил
В ее упокойном помине.

Между 1932 и 1936

124. СТАРАЯ ЗАСТАВА

Город Бабушкина, Шелгунова,
Как твое воскресенье сурово,
В бледном небе горят фонари,
В звоне шашек и в стуке прикладов
Строгий город военных парадов
На ущербе осенней зари.

Столяры прорезали бороздки,
С папироской ходили подростки,
Баржу вел по реке рулевой,
И опять по дороге по длинной
Низко клонятся кисти рябины,
И застыли мосты над Невой.

По утрам тротуар деревянный
Выбегает на берег туманный,
И стоит у забора трактир,
Но грохочет завод многотрубный,
Словно вход в неизведанный, в трудный
И сверкающий празднично мир.

Еще сталь громыкает в прокате,
Еще город застыл на закате,
Фонари, чуть мигая, горят,
И встает, как в мятежном преданье,
В разгоревшемся звездном сиянье
Город славы — заря — Петроград.

1936

125. ПОЭТЫ

Кровь на снегу — и вот пришла пора,
Последний час судьбы певца опальной.
По вечерам над городом Петра

Горят костры, и свет звезды печальной,
Воспетой им, зовет издалика
В туманный путь, неведомый и дальний,

И тихо спит безмолвная река.
А там, где стынут темные громады,
Еще гудит последняя строка

Его стихов, и за глухой оградой
Прохожий шепчет медленно слова,
Двум поколениям бывшие отрадой.

Ночная тень легла на острова,
Поэт безвестный ходит торопливо,
И в злой тоске кружится голова.

Когда бы шторм ударил вдруг с залива,
Когда бы гром убийц певца сразил,
Когда бы весь, в волнении порыва,

Вдруг встал народ в величьи грозных сил,
Чтоб отомстить стрелявшим в грудь России,
И Пугачева дух заговорил!

Морозный сад. Там статуи босые
В снегу застыли. Тайная тоска
Свела как будто их глаза большие.

Им снятся сны. Поэт издалека
Подходит к ним. Темна его тревога.
Лицо в слезах. Дрожит его рука.

Предчувствие томит его. Дорога
Бежит на юг пустынной колеей,
И белый склон спускается отлого.

Но он еще не ведает душой,
Что час настал безвестного обета;
Что он судьбой отмечен роковой,

Обычной долей русского поэта,
И чашу горя выпьет до конца;
Что и его, по приговору света,

Еще казнят бездушные сердца;
Что он — наследник песни величавой —
Пройдет путем погибшего певца,

С его судьбой, с его великой славой,
Другим сердцам неведомой досель,
С последним днем за темную дубравой;

Что и ему назначена дуэль;
Что день придет — он станет у барьера...
Пустынный сад. Безумствует метель.

Дворец в тумане дремлет, как химера,
За Черной речкой страшный поворот.
Тоски подобной не было примера,

Но лишь пора короткая пройдет —
Россия станет у другой могилы
И Лермонтова имя назовет.

Плывут облака издалёка,
 Седея, проходят года.
 Как будто орлиное око,
 Глядит, не мигая, звезда.

Какие в горах перевалы,
 Какой на возгорье простор!
 Там в полдень орлы пировали
 И медленно падали с гор,

Клектали, летая сердито
 Над краем обрывов крутых, —
 Казалось, что небо закрыто
 Широкими крыльями их.

Где рос на траве приворотник,
 К дорожному камню клонясь,
 Случайно увидел охотник
 Орлиного пиршества час —

Такое могущество силы,
 Такое судьбы торжество. . .

А звездное небо России
 Пылало, как сердце его.

1936

Я взглянул — и увидел нежданно
 За рекой лебединый полет.
 О веселом коне Тамерлана
 Проводник по-киргизски поет.

Всходит медленно солнце за далью,
 Дни и ночи пылают костры —
 От лесов, что бегут к Приуралью,
 До зеленых песков Бухары.

Низкий склон при луне серебрится,
На заре разлилася река,
С красным войском от севера мчится
Молодой комиссар ВЧК.

Всюду враг — в желтом сумраке улиц,
В настороженном стане ночей,
Где в кровавом кругу изогнулись
На рассвете клинки басмачей, —

Потому-то от дымных просторов,
Где гремят пулеметы полка,
Впереди наших первых дозоров
В степь идет комиссар ВЧК.

1936

128. ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ

Да, юность моя под особенным знаком —
По вольным степям, по лесным буеракам,
Повсюду, где низкие тучи в огне,
Где дымное полымя бродит лугами,
И красное знамя горит над полками,
И спит командир на усталом коне.

Тогда эскадрон наш на Астрахань мчался,
И вражеский круг в злобном страхе распался,
Станицы и села встречали поход.
Забуть ли те дни с их безмерною славой,
Когда начинался в степях величавый,
В приказах и песнях прославленный год?

Боец-комсомолец в дырявой шинели
Скакал на коне под разрывы шрапнели,
Встречая тревожную ночь за селом,
В глазах его зорких светилось упорство,
Поля пролетал он, не меряя версты,
Казалось — летит сквозь века напролом.

А старый солдат, ежась в стужу и в холод,
Сердито твердил, что горяч-де и молод,

Что, дескать, война не настолько легка,
Что, дескать, не милуют пули-голубки,
Но вместе врывались в беспамятство рубки
И дрались, пока не немела рука...

В заветные дни невозвратного года
Я видел полки молодого похода,
И где только не был лихой эскадрон!
Доныне, мне кажется, время не властно,
Доныне в грозу, в непогоду, в ненастье
Несется степями бескрайними он...

1936

129. ЦИОЛКОВСКИЙ

Звездоплаватель первый в калужской глуши,
Наших лет патриарх большелобый,
Посвятил все мечты своей смелой души
Сочиненью ракеты особой,

Чтоб рассталась надолго с простором земным,
Одержав над мирами победу,
И тянулся до лунного полюса дым
По ее серебристому следу.

Все соседи считали его чудачком, —
Как запомнить былые невзгоды?
И стоял на откосе тот маленький дом,
Что прославлен в недавние годы.

В этом доме маршрут на Нептун составлял,
Над старинною книгой бледнея, —
Так когда-то безвестный Коперник взрывал
Все законы миров Птоломея.

Придала Революция смелость мечте.
Всё жалел он, что силы ослабли...
Но как радостно видеть, что там, в высоте,
Пролетают его дирижабли.

1936

130. КОКЧЕТАВ

О чем грустить в семнадцать лет?
Мой конь храпит, звенит уздечка,
На сабле старая насечка,
Осенний пасмурный рассвет.

В тот год по всем земным дорогам
Шла кавалерия ветров.
Приказа выговор суров.
И я скакал безлюдным полем.

Дни ранней юности моей,
Незабываемой отрады!
Станиц высокие ограды,
Огни старинных крепостей.

Степь на закате величава.
Летела коршунов орда.
Я не забуду день, когда
Увидел крыши Кокчетава.

Здесь юность Куйбышева шла...
О, сколько городов старинных
В глухих краях, в лесах былинных
Своими доблесть назвала.

И этот тихий городок...
Форштадты... Старые заставы...
И он отныне город славы,
Начало утренних дорог.

1936

131. СИНИЦЫН

По желтой дороге, по синей тропинке,
Где небо в огне, как на детской картинке,
Сквозь светлые степи и черные кручи,
Надвинув на брови мохнатые тучи,

Спешат великаны в предутренний час
Навстречу грозе, призывающей нас.

О тех великанах простые преданья
Нередко я слышал при свете костра.
Пусть утром над степью томит их мельканье —
Под черным копытом в ночи Бухара.

Чтоб не было больше от врага подлого
Угрозы степной молодой красоте, —
Как шапку, на брови надвинувши облако,
Они пролетят к заповедной черте.

На белом рассвете охотник веселый
Бродил по лугам заозерной страны,
В охотничьей шапке, как туча тяжелой,
Ровесник моей невозвратной весны.

Он шел по долинам, по утренним высям,
По тропке безвестной, заброшенной, лисьей...
Струил над полынью лазоревый свет,
Степных великанов прославленный след...

Но где же мой друг незабвенный — Синицын?
Сквозь дикие камни пробился репей,
Гудят провода по веселым станицам,
По светлым просторам ковыльных степей.

И кажется мне: из отцовского дома
Ты кличешь меня, и на склоне годов
Пробилось ко мне сквозь смятение грома
Гудение тех золотых проводов.

Стремительный друг мой, неужто навеки
Легли между нами зыбучие реки?

Иль, может, степных великанов разлет
Нежданно разлучит — и снова сведет,

Как в юности, зовом походной трубы
Два домысла братских, две общих судьбы?

1936

Озерный край. Студеные рассветы.
Закат в снегах. И снова тишина.
И вьюжной ночи нищие приметы:
Холодная над облаком луна,
Лед на озерах. Темные овраги,
Где черных птиц бездомные ватаги.
Лишь изредка копыта простучат...
Вот перевал опасный за горою,
И отгул грозный слышится порою,
Пока леса угрюмые молчат.

Бездомная на сотни верст Россия.
Старик солдат в лесной сторожке спит,
Пройдут навстречу странницы седые,
Пугливый заяц путь перебежит.
И снова снег. И ночь еще таится,
Ямщик сердитый песню заведет,
И снова старым складом небылица
Твердит о том, как мучит власяница,
Как на заре угодник слезы льет.

Монастыри кондовые, большие
Стоят во мхах от Никоновых дней,
И в деревнях, в закаты золотые,
Печальны песни давние России,
Бывальщины голодных волостей.
Поет ямщик. Седок усталый дремлет,
И смутен сон его больной души.
И вот во сне другую видит землю,
Глухой лиман, ночные камыши, —
Там юность шла над выжженной равниной,
Там темным следом вольницы старинной
Туманится залива полоса,
Открытая всем ветрам заповедным,
Когда шумят тугие паруса
И гром страшит своим раскатом медным.

Любимый край! К нему от финских скал
Влеклись в тоске былые поколения,

Там возникали смутные виденья,
Тот смерти там, а тот любви искал...
Года прошли, и памятью последней
Мальчишеских неповторимых бредней
Лишь седина осталась на висках
Да пуля в сердце у бывшего друга,
Что спит теперь под синим небом юга,
В чужом краю, в неведомых горах.

О юности нескладной и разгульной
Осталась память горькая. Порой
Она приходит с шуткой богохульной,
С бедой стиха, с насмешкою огульной
Иль попросту — с бедой пережитой.
Озера — лед, и вновь во мгле окрестной
Шальных коней торопит неизвестный
Упрямый путник в шапке меховой.

Мелькнул в сугробах огонек зеленый,
Скользят мостки последних переправ.
Как тихо спит смотритель станционный,
К стене губами черными припав...
Красна стена от пестроты лубочной:
Смоленск в огне, на Индию поход,
И на тропе растет переполошник,
И кабардинец берегом ползет.
Скорее в путь... И вновь дорога вьется.
Вот журавель забытого колодца,
Вот вдоль дороги тянется плетень,
Деля снега заречных деревень.
Он едет молча. Вдруг издалека
Морозный скрип, и слышно, как в тумане
Скользят по снегу стоптанному сани.
Протяжный крик чужого ямщика:
«Дорогу дай!» — и голос незнакомый
Вновь многократно ветром повторен.
На пошевнях, обложенный соломой,
Убогий гроб луною озарен.

Кто в нем лежит? Каких краев изгнанник?
Откуда мчится тройка? И куда?

Кому судьбою в давние года
Назначено: «и после смерти странник»?

Вдруг коренник рванулся, застонал,
И злomu ржанью вторит пристяжная.
На всем скаку, слабя, он упал,
Всю пристяжную сбрую разрывая.

И бедный гроб качнулся. Тишина.
Снега. Россия. Темная дубрава.
Дубы седые смотрят величаво.
И в голых сучьях кружится луна.

Не понимая, смотрит неизвестный
На темный гроб, на павшего коня,
Но, бубенцами дикими звеня,
Кибитка мчится из лесов окрестных.
Выходит из кибитки человек
В широкой шубе, пасмурный и строгий.
Смахнув слезу, идет он по дороге, —
Его глаза не позабыть вовек.
Усталость в них, и мука, и отчасти
В разрезе глаз холодная хандра, —
В ней отразилась давняя пора,
Мятежных дней тревоги и напасти.
«Куда?» — «Я в Остров». — «Что же, по пути». —
«Один?» — «Вдвоем». — «Вы по делам казенным?»

Тургенев долго взглядом полусонным
Глядит на гроб, — к нему не подойти.

«Попутчик мой. . .» Он не спешит с ответом,
И смутно сердце, сжатое тоской.
Не веря, вдруг доверился приметам
Безвестный путник в шапке меховой.

«Убит. . . Дуэль. . . А вы еще не знали?»
Ползет туман предутренний с озер.
Как тихо губы пухлые читали
Чужой судьбы последний приговор! . .

Ямщик горланит. Медленно по логу
Идет старик. И пасмурно в лесу.

Не в силах сразу выронить слезу,
Тургенев молча смотрит на дорогу.

Зевает он, припоминая встречи.
«Далеко нам?» — «Да, нам еще далече».
И дальше едет, темный от обиды,
Еще томимый давешней молвой,
Еще вдыхая ладан панихиды,
Еще читая вслух за упокой.

За ним, как бы спасаясь от погони,
От злых речей, от ярости свинца,
От всех врагов, напуганные кони
В родимый край увозят мертвеца.
Там в синеве, за облаком, кровавый
Холодный свет — родные берега,
Безвестный путник позабыл снега
И снова вспомнил утро русской славы.

Тогда он жил на берегах далеких,
И бредил юг поэмами его.
Дни помыслов прекрасных и высоких
И самой чистой дружбы торжество,
Когда стихи доверчиво твердили,
Под звон стиха страдали и любили,
О вольности мечтали и порой,
Твердя стихи, кончали путь земной.

И с той поры в пути неутомимом
Идут года, овейные дымом
Волнений, странствий, вечных переправ,
Шлагбаумов, походов и застав.

Путь на Арзрум. Грузинские нагорья.
Глухой Урал. Солончаки степей.
Страны родной ночные лукоморья
И берега неведомых морей —
Всё пройдено. И вот опять дорога.
В лиловых пятнах белые поля.
Последних дней последняя тревога, —
И мерзлая расступится земля.

1937

Есть в русском языке богатство дальних стран,
 Народа русского тысячелетний опыт.
 Вот песню заведут, и слышен сквозь туман
 Татарских всадников неумолимый топот.

На утренней заре народная душа
 Уже дружна с землей, и мало ей простора,
 Поведает певец, одной мечтой дыша,
 Богатырям ее про подвиг Святогора.

И вот идут они из муромских лесов,
 Из полных стариной посадов и селений,
 Выходят на заре в простор чужих снегов,
 Туда, где ночь шумит, где вьется след олений.

В болотцах и лесах рубили города, —
 За просекой лесной таился град старинный.
 Хоть вытоптала их Батыева орда,
 Народ не умирал, жил богатырь былинный.

Под игом вновь обрел он мужества слова,
 Упорства своего особенное свойство,
 В неведомых боях его душа жива,
 И польское бежит, объято страхом, войско.

Пускай в слепую ночь ливонский пес рычит,
 Бродяга-рыцарь пусть тоскует о разбое,
 Но русская земля жива — и бой кипит,
 И кровь вдруг залила всё озеро Чудское.

Тевтонским полчищам поставлен тут предел,
 Навек свободным стал туманный край Приморья,
 И паруса бегут по золотой гряде
 От старых свейских сел до белого Копорья.

Потом пришла пора — и поднял бунт стрелец,
 Но Петр непобедим, — пусть бьют валы слепые,
 И ждет народ: когда ж появится певец,
 Который воспоет грядущий день России?

Кто будет он? И где родится? И когда
Впервые загремит на мир стихом суровым?
Московский старожил его принял в года,
Когда кончался век, что назван был Петровым.

Его предтечей был архангельский мужик.
На гордой высоте упорный сын поморов
Водить в далекий край слова стиха привык,
Как в детстве парус вел среди морских просторов.

Но нет числа всем тем, кто был в учителя
Назначен для него, всем сохранившим слово, —
Не их ли в смертный час всех приняла земля
Из мининских полков, из войска Пугачева?

Народной песни дух, былин заветный строй,
Преданья, что сложил моряк и дальний горец,
И крепостной мужик, и странник, и герой, —
Всё передал ему народ-языкотворец.

Сказительница дум ему верна была,
Улыбкой молодой его зарю встречала,
Предчувствуя беду, как сына берегла
И колыбель его в полночный час качала.

В изгнании и тоске текли его года,
Но радость он воспел, внук ратников старинных,
И славен город тот, где юности звезда
Всходила на заре при кликах лебединых.

Метель шумит в лесах, и дышит тяжело,
Как отгул медных труб, как зов победный,
Старинный парк в снегу. Спит Царское Село,
И снова бродит тень тропую заповедной.

О, как еще свежа далекая пора!
Ровесницы стихов, спят сосны вековые.
Был сделан вызов ей велением Петра —
И Пушкиным тогда ответила Россия.

И вот уже века живут его судьбой...
Да будет ныне мир внимать его рассказам,
Из всех певцов земли он самый молодой, —
Он солнце воспевал — и он прославил разум.

1937

134. ПОСАД

Еще была зима, и снег лежал на склонах,
И в тихом полусне огромная луна
Сияла, уходя в края снегов зеленых,
А сразу за мостом встречала тишина.

Когда-то в давний час на бедный подоконник
Домашнюю герань поставил старожил,
Зевал он на заре, читая старый сонник,
И водку, на цветах настоящую, пил.

Скучна его зима, темны следы в сугробах,
Но только весть несут, что есть во льдах проход,
Зовет он в трудный путь матросов большелобых,
На полных парусах бежит рыбацкий бот.

Есть у меня друзья, — я с ними выйду в море,
Волна качнет гальют — я посмотрю назад,
Увижу старый дом и якорь на заборе,
В прибрежье голубом затерянный посад.

Отсюда вьюжный путь на Шпицберген и в земли
Студеной стороны — поморский смелый след.
Столетия прошли, и обликом не тем ли
Нас поражают вдруг герои наших лет?

Есть в светлых их глазах отвага новгородцев,
Сроднилась их душа с душою корабля,
И веруют они, как деды, что прорвется
За вечный полюс вьюг поморская земля.

1937

Опять смеяться, молодость припомнив,
 На низких санках еду по Москве,
 Навстречу дым, и чалый конь в попоне,
 И облака в туманной синеве.

Вновь улыбнуться, молодость припомнив,
 И вспомнить вдруг, что в этот самый час
 В степях заволжских скачет верный конник,
 Но сорок рек разъединяют нас.

Взглянуть на звезды, молодость припомнив,
 И вспомнить всё, чем в жизни дорожим;
 Пусть скачет он в простор, снегами полный, —
 Сиянье звезд рубиновых над ним.

1937

136. КОМИССАР ВЧК

Комиссары ходят в полушубках,
 На платформах вечером стоят.
 Красный свет на станционных будках,
 По заставам вороны кричат.

Весь в снегах, в зеленом дыме город,
 А звезда скатилась, далека,
 Словно вдруг кривым ножом распорот
 Синий холст небесного мешка.

Смольный спит, в одном окне лишь отблеск,
 Крепко сжал винтовку часовой,
 Тихий голос вновь поет про доблесть
 В том студеном звоне над Невой.

Рядом тень седые сосны клонят...
 Где же небо, желтое как мед?
 Мимо ста раскрытых настезь комнат
 Комиссар, задумавшись, идет.

Снова в путь, судьбу свою бросая
На весы в неведомых боях:
Заговор, раскрытый в Ярославле,
Бунт кулацкий в муромских лесах.

Есть в глазах особая суровость,
В двадцать лет скользнула седина...
Этих дней прославленная повесть
Сохранит простые имена.

Вот коня подводит ординарец,
По тропе летит могучий конь,
Где кружит по скатам лисий нарыск,
Где на взгорьях теплится огонь.

За рекою зори золотые,
Скачет конник в эту тишину,
В ширь полей, где отблески ночные
В черный шелк укутали луну.

Там теперь в реке березку топят,
Вьются ленты вдоль нагих ветвей,
Только в поле слышен грозный топот
И глухое ржание коней.

Пусть бегут по потаенным поймам
Беглецы к ущельям диких скал.
Атаман бандитской шайки пойман.
Заседает в полночь трибунал.

Невысокий, в шапке-невидимке,
Снова скачет степью комиссар,
Путь лежит в тревожной синей дымке
В города Уфу иль Атбасар,

Чтобы после — с полки многолюднейшего
Поезда — взглядеться в темноту;
По приказу Феликса Эдмундовича —
Снова в путь — в дорогу — в маяту.

Дни пройдут, на самом склоне лета
Вместе мы пробьемся сквозь туман,

Брагу выпьем и споем до света
О походе волжских партизан.

По столу ударим пенной кружкой,
Он в глаза на миг посмотрит мне,
Разойдемся по широкой, русской,
Золотой, вечерней стороне.

Конный ли проедет, или пеший
По проселку пыльному пройдет, —
Всё мне будет сниться всадник, певший
На заре вечерней у ворот.

1937

137

Что на север влечет нас,
Где белые ночи таят.
Озаренье снегов,
Где веками безмолвно пространство
И высокие звезды
Над оползнем синих громад
Неизменно горят,
Словно наших сердец постоянство?

Ведь столетья прошли
С той поры, как впервые сюда
Новгородский ушкуйник
Свой медленный парус направил...
Днем и ночью бегут
По любимому морю суда.
Этот путь между льдов
Мореходец старинный прославил.

А посадки стоят
У порожистых северных рек,
Ладно выстроен дом,
Беззакатному солнцу открытый.
Ты поселишься здесь,
И Поморье полюбишь навек,
И услышишь потом,
Как шумит океан Ледовитый.

И увидишь тогда
Над просторами вечными льдов
Яркий радужный свет —
Багрецы золотого сиянья.
Ведь пылают они
Над торосом, где умер Седов,
И в дорогу зовут
Тех, кто любит труды и скитанья.

1938

138. ЛУКОМОРЬЕ

Здравствуй, русского края граница,
Птичий берег, звенящий во льдах,
Здесь певучее слово хранится,
Словно жемчуг речной в сундуках,
И восходит заря-заряница
На пылающих ярко снегах.

Как особенный голос былого,
Сквозь просторы безвестные лет
Пробиваются к правнукам снова
И былины, и старый ответ,
И отцов заповедное слово...
О, прелестный гранатовый цвет!

Тишина, словно берег вдруг вымер,
Будто смерзлись волны, дивясь,
На рассвете пирует Владимир,
Стольной Киевской славится князь.
Парус медленный прячется в дыме,
Словно белая чайка таясь.

Здесь былинное наше Поморье!
В тихий вечер закат пламенел,
Старый песенник пел на задворне,
И узнать я до боли хотел:
Может, здесь было то лукоморье,
Что в стихах своих Пушкин воспел?

Может, здесь давним вечером синим
Лукоморье, как сказочный сон,
Вдруг предстало героям былинным,
Прискакавшим из горных сторон?
С тех ли пор по широким долинам
Слышен чистый серебряный звон?

Где же дуб тот и цепь золотая?
Парус легкий скользнул за прудом.
Здравствуй сызнова, песнь молодая,
Загремевшая в сердце моем,
Как былинное слово — простая,
Вся в огне — как закат надо льдом!

1938

139. СТАРИННАЯ БЫВАЛЬЩИНА

Лошадей он не седывал, травы не косил,
За сохой по весне не хаживал,
А на море соленую воду пил,
Паруса день и ночь прилаживал.

И в кафтане китайчатом на заре
До Норвеги ходил со товарищи,
Городок стоял на крутой горе,
И закат над ним — как пожарище.

Полюбилась помору в стране чужой,
На норвежской земле, красавица,
Как посмотрит она — он и сам не свой,
Как пройдет — земли не касается.

Облака в огне, луна надо льдом,
К рыбным баржам слетались вороны,
А стоял на пригорке высокий дом,
Ворота день и ночь притворены.

Никогда-то он ей не отдал поклон,
Душевного слова не молвил,
А только заснет — и видится сон,
Что она сидит в изголовье.

Состарился он, жизнь ушла сполна,
Всё отдал сыновьям, не споря,
А ладью снарядил (думал — ждет она
И кличет его у моря).

Зима наступила, и дым костров
Потянулся по первому снегу,
Сквозь тысячу тысяч черных валов
Пробилась ладья в Норвегу.

Дымилось пожарище за холмом,
Где славился город когда-то.
Корабельщик из бревен построил дом
И поставил чулан дощатый.

И построил он сени об одном житье,
Слюдяное окно над долиной,
И прошла молва, будто в годы те
Основался посад старинный.

1938

140. ГОРОД

Город стоял посредине степей Пугачева.
Летом к нему лебединые стаи летели.
В тесных лабазах, свидетели торга ночного,
Лики угодников, щурясь, на солнце глядели.

В город съезжались весной для торга верблюжьего,
А караваны везли в сентябре виноград;
Здесь продавали купцы вологодское кружево,
Сидя на лавках у черных церковных оград.

Старые песни шумели еще над оградами, —
Громкие странствия дедовских трудных годов...

Шла революция в край голубой с продотрядами
Хлеб собирать для голодных больших городов.

Кони плясали на ярмарках, пели барышники,
Словно не знали еще, что прошла их пора,

Но прототрядчики слова не молвили лишнего,
В степь их манили гудевшие в полдень ветра.

В синих очках, словно все сталеварами стали,
Люди от пыли спасались в степном городке,
Кони киргизские блеклые травы топтали,
Марево дымное тлело с утра на реке.

Утро встречало нас ветром, негаданно дунувшим.
Пыль оседала на желтой листве тополей.
Вместе с другими веселым, мечтательным юношей
Мчался тогда я по синему стану степей.

Степь разбегалась, желтели пески в глухомани,
Туча висела, как паруса злого края, —
Дымное солнце и тысяча сабель в тумане,
Песня казачья — военная юность моя.

Рыжим конем и фуражкой с красным околышем
Хвастался друг, восхваляя родной Қокчетав,
В ночь покатила луна колесом одноколочным,
Вдаль мы смотрели, на стремях звонком привстав.

Конь остановится, спешусь и медленно слушаю,
Жмурясь от блеска слепящей глаза синевы,
Словно тебя на рассвете с косой темно-русою
Вижу опять в золотых переулках Москвы.

1938

141

Есть в Москве переулок старинный,
Там на яблонях галки висят,
Поздней осенью красной рябиной
Разукрашен торжественно сад.

Словно в утро весны невозвратной,
Словно в сон отошедшей поры,
Я вхожу в переулок Гранатный,
Где горят золотые шары.

Небо в синих и розовых перьях,
И знакомый мне слышится свист.
Иль опять о засельниках первых
Запеваает лихой гармонист?

Там, где дом с мезонином и ставни
Все в цветах и в резных петушках,
Мне предстанет, как сон стародавний,
Всё воспетое в первых стихах.

Всё, что с юностью нашей недолгой
Отошло, снова вспомнится мне,
И узор, разукрашенный фольгой,
Что манил на высокой стене.

Быть товарищем в странствиях, в горе
Не смогла ты, — а годы прошли,
Отшумело пролетное море,
Отгорели в степях ковыли.

О подруга давнишняя, где ты?
Мне другая судьба суждена,
А в лесах неутешны рассветы,
И морская вода солона.

...Флигеля, закоулок дощатый,
Со скворечнями низенький дом, —
То, что сердцу казалось утратой,
Стало ныне судьбы торжеством...

1938

142. МАРЛИ

(Дом Петра в Петергофе)

Как белели снега в суете Петербурга,
На широких мостах расплескался закат,
Скачет всадник по льдам, и распахнута бурка,
Он поет на скаку и не смотрит назад.

В мелкой сетке дождя рыжеватые кони —
Как в попоне, придуманной в сказочный день,
И рассыпался в клетке злобный ветер погони
Возле черных, припавших ко льдам деревень.

Всё на север, туда, где озера промерзли,
Как большие ковши, где под стук топора
По сосновым лесам притаилися поросли,
Где шумят марциальные воды Петра.

Петербургская быль — этот всадник крылатый,
А на взморье хранят корабельщики дом,
Он в тревожные дни Петербургам, Кронштадтам,
Ста морским городам — был орлиным гнездом.

А на верфи тогда, позабывши про горечь,
Петр дышал на заре свежей солью морей,
И века сохранили широкую прорезь
Над морским чертежом у дубовых дверей.

1938

143

И у деревьев трудная есть участь:
Вон дуб растет на низком берегу.
Как вырос он в снегах, корежась, мучась,
Я угадать, пожалуй, не смогу.

Но рост его был труден, беспокойен,
Ломала буря горше всех неволь,
Немало есть на нем морозобоин, —
В любой из них окаменела боль.

И вырос он, под бурями корежась,
В глухих страстях и муках неземных, —
Нет, не найдешь умильную пригожесть
В его ветвях, когда глядишь на них,

Но вдруг поймешь, как смолоду, сначала,
Когда он был младенчески убог,

Безжалостно судьба его ломала,
И он страдал, но всё ж не изнемог, —

И скажешь ты: так, может быть, и надо,
Пусть смолоду он горестно растет,
Ведь все деревья дедовского сада
Тот старожил лесной переживет.

1938

144. ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Еще на взгорьях, где грустят березы,
Где липы старые тоскуют в тишине,
Глухой зимы неожиданные угрозы
Меня томили в темном полусне.

Я вышел в сад, и сразу я увидел
Деревьев старых черные стволы.
Они гудели, словно их обидел
Безмолвный призрак, вызванный из мглы.

В той жалобе, протяжной, непонятной,
Я узнавал родные голоса.
Свою тоску о доле невозвратной
Мне передали нищие леса.

Клубился пар, они гляделись в омут,
Волна томила мутной желтизной,
И только ясень там стоял, нетронут,
Зеленый весь и странно молодой.

Достойный друг! И я хотел бы тоже,
Коль час придет и хлынет забытье,
Встречать грозу, что сердце превозможет,
Храня, как ты, спокойствие свое.

1938

145. ЗАВОД

За Нарвскою заставой, где ночами
Гудки во тьме, как соколы, кричали,
Где в деревнях — и в Автово, и в прочих —
От дедовских первоначальных дней
Семь переулков есть чернорабочих
И восемь улиц строгих слесарей, —

Там есть завод, в цехах его прокатных,
В немолчном гуле старых мастерских,
Как в блеске солнц, от века беззакатных,
Блестят очки литейщиков седых.

Сюда отцы несли когда-то юность,
В железном звоне падала весна,
Стальных конструкций мощная разумность
Рождалась в гулком стоне чугуна.

И знаю я — такой судьбы не минет
Любой из нас, — всё, что хочу сказать,
Сперва огнистой, жаркой лавой хлынет,
Чтобы потом стальной формой стать.

1938

146. ДРУГУ

О друг моих мальчишеских мечтаний,
Как счастлив я, что снова ты со мной,
Что можно здесь, над гулками мостами,
Услышать голос юности былой.

В лесах кедровых зори золотые
Горят в кистях зеленой бахромы,
Тогда мы были мальчики смешные...
Скажи, о чем порой мечтали мы?

Ведь, может быть, о тех мечтах, с годами,
Когда другие юноши придут,
Поведает построенное нами,
Наш праздничный, но ежедневный труд:

Строка стиха, написанная мною,
Река, вчера открытая в тайге,
Пергамент, бывший тайной вековой,
Что ты прочел на древнем языке,

И первый стратостат, что сохранится
Предвестьем новых, сказочных дорог,
И памятник чекисту на границе,
Где старый друг в сырую землю лег.

1938

147—152. СМОЛЬНЫЙ
В НАЧАЛЕ 1918 ГОДА

1

В заливе Финском шторм, и снова
Огни сигнальные горят.
Зовет меня родное слово,
Как слепок замысла бывшего,
Как чистой музыки раскат.

Полнеба в свете небывалом,
Нева огнем озарена,
И весь залив раскрашен алым,
И порознь — каждая волна.

Тяжел Невы гранитный пояс.
Бегут в туман прожектора.
Ведет матрос по звездам понск,
На взморье горбятся ветра.

Страшна штормов осенних ярость,
И кажется издалека,
Что воду пьет, пригнувшись, парус,
Что в город ринулась река.

Приди ко мне, воспоминанье,
И запах времени вдохни,
Разлей вокруг свое сиянье

И сквозь земные расстоянья
Теперь в глаза мои взгляни.

Опять зовут родные дали. . .
Как наша молодость светла!

Нет, не по книгам мы узнали
Твой, История, дела, —

Мы шли с тобой в пути раздольном
Из часа в час, из года в год,
Рассвет, не меркнувший над Смольным,
Доныне в памяти живет.

1935, 1948

2

КОМНАТА ЛЕНИНА В СМОЛЬНОМ

Край белой ночи — город, вознесенный
Над низким финским берегом. С утра
На тихом острове горит огонь зеленый.
Осенний, темный час. Туманная пора,
Когда томят тоской сигналы штормовые,
Когда идет река на приступ вековой,
Когда на площадях горят костры ночные
И пляшет на волне огонь сторожевой.

Полночный Петроград. Гремят слова декретов.
Зовет своих сынов земля большевиков,
И Ленина лицо глядит со ста портретов,
И в Смольный шлет народ надежных ходяков.

По снегу и по льду, голодные, босые,
Они идут к нему из дальних сел России.
Они ему несут волнения свои,
Заботу жизни всей, заветные мечтанья,
И радости свои, и горькие страданья,
Любовь несут ему — и нет сильней любви.

И он везде живет — о нем повсюду толки, —
В полночный тихий час над берегами Волги,

На родине его, в его краю родном,
Солдаты говорят о встречах с Ильичем.

Есть в Смольном комната. В заветный этот год
Крестьянским ходакам она была знакома,
Здесь начат был тогда великих лет поход,
И вождь подписывал декреты Совнаркома.

Идут отряды вдаль, во мгле костры горят,
Шумит метель в ночи по селам и равнинам,
Одним своим крылом накрыла Петроград,
Другое занесла над Киевом старинным.

Но всюду на часах красногвардейцы. Мгла
Прорезана давно огнем зарниц багровых, —
Россия поднялась, по-ленински светла,
Для исполинских дел и для свершений новых.

Как слава вечная невозвратимых лет
Осталась комната Предсовнаркома в Смольном,
И смотрит экскурсант с волнением невольным
В вечерние часы на ленинский портрет. . .

Есть в нашей простоте особое величие.
Вот на столе письмо, — и это жизнь сама
Потомкам воссоздаст его души обличье
В каракулях простых солдатского письма.

1936

3—4

НЕКРАСОВ

1

Некрасов. . . и вот начинается детство:
Ненастная осень, костры за рекой,
В тех песнях, что часто слышал по соседству,
Твой голос был сызмальства голос родной.

Забыть ли про то, как старик ярославец
(Саженные плечи и брови вразлет),



Поклонами встречавший издалека,
Напоминал родимую деревню.

Закованная крепко в броню льда,
Нева свирепо выла под мостами,
Из прорубей струился пар косматый,
Она дышала в полночь тяжело,
И лед трещал, как будто грудь реки
Железный обруч с гулом распирала.
А той зимой на берегу залива,
Как крылья птиц, замерзших на лету,
Висели паруса на старых лодках,
И падала колючая звезда
В дымки костров, пылавших на закате.

Он полюбил туманы над Невой.
Его везде встречали. На заводах
Он появлялся часто вечерами,
И в спор вступал, и, медленно крутя
Солдатскую сигарку, улыбался.
Бывало, в ночь ревут гудки тревоги.
Под выстрелами гаснут фонари
На перекрестках. Ходят патрули
По улицам. Рабочие отряды
Спешат к вокзалам. Где-нибудь за Гловом
В короткий час походного привала
Проходит он. Как часто в свежих гранках,
Еще пропахших краской типографской,
Подписанные Лениным декреты
Он вслух читал.

В солдатских сапогах,
В потертой куртке, в шапке набекрень,
С огромным свертком новых книг под мышкой,
Он предо мной — как памятник живой
Родному восемнадцатому году.

Где облака настой сосновый пьют,
И на заре токуют глухари,
И в зимний день гудят деревья, в рев
Изюбров быстрых голос свой вплетая,
В глуши лесов, далекий, верный друг,
Учитель мой в дни юности веселой,

Быть может, эти строки перечтешь,
И улыбнешься, и вздохнешь украдкой,
И вновь припомнишь льдину на ветру.
Спор до утра.

Гудки тревоги.

Смольный...

1938

6

СКАЗ О ЛЕНИНЕ

Загremели валы в отлете
На высокой морской волне.
Сказку сказывали на гальоте
Поздней ночью поморы мне.

Будто Ленин скитался смолоду,
С погорельцами в дружбе жил,
В города — в Архангельск и в Вологду —
Он как странник простой входил.

Старина ли, заветный голос ли, —
Снова зори горят огнем,
В деревнях позабытой волости
Знает каждый с тех пор о нем.

Был солдатик один особенный
Из онежской лесной стороны,
Со своей лесною родиной
Распрощался он в год войны.

Он с полками дивизий русских
Шел четыреста дней подряд
От постылых болот Мазурских
До застывших в снегах Карпат.

Как царя со князьями сбросили,
Как шиповник в лесах отцвел,
В дни туманные поздней осени
С фронта он в Петроград пришел.

Непогожими днями осенними
Паровозы бегут в дыму,
И явился солдат: к к Ленину,
Со слезами сказал ему:

«Может, вас и встречал я смолоду,
Только где — и не вспомню сам,
Иль в село, за лесную Вологду,
Приходили вы прежде к нам?»

Ленин ласково улыбнулся,
Крепко руку ему пожал,
И солдат в село не вернулся,
Он в охрану Ленина встал.

Посейчас под стеной кремлевскою,
Где Ильич в мавзолее спит,
Где заря — золотой полоскою,
Тот солдат на часах стоит.

1937

153—157. О Н Е Г О

1

ХОЗЯЙКА ОЗЕРА

Как рóстится щука порой ледолома,
В день молнии первой и первого грома,

Когда громыхает на озере лед,
На сойме высокой рыбачка плывет.

Она синеглазая, с желтой косой,
С обветренной сильной, широкой рукой,

В плетенных из дранки корзинах у ней
Лососи и пестрые спины ершей.

И знают рыбачку в краю приозерном
И помнят по песням ее непритворным.

Когда, белее снега,
Проходят облака,
Приснится им Онего,
Развод ее платка,

И словно сердце ранит
Напев ее речей,
По ней тоскует странник,
Всю жизнь грустит по ней.

Она, как хозяйка озер знаменитых,
Плывет на заре мимо лодок разбитых.

И славится ясного края краса:
Желтее, чем лен, у рыбачки коса.

Как только слетаются в белую ночь
Над озером ветры, чтоб волны толочь,

Она проплывает и тянет канат,
Поет о разлуке, спешит на закат.

И песни ее молодая истома
Живет в камышах у высокого дома.

В тумане побережье,
На черные пески
Плывут от Заонежья
Подростки рыбаки,
И тот, кто слышал прежде
Родные голоса,
Плывет в одной надежде
Взглянуть в ее глаза.

1938

2

ХОЗЯИН ЛЕСА

В лесах Карелии,
У трех застав,
Где ночи белые,
Шел ранний сплав.

На долгомошнике
Кукушкин лен,
Там полуночники
Забыли сон.

Стоял у водопада командовавший сплавом,
Он, как цыган, был черный, с серьгой в ухе правом.
Следил он за полетом тяжелого бревна,
Глядел, как льнет и пляшет речная быстрина.
Багор в руке тяжелый, фуражка набекрень,
И снова зычный голос гремит и ночь и день.

На мшистом ельнике
След ясных зорь,
На можжевельнике
Седой узор.

Легли к разлету
Лесных дорог.
Ель на болоте
И ельник — лог.

Ходил хозяин сплава по всем лесным дубровам,
Тех, кто ленился, долго корил недобрым словом.
Он человек бывалый, и по лесам страны
Рассказы лесорубов его судьбой полны.

Кто жить привыкнет
В лесах густых,
Где бор-черничник
На зорях тих, —

По листьям странным,
По мхам болот
Богульник пьяный
В лесах найдет.

Он проходил по бревнам, на запанях тонул,
Не на хозяев старых свою он спину гнул:

Он сам лесов хозяин, властитель здешних мест.
Его на службу сплава послал Карельский трест.

Смолистый запах,
Сосновый лес,
У елей в лапах
Дымок небес.

А в ночи белые,
На склоне дней,
Леса Карелии
Зари светлей.

1938

8

ПЕЙЗАЖ

В тех лесах дремучих ели
В час рассветный поседели,
Протянулись во мгле
Сотни сучьев по земле.

От восхода до заката
Весел плеск да скрип каната.
В небе — стаи журавлей,
В дали — тени кораблей.

Ранним утром на побережье,
Где бегут следы медвежьи,
В отдаленной стороне
Скачет всадник на коне.

А над ним дымятся тучи,
С черной искрой снег летучий,
Солнце желтое сквозь дым
Пробивается над ним.

Утром мать встречает сына.
Низко клонится рябина.
В круглых гроздьях налитых
Сотни искорок седых.

1938

ГОЛОС

Здесь тени клонятся косые
 За низким берегом реки.
 Сплетают девочки босые
 Из желтых лютиков венки.

Семь звезд — то солнце раскололось
 На семь осколков золотых,
 В лесу поет протяжный голос
 О светлых днях пережитых.

Поет о том, что сердце реже
 Грустит по горести былой,
 А лодка вновь плывет на стрежень,
 И парус пляшет над волной.

О родина, в цветах узорных
 В твоём прославленном краю,
 Среди озер, в полях просторных
 Любимый голос узнаю!

Скрипя пройдет по снегу полоз,
 Но не забуду я плоты,
 И девочек босых, и голос
 Неповторимой чистоты.

1938

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКАЛЕ

На синем Онего, на блещущем склоне
 Огромной, сбегаящей в воду скалы
 Рыбак подымается, — весла в ладони,
 Над ним осторожные вьются орлы.

Кругом тишина приозерного края,
 Резьба деревянная в небо плывет,
 И низкая верба дрожит, умирая,
 Не в силах уйти от пылающих вод.

Откуда пришел на Онего скиталец?
Неужто и капли дрожат на весле?
Как память веков отошедших, остались
Орлы, и весло, и рыбак на скале.

Рисунок был высечен круто по камню
Художником древним у самой воды,
Зрачок розоватый в глазу великаньем
Горит расточительным светом звезды.

И вот рыбаки, что заносят свой невод,
Где мойва и стерлядь на узком крыле,
Вверх смотрят с опаской. . . Боятся ль
Того рыбака, что застыл на скале? разгневать

Иль чудится им погорелец на круче,
Вонзающий в сердце с размаху копье?
Не тут ли когда-то художник могучий
Увидел в воде отраженье свое?

И выбил, векам изумленным на зависть,
Всё то, что увидел доверчивый глаз,
Дикарской рукой белых кряжей касаясь,
Когда над обрывами туча неслась.

И каждый художник, как верную память,
Однажды увидев, навек сбережет
Рассвет над Онего и скалы, где мамонт,
По прихоти странника, вечно живет.

1938

158. ГРИН

Он жил среди нас, этот сказочник странный,
Создавший страну, где на берег туманный
С прославленных бригов бегут на заре
Высокие люди с улыбкой обманной,
С глазами, как отсвет морей в янтаре,
С великою злобой, с могучей любовью,
С соленой, как море, бунтующей кровью,
С извечной, как солнце, мечтой о добре.

Страны этой вовсе на карте не сыщешь,
Но в море, где волны ударят о днище
Скользкой стремительно лодки твоей,
Где парус косой, побираясь как нищий,
Пьет черную пену косматых зыбей,
В тот час, когда горечь ветров нестерпима,
Сквозь легкое облако раннего дыма
Увидишь ветрила его кораблей.

В поэзии нашей Летучим Голландцем
Прошел он, мечтая. По реям и шканцам,
Повсюду, где пахнет морским ремеслом,
Слывет он родным. Не слепым чужестранцем
Вошел он когда-то в наш праздничный дом
С рассказами, полными помыслов странных, —
Забыв о мельканье имен чужестранных,
Мы русское сердце почували в нем.

Рассвет изначальный на выпуклом мысе,
Бегут корабли осторожные в Лиссе,
Спешит по тропе зурбаганский стрелок,
Тревожный оттенок в лазоревой выси,
И хрупкие травы на склонах дорог.
Холмы подымаются вверх за мостами,
В зените глухом становяся шарами,
Какие лишь сказочник выдумать мог.

Задумчивый, с шляпою широкополой,
Гостей удивляя походкой веселой,
В мохнатом пальто Москвошвея, весной
Он вдруг появлялся, ведун незнакомый,
И медленно солнечной шел стороной,
И светлого глаза веселая зоркость
В блистанье весеннего города вторглась,
И сказка его молодела с Москвой.

Его я заметил в день встречи случайной,
Как будто со мной поделился он тайной,
В лицо незнакомое молча взглянул,
Потом постоял у извозчичьей чайной,
Фанерные двери ногою толкнул,
Увидел мальчишку, пускавшего змея,

Промолвил, смеясь: «Неплохая затея», —
И сразу в глухой переулочек шагнул.

Высокого неба густая раскраска
Туманилась медленно. Кончилась сказка,
Ушел небывалой страны властелин.
Но с неба широкою тучу, как маску,
Сорвал журавлей пролетающий клин,
Игрушечный змей пробивался сквозь тучи,
Стучали пролетки, и ветер летучий
Примчал к нам веселое прозвище: «Грин».

И в каждом столетье свой сказочник бродит,
Загадкам старинным разгадку находит,
С улыбкой младенческой строит миры,
И замки он ставит, и стены возводит,
В чужих небесах возжигает костры,
Проходит по шумной земле новосельцем,
И всё, что услышит бесхитростным сердцем,
Подвластно закону великой игры.

1939

159. ПЕТР И АЛЕКСЕЙ НА СЕВЕРЕ В 1702 ГОДУ

После ночи двухмесячной заотсвечивало,
В монастырях стали воск белить,
А где ям над рекой, допоздна, до вечера,
Собиралися беглые брагу пить.

А и за зиму-то сердце у них подморозило,
Кудрявится пена, по усам течет,
От Пудожа-города до Белоозера
Кузнецам-устюжанам воздается почет.

А ветер? То шалоник, то галицкие ерши
(Откуда взялось-повелось сие прозвище?).
Вдруг судно плывет — паруса хороши,
И темная грусть в богатырском посвисте.

Да и в розовом отливе сосновых боров
Проплывала тогда знаменитая шнява, —

Сам Петр Алексеевич прохаживался, суров,
Алексей говорил нараспев, гнусаво.

Скоро лютые морозы, будто волчьи своры,
Побегут на Русь по вечному льду...
Аль холодно тебе, Алексей Петрович?
Аль чуешь сердцем какую беду?

По «российскому винограду» и «поморским ответам»
Староотеческих раскольничьих книг,
Семьсот кругозоров над краем этим,
И за каждым узорится путь на Выг.

И плывут берега, пахнет горьким вереском,
Пустынь за озером, — там в хлебне живет
Юродивый старец, с лицом предерзостным,
И в дождь привередные слезы льет.

Петр смотрит на пустынь — там души не согреешь,
Ладонь на грудь, — о, как сердце стучит.
«О чем ты задумался нынче, царевич?»
Но царевич нахмурился — и молчит.

А Петр чинит парус — никак не утешится...
А мстителен чаек низкий полет...
Государство Российское! Правда! Отечество!
К беззакатному солнцу судно плывет...

1939

160. ОКА

Ока — название реки
И человеческое имя,
Хранят речные тростники
Мечту, забытую иными,

О том, что может человек
Жить многократно, оживая
В названиях певучих рек,
Текущих по родному краю.

Живет певучая река,
И наудачу, как в былине,
В зеленом платъице Ока
Бежит по голубой долине.

Конец 1930-х годов (?)

161. СТЕПИ

Сокол злой кричит,
А костры горят,
А весной ключи
По степям кипят.

Я в степях тех был,
Тем путем скакал,
Из ключей тех пил,
Соколов пускал.

Ковыли да соль,
След моих охот.
Ты скажи, отколь
Старый друг придет?

Конец 1930-х годов (?)

162

Есть поколенья,
Что горят в огне,
Живые звенья
Небывалых дней,
Они связали
Тысячью узлов
Былые дали
И заветный зов
Времен грядущих,
Чей придет черед...
Наш флаг не спущен,
Мы зовем вперед.
Уйдем из жизни,
В ад уйдем иль в рай,

На кладбищах рядами
В синий май
Уляжемся, а внуков наших дети
 Всё будут ждать
И за чертой волнующей столетий
 Припоминать,
Листая наши книги
В крови, в пыли,
Каких времен какие сдвиги
 Тогда прошли.
И душам чистым, нежным
 Я дать хочу
Ту силу, что влекла огнем мятежным
 Меня к мечу,
Что победить дала мне силу смерти,
Вела нас в бой,
Что в будущем разметит и расчертит
Простор земной,
Чтоб мир цветущим садом стал...
И не моя вина, что не застал
Я тех времен безмерной синевы...
Но за меня прославьте землю вы.

Конец 1930-х годов (?)

163

Есть страшный сон самоубийства: вдруг,
Взглянувши вниз, увидеть сонный луг,

Где спит вьюрок и вьется горный шур,
Тропинку узкую, бегущих к дому кур,
Дымок далекий, бережок реки,
И — ринуться туда, ломая позвонки.

Но вот взгляни: тропа, по ней ты раньше брел,
Теперь идет по ней подстреленный орел,

Он выступает, крылья волоча,
Как гренадер, всё с правого плеча,

И смело смотрят в пропасть с высоты
Голубоглазые альпийские цветы.

Смертельно раненный навывлет пульей в грудь,
Ты тоже должен так бестрепетно шагнуть.

Конец 1930-х годов (?)

164

...Что сделал я? Немного песен спел,
Измученный работою поденной, —
Негаданно мне выпавший удел.

Я так мечтал: вот напишу-де повесть,
В которой будет всё: и крупный план,
И мысль, и стихи, и вдохновенье — то есть
Подобие «Полтавы» и «Цыган».

Я оглянулся. Холодно и пусто.
Неужто ж, дело сделавши на треть,
Стать обреченным смертником искусства,
Навек в журнальной смуте умереть?

А может быть, довольно и того, что,
Своим старинным штемпелем гордясь,
Мои стихи пройдут в века, как почта,
Которую задержит наркомсвязь.

Историк сверит надпись на конверте,
Потом, письмо на время отстраня,
Разыщет дни рождения и смерти
И в свой некрополь занесет меня.

Конец 1930-х годов (?)

165. ПРЕДВЕСЕННЕЕ ·

На поляне прогалины черные,
Словно галки на мокром снегу,
Предвесенние тени узорные
Никогда разлюбить не смогу.

И на сердце так радостно, молодо,
Если слышу опять по весне
Чистый звон телеграфного провода,
Словно тихий твой голос во сне.

1940

166. ИЗ ПИСЬМА

Где теперь ты? В бегущих годах?
В реве ветра? Иль в зареве диком?
Иль в старинных родных городах?
В Белозерске? Ростове Великом? ..

Вижу ветхий бревенчатый дом,
Где скрипят под ногой половицы,
Где в озерный большой водоем
На заре северянка глядится.

Там бегут по ложбинам ручьи,
И теперь на любом перекрестке
Суета — прилетели грачи. . .
Лишь вчера опушились березки.

В этом крае хозяйкою ты,
Край твой светел, и тих, и обширен,
Облака на рассвете чисты,
Словно говор московских просвирен.

А на тысячу верст — погляди! —
Голубеют озер перекаты,
Над дорогами пляшут дожди,
Плавают золото в небе закаты.

Я на дальней живу стороне,
Скоро год уж, как длится разлука,
Почему же не пишешь ты мне?
Что тебе моя песня и мука?

Завтра вечером в школу придешь. . .
География первым уроком.
И обступит тебя молодежь —
Всё расспросы о мире широком.

Будут спрашивать, где бы сейчас
Побывать ты хотела в России.
Устремись ты в раздумье на класс
В этот вечер глаза голубые,

И украдкой покажешь ты им
Дальний остров на северном море,
Где навстречу огням штормовым
Парус мой промелькнет на просторе.

1940

167. ЛЕРМОНТОВ В ЧЕРКАССАХ

Что за феатр: об этом стоит рассказать.

Лермонтов

Провинциальный бедный городок,
И в нем — театр. Чадом свечек сальных
И контрабасом громким он привлек
Помещиков времен патриархальных.

На занавесе — горы в серебре,
А разговор идет о снах, о войнах,
О меделянских псах и об игре —
В тонах отменно ясных и пристойных.

А в полутьме пять ветреных Диан
Глядят на вас с улыбкою милейшей, —
Быть может, снова встретится улан
Здесь запросто с тамбовской казначейшей.

Какая скука! Скоро ночь придет...
Неужто снова вздорный сон приснится?
Но контрабас простуженно ведет
Смешной мотив, навеянный «Фрейшицем».

Слегка кривясь, заморенный скрипач
Пилить спешит на допотопной скрипке.
Он грустен, глух и жалостен, хоть плачь,
А всё смотреть не можешь без улыбки.

Оркестр молчит уже. А скрипачу
И невдомек. Он долго продолжал бы,
Но контрабас смычком бьет по плечу,
Кларнет сердито дергает за фалды.

И, разъяренный горем, глухотой,
Скрипач в ответ ударить хочет рьяно,
Но, верно, пьян — и падает, смешной,
Лицом пробивши шкуру барабана.

Вот занавес опущен. И оркестр
На съезжую отправлен. Шумно в зале:
Отцы велеречивые семейств
Другой развязки вечера не ждали.

...А ты глаза слезами затумань,
Чернавка-муза, девушка босая,
Не всё ль равно — в Черкассы иль в Тамань
Бросает царь, изгнанием пытая?

На севере, за много сотен верст,
Грустят места, с младенчества родные,
В безлюдье, в гибель, в горы, в Пятигорск
В июньский день везут перекладные.

«А коль решу — и всё переменю?
Нет, дальше в путь дорогой узкой, тряской...
Затем ли нынче еду я в Чечню,
Чтоб умереть на линии Кавказской?»

Он засыпает. Солнце греет. Вдруг
Во сне виденье. Голос громче, громче...
«Как? Умереть? Увижу ль Петербург?
Ведь «Сказку для детей» еще не кончил...
Ведь жизнь в начале...»

Он проснулся. День,
Отягощенный злым великолепьем,
Еще пылал.

Ложилась рядом тень

Огромных гор на выжженные степи,
Поемный луг. Шлагбаум. Старый мост.

«Ну что ж, казак, далеко ль до станицы?»

— «Да не скажу... Не знаю этих верст...
Я тоже спал... А что во сне приснится?»

1941

168. МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Среди родных героев прозы русской,
Максим Максимыч, памятен ты мне,
И твой сюртук, в плечах немного узкий,
И темный плащ, и шашка на ремне.

И смуглость щек, овечьих загаром.
Всё «да-с» и «нет-с» — твоя простая речь,
Твои рассказы громкие недаром
Сумел я с детства в памяти сберечь.

Я вижу вновь и этот сумрак шаткий,
И склоны гор, раскрашенных пестро,
И темный мех твоей черкесской шапки,
И кабардинской трубки серебро.

С художником великим мы не спорим...
Вся прямою и ясностью дыша,
Легко владеет радостью и горем
Твоя простая, верная душа.

Прямое и доверчивое сердце
Гордыне чуждо помыслов пустых,
Звезде побед навеки разгореться
Велел народ для воинов таких.

Ведь в светлый час последнего сраженья
Их выбор был решителен и прост...

И в старости без головокруженья
Над крутизною шли на Чертов мост.

1941

169. НОЧЬ БЛОКАДЫ

В полночь Невский проспект стал безлюден, как снежное
поле,

Заметают снега у заставы кирпич баррикад,
И гудит за окном настороженный, близкий до боли,
Как биение сердца, родной навсегда Ленинград.

Здесь прошла моя жизнь. В эти грозные ночи блокады
Он дороже мне стал, изувеченный, в дыме, в огне,
С опаленными порохом липами Летнего сада, —
Разлучения с ним никогда бы не вынести мне.

Не стихает метель, не смолкает теперь канонада,
Сын на фронте, а здесь над станком наклоняется мать...
Пусть сегодня темно на больших площадях

Ленинграда —
Он в столетиях будет немеркнущим светом сиять!

Январь 1942

170. МАЙ, НОЧЬ БЛОКАДЫ И БЕСЕДА ОБ А. ИВАНОВЕ

...Чаёк мы ночью попивали,
Потом, художник и поэт,
Мы книги пухлые листали —
Былых годов забытый след.

Был месяц май и ночь блокады,
Редела сумрачная тьма,
И глухо падали снаряды
На отдаленные дома.

О живописцах шла беседа.
Как шла их жизнь, как шла борьба.
Что: поражение, победа —
Посмертной славы их судьба?

И вот, на дно стаканов глянув,
Почуя светлое тепло,

Мы имя вспомнили: Ива́нов —
И тут от сердца отлегло: . .

Иванов. Утро нашей славы,
Он нами сызмала любим,
Кремлей прославленные главы
И те склонялись перед ним.

Ведь выбрал он в искусстве русском
Путь самобытный, гордый, свой.
Не на проселке был он узком —
Он шел дорогой столбовой.

Нашел он высшую свободу,
Виденьем праздничным согрет,
«Явление Христа народу» —
Великий эпос давних лет.

Его пейзажи, самобытный
Язык портретов, весь порыв
Его души, могучей, слитной,
Горит, столетья озарив.

Вот почему мы в ночь блокады
Так пылко говорим о нем,
Пусть рядом падают снаряды —
Иванов жив, и мы живем.

16 мая 1942

171. «АРТИЛЛЕРИСТЫ-ГВАРДЕЙЦЫ»

В Колпино путь под обстрелом. . .
Юноша в цехе убит. . .
С горестью девушка в белом
В мертвые очи глядит.

Небо в сиреневых звездах,
Отблеск зари золотой.
Счастлив: япил этот воздух,
Горький, как хвои настой.

Всё, что знавал понаслышке,
Я опишу — под огнем.
Только не в маленькой книжке —
В Библии Новых Времен.

1 ноября 1942

172

В кругу друзей шутили долго, пели. . .
Вдруг взрыв — предвестьем смертного конца . . .
В глаза смертей сурово мы глядели,
Не отводили в сторону лица . . .

Пройдут года — и этот город снежный
Тебе приснится в давней красоте,
И бомбы, что упали на Манежный,
Вдруг загудят в безмерной высоте,

И дом качнется, гулко грянут взрывы,
Проснешься ты. . . Увидишь — вдалеке
Проходит девушка. . . И ветка тонкой ивы,
Как символ жизни, в девичьей руке. . .

27 января 1943

173

Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек.

Да что там! Сравнения ввек не найти,
Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти!

Сидели в траншеях, у скатов горбатых,
Бойцы в маскировочных белых халатах,

Гудели просторы военных дорог,
Дружили со мною сапер и стрелок.

Ведь я — их товарищ, я — их современник.
И зимнею ночью и в вечер весенний

Хожу по дорогам, спаленным войной,
С наганом и книжкой моей записной,

С полоской газеты, и с пропуском верным,
И с песенным словом в пути беспримерном.

Я голос услышал, я вышел до света,
А ночь батарейным огнем разогрета.

Синявино, Путролово, Березанье —
Ведь это не просто селений названья,

Не просто отметки на старой трехверстке —
То опыт походов, суровый и жесткий,

То школа народа, — и счастье мое,
Что вместе с бойцами прошел я ее.

1943

174. В БРЕСЛАВЛЕ

Еще был бой не кончен. Издалече
Упрямо грохот кованый вставал,
И автоматчик вражеский под вечер
Всё так же бил, как утром, наповал.

За этот город долгое сраженье
Шло непрерывно день и ночь подряд.
Возьмешь ли камень — кажется, в каменных
Еще раскаты выстрелов гудят.

Возьмешь ли ветку — кажется, что колет,
Как проволока, так она жестка,
Как будто листья съежились от боли,
Когда с них копать счистила рука.

Пройдем вперед — и сразу перед нами,
Сквозь черный знак хвостатого клейма,
Откроется Бреславль с его домами,
Сады и замки, биржи и дома.

Конрад, Георгий, Сигизмунд и Фридрих —
Не счесть в Бреславль входивших королей,
Не счесть боев и договоров хитрых,
Восстаний, смут от самых давних дней.

А вот сейчас сержант двадцатилетний,
Родной боец с Печоры снеговой,
Ведет упорно, может быть, последний
В истории за этот город бой.

Берлин, Бреславль, Инстербург, Бунцлау...
Казачья шашка сквозь листву блеснит...
Мы с дедами разделим честно славу,
Их старый марш еще в веках гремит.

1945

175. В СУДЕТАХ

Как только ручьи на весенних рассветах
Покатятся кубарем, ринутся с гор,
Ты встань на валунной вершине в Судетах
И крикни по-русски в безмерный простор.

И сразу же откликом радостным, резким
Не эхо откликнется гулко, а гром
Словацким, словенским, хорватским и чешским,
Болгарским и сербским родным языком.

Затем что отсюда, от снежной вершины,
До Чешского гребня, до склонов Карпат,
В сиянии ярком хребты-исполины
На страже славянского мира стоят!

1945

176. БЕРЛИНСКОЕ УТРО

Брезжит мутный рассвет над Берлином,
Мелкий дождь моросит по камням.
Как я счастлив, что с днем-исполином
В этот город вступаю я сам.

По развалинам зданий бетонных
Со ступени крутой на ступень,
Мимо парков, огнем опаленных,
Нас ведет разгоревшийся день.

Красный флаг над стенами рейхстага,
А в глазах нестерпимо рябит,
И от каждого быстрого шага
Здесь асфальт под ногами гудит.

Сколько пыли, как будто в пустыне,
Наметает — дышать тяжело,
Ведь с пылающих зданий в Берлине
Ту кирпичную пыль разнесло.

Вот пожарища банков, гостиниц,
Министерств, канцелярий, дворцов, —
И угодливо смотрит берлинец
На веселых советских бойцов.

1945

177. ДОМОЙ

Над Эльбою, в землянке обветшалою,
В тот час, когда мы кончили войну,
Впервые въявь услышав тишину,
Сказал мне тихо офицер бывалый:
«Как хорошо, что есть на свете дом
Вдали от мест печальных и суровых, —
Там наклонилась ива над прудом,
И ждут меня в краю лесов сосновых.
Теперь мы научились ценить,
Что есть места, где так чисты криницы,
Где можно воду без опаски пить
И без нагана ночью спать ложиться.
Как хорошо, что есть одна душа,
Которой слово дорого простое,
Как встретимся мы с нею, не спеша
Ей расскажу в боях пережитое.
Но если годы болью старых ран
Об этом дне неожиданно мне напомнят

И на заре предутренней в туман
Я выйду с ней из тихих-тихий комнат,
Вдруг тишина мне станет нелегка,
Покажется трудней того раската,
Что вот недавно шел издалека
И умирал при отблеске заката.
Нас чище сердцем сделала война!
Огонь! Огонь! А как мы шли спокойно.
И надо жизнь продумать, чтоб она
Всегда была прошедших дней достойна».

1945

178. СВЕРШЕНИЕ

Помню улицы города хмурые,
Злое небо десятых годов,
Всхлипы вальса «На сопках Маньчжурии»
В духоте постоянных дворов.

И рассказ, как заря над «Варягом»
Догорала в безвестном краю,
На корме, под простреленным флагом,
Умирали матросы в бою.

Не сдаваясь, открывши кингстоны,
В грозный час «Стерегающий» тонул,
С порт-артурских высот опаленных
Сквозь года к нам доносится гул.

Умирая, вы знали: потомство
Отомстит за Цусиму врагам,
И взошло беззакатное солнце,
Озаряя наш путь по волнам.

Так свершаются времени сроки,
И выходит наш флот молодой
На простор океанский, широкий
За туманной Курильской грядой.

1945

СМЕНА КАРАУЛА
У ЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА

Среди сотен разбитых домов
Уцелел старый дом в Нюрнберге,
Он угрюм, неказист и суров,
Только люстры сверкают, как серьги.

Ветер узкую дверь распахнул,
За углом опрокинулись будки.
Четырех государств караул,
Здесь сменяется каждые сутки.

По утрам — караула развод.
Еще улицы тонут в тумане,
А уже разводящий идет,
И дежурство сдают англичане.

Капитан — командиром у них,
Постучав по камням каблуками,
Он солдат заставляет своих
Для чего-то подрыгать ногами.

Очень странен подобный обряд...
Покричали они по старинке,
И повел их унылый солдат
Под неспешное пенье волынки.

Погляди на него, погляди...
Высоченнейший, в юбочке странной
И с цепочкой свистка на груди,
Он идет по дорожке туманной.

Ветер треплет флажки на столбах,
И сержант, коренастый, кудрявый,
С автоматом и с орденом Славы
Неподвижно стоит на часах.

Он родился в селе за Окой,
Издамече он шел, издамече,
И грустит на сторонке чужой
По покинутом милом заречье.

Как дороги войны далеки...
Как трудны отошедшие годы...
Он пешком сюда шел от Оки
И пришел под угрюмые своды.

Лишь воздвигнет рассвет города
Над плывущими вдаль облаками,
Нюрнбержцы приходят сюда
И глядят на сержанта часами.

И стоят, с него глаз не сводя,
Словно с витязя дедовской сказки...
Лиловатые струи дождя
Торопливо стекают по каске.

Мы легендою станем в веках,
Мы в былины войдем, в поговорки,
И простреленные гимнастерки
Разместятся в музейных шкафах!

1946

2

ГОЛУБАЯ ЛУНА

Начинается вечер — и джаз голосит монотонно,
Это — в сердце Баварии — американская зона,
И гавайской гитары поет, изловчившись, струна
Залихватский фокстрот: «Как смешно — голубая луна».

А луна в самом деле в разбитое смотрит окно,
Лейтенанты шумят в небольшом офицерском кино,
Хоть война отошла, но войны они въявь не видали,
Без боев, как в прогулке, примчались в баварские дали

И теперь по ночам за столами горланят и пьют,
И гавайской гитары пронзительно струны поют,

Как и пели тогда, когда мы по пылавшим долинам
Лунной ночью в огне наступленье вели под Берлином.

Да и что говорить — не подскажет солдату война
Этих слов никогда: «Как смешно — голубая луна».

1946

181. ПАМЯТИ СКАЗИТЕЛЯ

Низко клонится осинник,
И струятся родники,
Жил сказитель, жил былинник
В тесном доме у реки.

Говорливый, бородатый,
По прославленным лесам
Он ходил как соглядатай,
Где пройдет — не вспомнит сам.

От него зверью не скрыться.
Чутко ловит каждый звук,
Знает он, где лось таится,
Где живет язвец-барсук,

Где шипят лесные гады,
Где колдуют валуны,
И приманки, и привады,
И приметы старины.

Каждый день недаром прожит,
По-особому хорош.
То, что видит, в сказку вложит,
В сказке правда, а не ложь.

Про корабль, в пути текущий
С озорной командой пьющей,
Про укрытую в холстинку
Свинку — золоту щетинку,

Про скатерку-хлебосолку
И про раненую елку,

Из которой хлещет кровь,
Про Кашееву любовь.

Умер он, а сказка бродит,
Умер он, а нам не счесть,
Сколько рассказней в народе
О его скитаньях есть...

Многим в жизни я обязан
Озорным его рассказам,
Побасёнкам и старинным
Богатырщинам былинным.

1946

182. В ПУТИ

Тишина здесь... леса да леса...
Ветер листья метет к перевозам...
Золотая бежит полоса
По молоденьким, тонким березам.

Синеватый дымок на земле,
Облака над березовой чашей,
И мальчишеский голос во мгле,
К вдохновенному счастью манящий...

Слышишь, песня несется с полей...
Чье же слово плывет над лугами?
Кто пускает в полет лебедей,
Осторожно взмахнув рукавами?

Я родные стихи узнаю,
Песни те, что давно прозвучали.
Как в далекую юность свою,
Я гляжу в эти светлые дали.

Разве могут стихи умереть?
Будет жить самобытное слово.
Только станут негаданно петь —
И поймешь свою молодость снова.

С молодою порою своей
Мы встречаемся снова под старость...
Что ж, во всем мы честны перед ней,
Сколько б лет еще жить ни осталось.

Всё равно наша кровь молода,
С каждым годом наш труд полновесней,
Нам родны, как в былые года,
Наши первые думы и песни.

Раскрывались наши сердца
Для пленительной, радостной были.
Подмастерьями века-творца
Рано в жизнь мы с тобою вступили.

А дорога бежит вдоль реки...
Вновь разъезды в пути... перекрестки...
Серебрит незаметно виски
Опыт лет, вдохновенный и жесткий.

Вспомнят нас за чертой вековой,
Будет труд наш и подвиг наш признан, —
Ведь мы оба, товарищ, с тобой —
Люди первых годов коммунизма.

1948

183. ПРАЗДНИК

«Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов».

Белой ночью светел город,
На проспектах — тишина,
Ширь могучего простора
Вся в реке отражена,
И не меркнут над заливом,
Над свинцовой волной,
Голубые переливы

Этой ночи огневой, —
Не забыть ее сиянье
У гранитных берегов,
Словно легкое дыханье
Чистых пушкинских стихов.

Как светло в небесной шире...
Не шелохнется волна...
В старой пушкинской квартире
Книжных полок белизна.
Перед этими томами
Мы в волнении стоим:
Не состариться с веками
Песням вечно молодым.
Гениальные сказанья...
Их мечту, любовь и грусть,
Их высокое звучанье
Помним с детства наизусть.

И сроднились мы навеки,
Как с землей своей родной,
С гордым гимном Человеку —
С каждой пушкинской строкой.
Ведь поэт-языкотворец,
Несгибаемый борец,
С нами был всегда как совесть,
Спутник наш и наш отец.
Сколько лет его рассказам
Мир восторженно внимал!
Это он прославил разум,
Свет и солнце воспевал.

Он воспел предначертанье
Нашей русской стороны,
Словно северным сияньем
Им века озарены...
Сколько в нем, с народом слитой
Сердцем всем и всей душой,
Русской силы самобытной,
Русской мудрости большой.
И хранят его портреты,
И твердят его стихи

Лесорубы и поэты,
Моряки и пастухи.

Белой ночью над Невою
Проплывают облака,
И за дымкой голубою
Тихо катится река,
Лодка выплывет на стрежень,
Как певучая стрела,
Словно нож, волну разрежет
Взмах широкого весла.

Полной грудью город дышит,
Льется с туч веселый звон,
Ветер медленно колышет
Сотни флагов и знамен.
Выплывают из простора
Корабли, а за мостом
День и ночь стоит «Аврора»,
Как в дозоре боевом, —
Ведь на вечную стоянку
Здесь поставлена она...

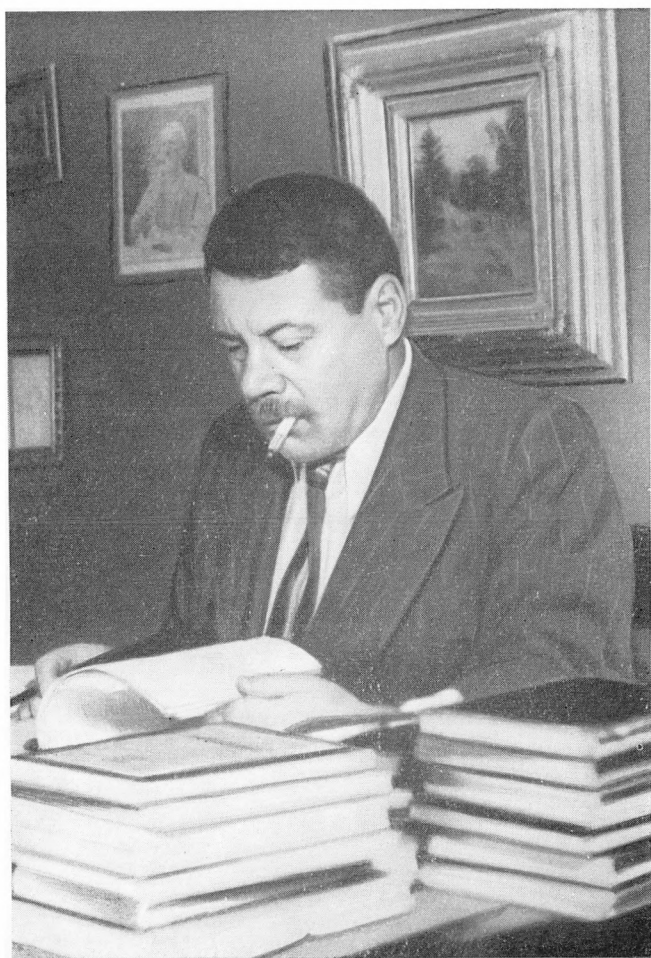
Всходят зори спозаранку,
Даль огнем озарена,
И живет очарованье
Светлых невских берегов
В легком, радостном дыханье
Гордых пушкинских стихов.

«Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов».

1949

184. СУВОРОВ

Зима сорок первого... Враг под Москвой,
Он яростно рвется к столице,
И ночью и днем не стихающий бой
На северных подступах длится.



Мы помним ту зиму, орудий раскат,
Снега подмосковных просторов.
С плаката глядел на советских солдат
Скакавший по полю Суворов.

Когда-то на запад, в чужой стороне,
Где буря давно бушевала,
Спешил он — и Альпы дымились в огне,
И золото Рейна пылало.

В поля, где метель, не стихая, метет,
К нам голос его доносило
Былое столетье с кремнистых высот,
С пылающих стен Измаила.

И в мирные годы дороги страны
Уводят в бескрайние шири,
У скольких героев великой войны
Сияет на старом мундире

Суворова орден, врученный в те дни,
Когда, наводя переправы,
С родными полками шагали они
Путиами суворовской славы!

1950

185—218. ИЗ КНИГИ «ГОЛОС МОЛОДОСТИ»

1

ПОКОЛЕНИЕ

Мы себя, пожалуй, не жалели,
Сил своих совсем не берегли. . .

Второпях свои мы песни спели,
А в чужих напевах не нашли
Силы той, что двигала громами,
Силы той, что управляла нами

В ежедневных будничных заботах
И в больших деяниях земных.

Мы на всех житейских поворотах
Верили лишь в правду дел своих...

Что сказать? Мы очень трудно жили,
Сил своих совсем не берегли,
Мы порой без спросу в дом входили,
Кой-где двери кулаком открыли,
Кой-где, может, невзначай прошли
Мимо счастья тихого и мимо
Ждавшей нас сердечной теплоты...

Но скажи, далекий правнук, ты:
Разве мы не правы, и неужто
Можно было по-другому жить
В наше время, время грозное?
К берегам грядущего доплыть
Можно, лишь забывши о покое.
Молодость свою я славлю вновь,
Громкую, как выстрел, славлю дружбу,
Чистую, как снег в горах, любовь!

<1957>

2

КРАЙ ЛЮБИМЫЙ

Край любимый, слава дедич, отчич,
За кормой тяжелой уходя,
Ты встаешь навстречу дымной ночи
В чешуе последнего дождя.

Жаворонка песню не услышу,
Но услышу среди чужих морей:
Теплый дождик падает на крыши
В тихом крае родины моей.

Пахнет он смолою и грибами,
Пахнет он весеннею листвою,

За такими дальними морями
Хорошо почуять воздух твой.

Родина, ведь ты всегда со мною,
Нет числа всем чудесам твоим,
Потому-то с быстрою волною
Мы сейчас в бессмертие летим!

<1957>

8

В ПОЕЗДЕ

Какое небо! Даль багрова,
Светла степная колея.
С утра большой состав почтовый
Нас мчит в заволжские края.

Весь день, припав к окну вагона,
Гляжу на берег; вдалеке
Мелькают села, мир зеленый,
Плоты и баржи на реке,

Электростанции, заводы,
Мостов могучих крутизна,
И смотрится в речные воды
Квадрат вагонного окна.

Но дальше, дальше... Левый берег
Плывет средь дымной темноты,
И уменьшаются в размере
Селенья, здания, мосты.

Уже зажгли зеленый бакен,
И на просторах день поблек,
И скоро выплывет из мрака
Продолговатый островок.

Прощай, река! Стучат вагоны,
Душиста ночь в степном краю,
И медленно аккордеоны
Ведут мелодию свою.

Что ж, хорошо! Окно откройте,
Неслыханные голоса,
И песню новую пропойте,
Такую, чтобы небеса

С землей в огне перемешались,
Чтоб даже ветер изнемог
И чтоб рванулся сразу парус
В простор пылающих дорог.

Чтоб волжская лихая удаль
Покрепче каменных мостов
Связала воедино Суздаль,
И Васильсурск, и наш Ростов.

Чтоб снова сердце волновали
Неповторимые слова
И ярко пламенели дали
В дни радости и торжества.

Несбыточное, молодое
Чтоб снова мучило и жгло,
Покуда небо заревое
Всё станет до краев светло.

<1957>

4

РАЗДУМЬЕ

Дремлет лодочник у перевоза,
Обступила кругом тишина,
Опушилась недавно береза,
Зеленеет на взгорье она.

Что-то странное нынче со мною...
Это молодость снова зовет
Марсианскою голубизною
Восходящих под звезды высот.

Вся полна она замыслов юных...
Что ж, со мною побудь в тишине.

Снова песню качает на струнах,
Как рыбацкий челнок на волне.

Видишь, радуга там, за мостами,
Осторожно ушла в синеву.
Не старею душой, и мечтами
Я сегодня, как прежде, живу.

Хороши эти майские грозы...
К безудержному буйству манят
Все проселки за тем перевозом,
Где гремел их могучий раскат.

А с небес в эту пору не сходят
Переливчатых красок огни.
Друг мой, стих мой, с тобой мы в походе
И сейчас, как в минувшие дни.

Всё равно, сколько б жить ни осталось,
Будем вместе скитаться и петь.
Хорошо нам с тобой и под старость
В это майское небо смотреть.

<1955>

5

ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ

Знакомая мелодия
Меня из тьмы зовет,
Венгерская рапсодия
Над городом плывет.

И входит в память медленно
Ее напев простой,
Все мы, как было велено,
Тогда спешили в бой.

Давно то было, помнится,
И трудно было нам,
Всю ночь скакала конница
По снеговым степям.

И нежная мелодия
В далекий путь звала,
Венгерская рапсодия
Медлительно плыла.

В немеркнущем сиянии
Блестел в потемках снег,
Ее очарование
Нельзя забыть вовек.

И давней ночью снежную
Она вела вперед,
Печальная и нежная,
Что в памяти живет.

Забуть ли, темноокая,
Ведь всем ты нам родна,
Венгерская, далекая,
Чужая сторона.

Ведь вместе с Матэ Залкою
В поход ходила ты,
И давнею закалкою
Сроднили нас фронты.

Во всем твое подобие,
О молодость моя,
Венгерская рапсодия
Зовет из забвения.

И виден ночью лунною
Над Будапештом свет,
То наше время юное
Встает за далью лет.

Знакомая мелодия
Опять из тьмы зовет,
Венгерская рапсодия
Над городом плывет.

<1957>

ВОСПОМИНАНИЕ

Поземка поздняя метет,
 И небо, как огромный плот,
 Сверкая звездами, плывет
 Над вологодскими лесами.
 Хоть двести лет еще мне жить,
 А эту ночь не позабыть
 С ее глухими голосами.

Она гремела, и звала,
 И пела, торопясь, по-птичьи,
 И для меня она была
 В нетленном блеске и величье.

Она вдруг за руку взяла —
 И зубы стиснул я от боли —
 И непреклонно повела
 Большим путем военной доли.

Был начат в юности поход,
 Он к старости еще не кончен,
 Из дали времени зовет
 Большой простор минувшей ночи.

И потому в душе моей
 Всегда живет одна забота:
 Туда идти, где тяжелей,
 Как шли на амбразуру дота.

<1957>

Мы любили друзей, и чем дальше
 От России страна их была,
 Тем врывалась стремительней в марши
 Та любовь, что нам сердце прожгла;

Тем мы ждали восторженной встречи,
 Тем тревожней глядели в окно,
 И недаром в далекий тот вечер
 Всё сиянием озарено.

Как порывисто было начало
Разговора с друзьями в тот год
И что к сердцу тогда подступало —
Только друг и ровесник поймет.

Англичане, французы... Про Лондон,
Про Париж разговоры идут...
Обещанья уверенно, гордо
Повторяет нам ласково тут
Невысокий француз в рыжеватом
И потрепанном сильно пальто...
В комсомольском кругу дипломатом
Не держал себя, право, никто.

Мы восторженно долго шумели,
По-французски с грехом пополам
Напоследок мы песню запели,
И француз наш расплакался сам.

Что с ним стало потом? Непонятно.
Только к нам из далекой земли
Почтальоны седые обратно
Наши письма несли и несли.

Мы в газетах чужих прочитали
О расстрелянном друге рассказ...
Сколько было и слез и печали,
Обо всем не расскажешь сейчас...

Но недаром с рассветною новью
Ждем к себе издали друзья:
Ведь мы платим за дружбу любовью,
А придется — и кровью своей.

<1957>

8

ЗНАМЕННЫЙ ЗАЛ

Вхожу с друзьями в зал краснознаменный
И вот опять нежданно узнаю
На тихой переключке поименной
В холодный вечер молодость мою.

Она спешила в жаркий день Чонгара,
Озарена лишь слабым светом звезд,
Ползла в крови по плитам тротуара,
Перед атакою вставала в полный рост.

Чего она в боях не испытала,
Где не бывала в правоте атак!
Горит над ней простреленный и алый,
В сраженьях многих побывавший стяг.

Нет украшений никаких на нем —
Ведь шли мы в бой не под раскаты маршей, —
Но на поверке он горит огнем,
Весь в чистой славе молодости нашей!

<1957>

9

ТРУБАЧИ ПЕРВОЙ КОННОЙ

Легенда

Лишь вечер настанет, дорогой степной
Над берегом конники скачут,
И медные трубы, одна за другой,
То громко смеются, то плачут.

И в долгие летние ночи они
Летят под малиновым стягом
Везде, где сражались в минувшие дни, —
По рыжим степям, по оврагам.

Хоть кони донские всегда хороши,
Но эти — особенной масти,
И песню играет трубач от души
И всем ее дарит на счастье.

И ветру могучих коней не догнать —
Летят по просторам России...
И Первую Конную славят опять
Ее трубачи молодые.

И реют, как птицы, на резком ветру
Пробитые пулями стяги.
И всадники скачут на вечном смотру
По слову военной присяги.

<1955>

10

Три струны всего у балалайки,
Но широк ее размах большой,
Взмах руки, и пролетают чайки
С набежавшей песенной волной.

Парень укорачивает струны,
Прижимает крепко их к ладам,
И плывет напев простой и юный
По окрестным паркам и садам.

Слушаю его — и молодею,
Прохожу по саду налегке,
Все-то, видно, знает и умеет
Парень с балалайкою в руке.

Дай и мне к струне твоей певучей
Прикоснуться медленно рукой,
Может, прозвучит еще получше
Песенка, придуманная мной.

1949

11—12

ИЗ СТИХОВ О СТАРОЙ СИБИРИ

1

Есть в лесу особый, пряный запах,
А куда ни кинешь взгляд — снега.
На сибирских, помнится, этапах
Так же пахла зимняя тайга.

Одежкой рваную согретый,
На зимовье, где горит огонь,

Гармонист кудрявый до рассвета
Торопил задорную гармонь.

А в тайге унылый звон кандалный
Слышался вечернею порой
На тропе заброшенной и дальней,
Уводящей в омут снеговой.

Там снега долины все устлали,
Там раздолья бешеной пурги,
Кедры придорожные рыдали,
Издавека слышались шаги.

Голоса в тумане, и нагайки
На ветру оледенелый свист, —
Говорят жандармы без утайки,
Как погиб от пули гармонист.

Лишь теперь, со временем, с годами,
Понял я, как был тот путь тяжел...
Каторжными долгими путями
Там буран кандалных в стужу вел...

<1957>

2

АГРАФЕНА ДОРМИДОНОВНА

Огнями холмов называются звезды
На бегущей к морю сибирской реке.
Там очень густой, удивительный воздух
И утки таятся в густом лозняке.

К вёдру комар толчется, вызванивая,
Прямо на медведя летит, не таясь.
Какого вы имени, какого звания,
Чьи будете вы, комариный князь?

Проезжий лошади́к на ярмарку мчится,
Конь ступит в болото — и со страху храпит...
Во дворах постоянных вовек не приснится,
Чем славится город Ирбит.

А чем же он славен, скажи между нами?
Так-то Ирбит не виден собой...
Твоими глазами, твоими бровями,
Аграфена Дормидонтовна, твоею красой...

Повадкой твоею, когда ты в пляске
Плывешь по земле — словно лебедь летит, —
И люди завидуют, будто в сказке...
Вот чем славен город Ирбит...

<1957>

18

НАДЕЖДА

Всё мне кажется, пишутся где-то
Те стихи, что мой внук затвердит,
И в тетрадь молодого поэта
Великанское утро глядит.

Начинает он дело большое,
За которое браться — беда,
Знать не будет он сердцем покоя,
Не узнает вовек, никогда,

Что такое довольство собою.
Днем и ночью мучительный труд.
Он дорогой пройдет стиховую,
Как по горным вершинам идут.

Альпинисту ведь все-таки легче:
Взял вершину — садись, отдохни.
А ему и укрыться-то нечем,
Ведь на сердце не будет брони.

И придется сесть молодому
И за жизнь кровью сердца платить,
Потому что вовек по-другому
Стихотворцу не следует жить.

Тяжело? Мне еще тяжелее,
Хоть я только прохожий, — не трус,

Приходи, приходи поскорее,
Первым низко тебе поклонюсь.

Приходи, приходи поскорее,
Приходи же в родительский дом,
Что зовется отчиной... Стареют
Без тебя мастера над стихом...

<1957>

14

ПЕСНЯ

Зима, и повсюду сугробы,
И всюду костры на пути,
И надо помучиться, чтобы
По старому лесу пройти.

Всё кажется нынче легко мне,
Хоть щеки мороз мне обжег, —
Ведь снова я молодость вспомнил,
Услышал ее говорок.

И вышел я в ночь снеговую,
Надел нараспашку пальто,
Я песню придумал такую,
Какой не придумал никто.

Я всё ее нежу и холю,
Держу под руками в тепле,
Я дал ей и разум, и волю,
И право бродить по земле.

Впервые она оглянулась,
И нет, не печалит ее
Моя бесприютная юность,
Беспутное счастье мое.

Иду я в заветные дали,
Где небо в вечерних кострах,

И старость ее не печалит
С лихой сединой на висках.

Ведь с песней заветной, покуда
Живу на земле снеговой,
По свету скитаться я буду,
Всегда она будет со мной.

<1957>

16

ЛЮБИМАЯ КНИГА

Как ржаную ковригу,
В свои руки беру
И держу эту книгу
На холодном ветру.

Сладко бродит в ней солод,
Теплый запах ржаной,
Стих по-прежнему молод,
Стих совсем молодой.

И звучит в нем дерзанье,
Разговор озорной,
В каждом слове — сказанье
О сторонке родной.

Жить тебе, жить не старясь,
Каждой строчкой своей,
Будешь вечно как парус
На просторах морей.

Подымать за собою,
Как могучий прибор,
Вечно звать к непокою
На гряде огневой.

<1957>

БАГРИЦКИЙ

Тридцатилетье с той поры прошло,
С тех дней тридцатилетье миновало,
Взгляну назад — становится светло,
И вижу всё — от земляного вала,

От нашей первой встречи до того
Последнего простуженного часа,
Когда в снегах проезда твоего
Сто конников тебе навстречу мчатся,

Чтоб выручить, чтоб вырвать, чтоб спасти,
Чтоб гроба не было на колее знакомой...
Но встретили нежданно на пути
Усталого седого военкома,

И безнадежно он махнул рукой,
И стало тихо в каменном проезде,
Где слабый свет разорванных созвездий
Струился слабо теплою зимой.

Но не созвездья помню — тихий дом,
Где пел ты, сидя на тахте широкой,
И говорил мне иногда с трудом
О зрелости, до боли одинокой...

А мальчики-поэты — те всегда
К тебе стучались с первыми стихами...
И проходили дружные года,
Перекликаясь на рассвете с нами.

Но бьют часы. Уходит человек.
Другой глядит печальными глазами
И маленьких двух рыбок прямо в снег
Роняет вдруг дрожащими руками.

Они поэту не нужны теперь...
Напоминает сердцу о печали
Распахнутая настезь дверь
В ту комнату, где песни отзвучали.

1957

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЗАМЯТИНА

«Твой до земельки той», — мне написал,
как брату.

Промчались года — и те сбылись слова,
 И тяжела недавняя утрата,
 И наша встреча в памяти жива.

Он был моложе, и по всем законам
 Казалось мне, что я скорей умру,
 И вот стою на кладбище зеленом
 В ненастный вечер на сыром ветру.

И вспомнились все обещанья разом...
 Да, если друг не кончил песнь свою,
 Я за него допеть ее обязан...
 Что ж, если нужно — значит, допою.

И не моя, конечно, в том заслуга —
 Моих друзей, товарищей моих...
 Ведь если рядом теплый голос друга,
 Звучит душевней каждый новый стих.

<1955>

БЕЗЫМЯННАЯ СТРОКА

Примета времени живая —
 Та задушевная строка,
 Что и сейчас не остывает
 И весь свой жар несет в века.

Каких страстей, каких предчувствий,
 Каких надежд она полна!
 Она с тобой в минуты грусти,
 Она и в бой вести должна.

Ее услышишь ты однажды
 И позабыть не сможешь век,
 Ее в пути повторит каждый
 Хороший сердцем человек...

Кто написал ее неожиданно?
Чья вывела ее рука?
Не знаю... но и безымянной
Та задушевная строка

Живет в богатстве русской речи,
В певучем слове, и всегда
Твой озаряет путь далече,
Как путеводная звезда.

<1955>

19

Я никогда не добивался славы
И для того на свете, может, жил,
Чтоб в поздний вечер юноша кудрявый
Мои стихи пред боем повторил.

<1957>

20

Что ж, муза, как у нас дела?
Всё то же ль над тобой сиянье?
Пока ты без меня жила,
Я мучился и ждал свиданья,

Но беспокоить не хотел,
Да и не мог. По телефону
Не разберешь всех наших дел,
Звучащих неопределенно.

Писать? Но что-то не писалось,
Не осуди меня, пойми.
Зато сегодня всё осталось
За отдаленными дверьми.

Как будто у тебя в опале
Я был и, видишь, старым стал.
Покуда мальчишки кропали
Стихи, я вовсе не писал.

Я помню, помню, по весне
Неслышно, легкими шагами,
Ты приходила петь ко мне
Порой бессонными ночами.

И вот сегодня по-былому,
Я слышу, в ширь твоих высот
Заветный, мне навек знакомый,
Твой голос вновь меня несет.

<1957>

21

Есть чудесный цветок, он под снегом цветет,
Он под снегом цветет у арктических вод.

Не подснежник зовут его, а снеговик,
Я к его лепесткам в годы детства привык.

Мне неяркая прелесть его дорога,
Пусть бушует в неслыханной стуже пурга,

Пусть она все дороги в снегах заметет, —
А чудесный цветок и под снегом живет!

<1957>

22

ДЕНЬ

Нет, не вечер стучится к нам в окна,
А суровое утро зовет.
Ведь пронесся рассвет мимолетно,
И — гляди — уже день настает.

У дороги березка промокла,
Вся нахохлилась, страшно взглянуть.
Сквозь цветные, узорные стекла
Я гляжу на свой пройденный путь

И прошу об одном — чтобы время
Нас учило по-прежнему жить,
Чтоб я был, как и прежде, лишь с теми,
Кто пришел созидать и творить.

Чтоб друзья и под градом свинцовым
Никогда не пошли бы вразброд,
Чтобы в книгах товарищей слово
Продолжало свой верный полет...

<1957>

23

Неотвратимая, необоримая,
С оканьем медленных северных рек,
Что бы ты мне ни сулила, любимая,
Не отрекусь от тебя я вовек.

<1955>

24

Ты знала мое пристрастье
К той мельнице на реке,
Туда ты звала в ненастье,
И всё звенел вдалеке
Подаренный мной на счастье
Железный браслет на руке.

Его мастера в Кокчетаве
Чеканили в давний год,
Стихи нараспев читали
О том, что любовь пройдет...

Темной ночью я шел в ненастье
К пересохшей степной реке,
И подаренный мной на счастье
Всё звенел браслет вдалеке.

Хоть, бывало, не звезды светят,
А мерцающий жар костров,
Я в тревоге спешил на этот
Неизменно веселый зов.

Что бы в жизни со мной ни случилось,
Всё равно, тут сомненья нет,
Ты меня позовешь под старость,
Вдохновение прежних лет.

<1955>

25

К Могутовским лесам подъезжаю, бывало,
На холодном закате и вдруг узнаю
Издали мелькнувший цветной полушалок
И такую простую улыбку твою.

И покажется мне, за песками горячими
Мне последняя встреча с тобой предстоит,
Где заря в этот день над холодными тучами
Занялась в поздний час, и горит, и горит.

1957

26

Просил сберечь — не сберегла,
Просил любить — и разлюбила,
Но всё же капельку тепла
Ты в сердце у меня забыла.

И мне не холодно, хотя
Обжег морозом ветер жесткий,
Хотя уже настал октябрь
И жгут костры на перекрестке.

И, всем запретам вопреки,
Во всем — твое очарованье,
Везде — тепло твоей руки
И легкое твое дыханье.

<1957>

27

Что грядущие годы готовят?
Что назначено дальше судьбой?
Всё мне кажется, стих — это повод
Для негаданной встречи с тобой.

260

Голос твой издалека мне слышится,
И, как прежде, дорога светла,
И легко мне и радостно дышится,
Словно молодость снова пришла.

<1957>

28

Ты, грустя, глядишь прищурясь
На встающий вдалеке
Весь разгон широких улиц,
Убегающих к реке.

Чем сейчас тебя утетишь?
Почему, скажи, тайком
Ты небрежно кудри чешешь
Синих молний гребешком?

Иль томит тебя зарокотом
Замутившая глаза
На лугу, лугу далеком,
Прогремевшая гроза?

Вновь дорога, всё дорога
В староотчие края,
Несмеяна-недотрога,
Собеседница моя.

Что ж сейчас ты горько бредишь?
Ведь к далеким берегам
Не по снегу ты поедешь,
А по клеверным лугам.

А о чем мы говорили,
Позабуду я, пойми,
Небылицы или были —
Всё осталось за дверьми.

Сердцу стало вдруг желанно
Лишь несбыточное... Пусты!
А пора придет, нежданно
Повторю я наизусть

Все слова любви... Дорога
В староотчей стороне,
Несмеяна-недотрога,
Приведет тебя ко мне.

<1957>

20

ОСЕНЬЮ

Как изменчивы русской природы
Все неяркие краски, и мне
Посчастливилось здесь — через годы
Снова вижу тебя в тишине.

А дорога легла приворотом
По лугам, перелескам, болотам,
По борам и березовым чащам,
И куда она мчится теперь?
Разве людям вверяется счастье
Без разбитых надежд и потерь,

Без раздумья, пришедшего поздно,
Без тяжелых утрат вдалеке,
Без мучительной боли в склерозной,
Потрудившейся крепко руке?..

<1957>

80

НОВЫЙ ГОД

Новый год я встречал в небольшом городке за Окою,
Там по снегу пройдешь — и покажется ночью такой:
Чуть на цыпочки встанешь — и звезды заденешь рукою...
Что ж, а встретиться здесь доведется ли нынче с тобой?

Говорят, что Ока — это чье-то былинное имя,
Что кочевники дали ей имя седого вождя,
Ну а как же мне быть в эту ночь с городами твоими,
Как назвать их теперь, сквозь ночную метель проходя?

Как любил я тебя! Лишь сегодня почувствовал это
И, нахмуясь, стою в обступившей кругом тишине.
И любовью былой мое старое сердце согрето,
И такой молодой возвратилась ты снова ко мне!..

<1957>

81

А меня ты, горячка, забыла,
И забыла все клятвы свои,
И поэтов плохих полюбила,
Тех, что пишут в поту о любви.

Приходи же ко мне на мгновенье
С жарким ветром давнишних стихов,
Ты нужна мне, как сердцебиенье,
Ты нужнее всех песен и слов.

<1957>

82

ГДЕ ИСКАТЬ ТЕБЯ...

Ты как тень в моей жизни мелькнула...
Та же комната с узким окном,
С гнутой спинкой высокого стула,
С побелевшим кустарным ковром.

Только нету тебя, и как будто
О минувшем короткий рассказ
Оживает опять на минуту
В блеске синих, прищуренных глаз.

Нас надолго судьба разлучила,
И разлука давно обожгла,
Только сердце мое не забыло,
Чем в те дни для меня ты была.

Предо мной ты в грозу появилась.
Как забуду те трудные дни?..
Отзовись, прояви ко мне милость,
Снова руки ко мне протяни.

Где искать тебя? В зареве диком?
В реве ветра? В минувших годах?
В Белозерске? В Ростове Великом?
Иль в старинных других городах?

Ты надеждой меня окрыляла,
Открывала мне сотни путей,
И всего, что мной сделано, мало
Мне сейчас без улыбки твоей.

<1955>

83

ТЕБЕ

Нет, я тебя такой оставлю в памяти,
Какою ты была давным-давно,
И вижу вновь: встает из белой замети
Неярко освещенное окно.

В провинциальном городке метелица,
Перебегает улицы она,
И пышный хвост за нею долго стелется.
Округа снегом вся заметена.

Пока метель за лунным светом гонится,
К окошку я украдкой подойду.
Как в доме тихо... В невысокой горнице
Лишь стопка книг сегодня на виду.

И ты сидишь, задумчивая, тихая,
С подругою беседуешь... О чем?..
Часы стенные ходят, мерно тикая,
И, словно в сказке, дремлет старый дом.

Твоей рукой до строчки переписаны
Все первые стихи мои в тетрадь.
Ты в юности была мне другом истинным,
Зову тебя: «Приди, приди опять!»

Ведь надобно тебе поведать многое
О том, что было на земных путях...
И ты придешь, задумчивая, строгая,
С лесным цветком в седеющих кудрях.

<1955>

31

ПЕСНЯ

Свод небес чистым золотом вышит...
Замечательна эта зима...
Если песню о ней не напишут,
Знаю, песня родится сама.

Где-нибудь на просторе далеком,
На полярной зимовке она
К синеве незавешенных окон
Из высокого рвется окна.

Перед ней — берега океана...
Только что ее крыльев быстрей?
И летит она вдаль, чтоб нежданно
Приютиться в тетрадке твоей.

С нею день несказанно огромен...
Где мелькнет она — станет светло.
Над немеркнущим пламенем домен
В синеве зазвенело крыло.

Что же, гостя заветная, здравствуй,
В нашем праздничном доме живи,
Мы зовем тебя попросту счастьем
И своей не скрываем любви.

...И поет она в лунном сиянье,
И звенит, и торопится жить
В том, еще неизвестном, деянье,
Что тебе суждено совершить.

1947

1

ЛЕНИН

Ленин жив, он с нами, он не умер,
Он доныне в каждом дне работ,
Он доныне в каждой нашей думе,
В каждом нашем помысле живет.

Мы идем, природу покоряя,
Как велел он, подымая новь...
И живет в сердцах к нему большая,
Верная сыновняя любовь.

Современник века-великана,
Узнавал я Ленина черты
В сводках цифр строительного плана,
В городах безмерной красоты.

С каждым годом ярче и светлее
Песни, что народ сложил о нем,
Слышал я их в цехе и в траншее,
На полях страны и под огнем.

Ленин жив, он с нами, он не умер,
Он доныне в каждом дне работ,
Он доныне в каждой нашей думе,
В каждом нашем подвиге живет.

<1948>

2

ХОДОКИ

Каждый вечер в Смольном ходоки.
Строгие, задумчивые лица.

«Как у нас теперь насчет землицы?» —
Спрашивают громко мужики.

И откуда только не приходят
С тощими котомками, в лаптях!
Молча взглядом комнату обводят,
Что-то ищут подолгу в углах.

«Что, родные?»

— «Как же без иконы,
Да и ты, гляди-ка, не одет,
Как царю положено...»

Зеленый

Льется в окна издалека свет.

И смеется Ленин:

«Что вы, право,
Вздумали меня равнять с царем...»

— «Да, прошла везде такая слава,
Что сравненья сразу не найдем.
А как звать тебя, скажи?»

— «Владимир...»

— «Ну, а как же отчество?»

Сказал...

Посмотрел в окно, а небо в дыме,
День уходит, пасмурен и ал...

Ходоки заговорили снова:

«Мы тебя простецки назовем,
Коль позволишь, как отца родного,
Значит, просто слово, Ильичем.

Неудобно в сыновья проситься,
Дожили ведь до седых волос...»

...Но с тех пор уж так и повелось,
Так уже в народе говорится...

<1957>

ВСТРЕЧА

Огромный зал был переполнен,
И кто-то, выйдя из рядов,
Нежданно Ленину напомнил,
Что в этом зале Шелгунов.

«Где он?»

— «Вот этот, с бородою,
В косоворотке и очках».

— «А, помню, силой молодою
Хвалился, что была в руках».

— «Он и сейчас силен... Но зренье...
Ведь он давно уже слепой».

— «А нашего ж он поколенья...»
И вдруг, слегка взмахнув рукой,
Ильич президиум покинул —
И прямо к Шелгунову в зал.

Слегка нагнул, сутулясь, спину,
Поцеловал его, обнял.

Взглянул в глаза его слепые
И вспомнил даль ушедших лет,
Когда забрезжил над Россией
Незабываемый рассвет.

Была та жизнь им не по нраву...
И, думой полные одной,
Припомнили, грустя по праву,
Сегодня Невскую заставу
Ильич и друг его слепой,

Собрания кружков рабочих,
Конспиративную страду
И свет далекой белой ночи
В навеки памятном году.

<1957>

ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ В ПЕРВЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ

Ночь исторической была,
Ее в веках гремела слава,
Она костры кой-где зажгла,
И сохранить чуть-чуть тепла
Решила Нарвская застава.

Уж очень холодно сейчас.
Едва лишь выйдешь, ветер сразу
В балтийский холод тащит нас,
Не подчиняется приказу
Красногвардейский штаб в ночи,
Ненастной, темной и туманной.
Порой бегут вокруг лучи —
Фонарик вдруг зажгли карманный.

И всё же нынче не найти
Тут красоты необычайной.
Обыкновенный медный чайник
Сюда решили занести,
Сюда, где дым пороховой,
Где караулы по уставу
Оберегают всю заставу
Вот этой ночью грозовой.
Топилась печь. Картошка что-то
Уж очень долго на огне
Варилась... Вдруг прошел в ворота
Ильич... И сразу в тишине
Оборвались слова большие
И смолк нежданно чей-то бас.
Ведь то, что скажешь, всей России
Отсюда слышно в этот час.

И все растерянно глядели,
А старенький мастеровой
Промолвил: «Мы поесть хотели,
Садись, Ильич, садись, родной. —
Смущенно почесал затылок. —
Уж ты не очень-то сердчай,

Тут есть приходится без вилок,
Руками прямо забирай».

Ильич в ответ:

«А ведь с рассвета
Ни крошки не было во рту,
А что без вилки, так ведь это
По-фронтовому...»

На посту
Стоящие вдвоем у дома,
Волнуясь по-молодому,
Друг другу шепчут впопыхах:
«Обрадуются же в цехах,
Ведь председатель Совнаркома
Сегодня сам у нас в гостях!»

Поел Ильич. Недолги сборы.
Пора и в путь. Со стариком
Он, прерывая разговоры,
Простился просто и потом
Спросил:

«А власть-то мы удержим?»

Старик, подумав, говорит:
«Ответить вам могу теперь же,
Тут дело просто обстоит:
Раз взяли власть по нашей воле,
Так надо будет отстоять».

Ильич прищурился. Доволен
Его словами. И опять
Машина быстрая сквозь ветер
Несется городом ночным.

«С такими можно жить на свете:
Раз взяли — значит, отстоим».

<1957>

РУКОПОЖАТИЕ ЛЕНИНА

У Смольного в ненастный час разбушевался ветер,
словно
 Его веленья выполнять должны везде беспрекословно,
 С лабазов крыши он срывал и тучи гнал в морские дали,
 Вдувал на море паруса, и паруса тугими стали,
 И путник, сбившийся с пути, шагал, не выпрямляя плечи,
 А штормовой сигнал горел над Балтикою в этот вечер,
 Маяк плавучий всё мигал глазком зеленым над заливом,
 На берег шёл девятый вал предвестьем радостно-
счастливым.

Стоял в тот вечер на часах
 Из Костромы солдат,
 Не то чтоб, скажем, староват,
 А все-таки в годах.
 Растут ребята далеко,
 Давно не видел их.
 Всё на дорогах фронтовых...
 И стало нелегко
 Ему теперь в полку служить.
 Вернуться б в отчий дом —
 Пахать, косить, детей растить
 В своем краю лесном.

Но власть Советов молода, кругом врагов еще немало,
 Всего недели две назад она на этом месте встала,
 И много дела у нее, большие у нее заботы,
 Сейчас никак не обойтись советской власти без пехоты.
 Так, значит, надо на посту стоять и здесь нести охрану,
 Забыв на время про семью, про старую сквозную рану.
 И Ленину ведь нелегко, работает и днем и ночью,
 Всегда он трудится для нас, мы это видели воочью.

Раскинет всюду крылья ночь,
 Зажгутся звезды все,
 Мелькнет машина на шоссе
 И унесется прочь.
 А ветер злой сбивает с ног,

Летит из мокрой тьмы,
А всё, за что боролись мы,
Исполнится в свой срок.
И станем по-другому жить,
Вернемся мы домой —
Пахать, косить, детей растить
На стороне лесной.

А на посту солдат стоит и в тьму ночную смотрит зорко,
Набухла от дождя шинель, и вся намочла гимнастерка.
Вдруг человек во тьме мелькнул, прошел по площади
раздольной,
У входа постоял... Потом неторопливо входит
в Смольный.

«Товарищ Ленин, вы отколы?»

— «Вернулся только что с завода,
Хотел пройтись немного, но не разгулялася погода.
Ну что, годок, а как дела?» —

протягивает руку Ленин.
И часовой ему свою дает с тревогой и волнением.

Не по уставу... часовой...
Что скажет после разводящий?
Но сердце бьется чаще, чаще
Сейчас от радости такой.
Ведь Ленина рукопожатье
Солдат запомнит навсегда.
Настанет мир, пройдут года,
Он всем расскажет без изъятия,
Как в Смольном выпало служить,
Вернется в отчий дом —
Пахать, косить, детей растить
В своем краю лесном.

<1955>

6

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

...А в московском Кремле еще Ленин в те дни
Совнаркома готовил декреты,
И приходят сегодня на память они,
Все теплом его сердца согреты.

Помню, «Правду» берешь и читаешь статью,
Что написана им накануне,
И мечтаешь о том, чтобы юность свою
Всю отдать безраздельно коммуне.

Эти грозные годы давно отошли,
Но свежи и мечты и утраты,
И записаны в летопись Русской земли
Величавые, светлые даты.

И, как верный свидетель тех лет грозных,
Неприметный участник походов,
Я оставлю потомкам правдивый мой стих,
Оживут в нем двадцатые годы!

<1955>

7

ГОСТЬ В КРЕМЛЕ

Гость в Кремле...

И курит на площадке,
Весь седой, сибирский партизан
С ярко-красной ленточкой на шапке;
Он ходок от земляков-крестьян.
Дома ждут друзья и домочадцы,
Телеграммой шлют ему поклон.
И пришел сегодня попрощаться
С Лениным перед отъездом он.

Докурил, недолго ждал в приемной,
Дверь открылась, входит в кабинет.
«Ото всей деревни нашей темной
Я, Ильич, привез тебе привет».

— «Темнота пройдет! Откроем школы,
В деревнях повсюду свет зажжем...»

Не забудешь этот взгляд веселый...
И старик беседует с вождем.

Разговор уже к концу подходит,
Партизан, помедлив, говорит:

«Думка есть еще одна в народе,
Мне ее исполнить надлежит.
Сохранить хотим мы нашу память,
Благодарность нашу от души,
И при жизни памятник поставить
Ты деревне нашей разреши.
Кто проедет мимо иль прочитается,
Памятник увидит за рекой,
Ленина узнает, прослезится
Завсегда от радости такой».

Эх, не то промолвил, видно, слово,
И ошибся, стало быть, земляк...

Смотрит Ленин на него сурово:
«Стар ты, дед, а говоришь не так.
Мне не нужен памятник при жизни,
Почестей себе я не ищу...»

И, услышав эту укоризну,
С новой просьбой старей к Ильичу:

«Детский дом позволь тогда построить...»

— «Это дельно! Очень хорошо!
Будут дети в холе и покое...»

Тут старик простился и ушел
Из Кремля с улыбкою счастливой.

Детский дом построил за рекой
Он в двадцатом. И сады и нивы
Окружают памятник живой.
Самовольно масляною краской
«Ленинского имени детдом»
Написал он на стене с опаской.

«Вдруг придется говорить с Кремлем?
Вдруг припомнит Ленин с укоризной?
Что ж, он смело встретится с вождем».

...Ставил он не памятник при жизни —
Детским счастьем полный, светлый дом.

<1955>

226. МАЛО!

Всё меняется в веке двадцатом,
В блеске рвущихся к Марсу ракет,
Белой ночью взрывается атом,
Возникает невиданный свет.

Как загадочно их измененье...
Смотрит старый седой человек,
Долго молча следит за теченьем
Бесконечных космических рек,

За сверкающей в небе ракетой,
Убегающей прямо к Луне...
Ведь свершается полночью этой
То, о чем он мечтал в тишине.

Только чувствует: сердце устало.
Лопнет где-то мельчайший сосуд...
И покажется: сделано мало,
Слишком медленно время шагало,
До Луны лишь огонь донесут...

А мечтал, что другие планеты
Покорят — и при жизни его...
Жалко всё же расстаться со светом,
Не увидевши то торжество...

<1957>

227. РЕВОЛЮЦИЯ

Я — твой поэт, Революция,
Я — твой поэт навсегда,
Везде твои песни льются
И светит твоя звезда.

Я шел за тобой без страха
И честно тебе служил,
И мощь твоего размаха
Всем сердцем я полюбил.

Я — твой поэт, огнеликая
И вечно глядящая в даль,
Простая в труде, великая,
Чье сердце тверже, чем сталь.

В мужестве необоримом
Никто не сравнится с тобой,
И годы проходят мимо,
Исчезая в мгле голубой.

Родина и Революция
Навеки в слове одном,
И песни о них поются
В любимом краю моем.

Ты строишь светлые зданья,
Ведешь миллионы в бой,
У народа — одно призванье:
Всегда быть вместе с тобой.

Тебе я служу, любимая
И светлая, до конца,
Вовеки непобедимая,
Как твоих сыновей сердца.

<1957>

**ПОЭМЫ
И
ПОВЕСТИ В СТИХАХ**

228. СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

Эту горную цепь называют давно Кирчхловани,
На холодной заре золотые дымятся зубцы,
И предание есть, будто там, где тропа великанья,
Три столетья уже и поют и пируют отцы;

Будто ходит по кругу бараний особенный рог,
В нем ячменная водка, стародавнее горькое пойло,
В этот сумрачный край нет ни троп, ни проезжих дорог,
Там цветы не растут и трава жестковата, как войлок;

Будто древний охотник на туров в том крае погиб...
И следы его видели в полдень старинные люди,
И сложили рассказ, и мечтали порою о чуде,
И искали в горах, где тропы заповедный изгиб.

Но вернуться не мог он: погиб или просто остался
Доживать свои дни в этих черных расщелинах скал,
И поют старики о великом мученье скитальца, —
Я рассказы о нем на полночном привале слышал.

Что-то русское сердце влекло в эти черные горы —
От медлительных рек, от степей, где шумят ковыли,
От равнины седой, уходящей в глухие просторы,
От песчаника злого владимирской нищей земли.

И недаром теперь столько песен слывет о Дарьяле,
И недаром отцы про погибельный пели Кавказ,
На привале ночном, где пожары зари догорали,
Повторяли порой про дружинников русских рассказ.

Был тот вечер в горах словно тихое стойбище сказки,
Неба черный клочок над моею темнел головой,
И паслись наверху облака разноцветной окраски,
Как овечьи стада, уходившие в край голубой.

В той ночной тишине грозный гул, словно рушится
поезд:
То с обрывов летят, как дикарские стрелы, ручьи, —
Где же древний охотник? Вовеки не кончится поиск.
Где твой лук молодой? Где каленые стрелы твои?

Много песен у нас о грузинской царице Тамаре, —
Что же, сыздавна славилась горного края краса.
Во Владимир Залесский, с облаками пролетными гари,
Где на синих озерах кропила заря паруса,

Где с далекой поры гости бредили Суздальской Русью,
О Тамаре пошла с опаленного юга молва.
Молодой русский князь всё мечтал о красавице с грустью,
Возле кротких березок твердил роковые слова.

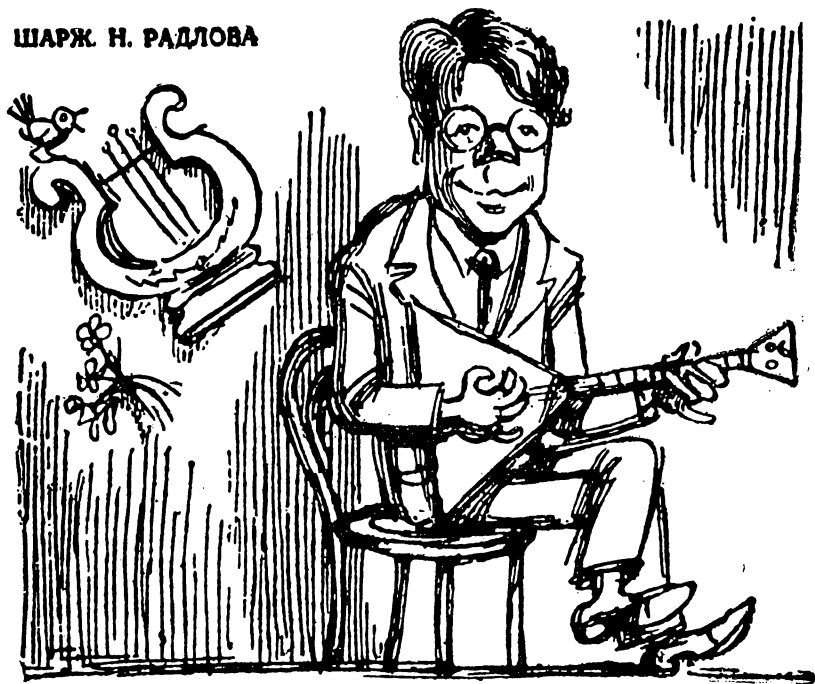
Отшумел листопад, и на юг снарядили посольство,
Все леса, да пески, да покрытые чернью поля,
Сотни рек перешли, и нежданно становится скользко,
Горы выросли вдруг, словно горбится с гулом земля.

И рассказы дошли до родного Залесья, до самых
Отдаленных погостов, где бьют родники и ключи,
Что царица Тамара в ущелье построила замок,
Где слуга-эфиоп носит огненный пояс в ночи.

Князь уехал туда, стал он мужем Тамары-царицы.
Далеко во снегах меркнет пасмурный суздальский день,
В заповедном ущелье звезда голубая таятся.
То ли облако там? То ли сосен высокая тень?

Только время прошло — полюбила Тамара другого.
Что же, в пропасть лететь? Или пить, как вино, забытьё?
Не нашлось ему ни ответа, ни песни, ни слова, —
Он с войсками пошел на прославленный город ее.

ШАРЖ Н. РАДЛОВА



„Я РЕШИЛ ПЕРЕЙТИ НА ПРОЗУ“

Воевал он с женой, но томила любовная мука,
Вспоминались ему и улыбка, и тонкая бровь,
Вспоминалась Тамара, всё видел он узкую руку,
Видел крашенный рот, напевавший порой про любовь.

А потом он ушел в эти горы, где гнут Қирчхловани
Золотые зубцы, словно гребни стены крепостной,
Где проносятся туры и красного света мельканье
Ослепляет глаза за высокой узорной стеной.

Мне старик говорил, что в году позабытом, далеко
Там охотник скакал, подымающий к небу копьё.
Если гром громыхает в безоблачном небе высоком —
Это он говорит, повторяет он имя ее.

Но настанет пора, распадется во мраке громада,
Станут копьями вдруг золотые зубцы этих гор,
И в полуденный зной упадет на долины прохлада —
Это всадники с ним пронесутся в бескрайний простор.

Никогда не умрут те, чье сердце любовью горело.
Хоть проходят века — и крошится на солнце гранит, —
Их копьё не возьмет, не пробьют их каленые стрелы,
Их, как солнце в огне, беззакатное время хранит.

<1938>

229. ИВА

1

Степь легла от Оренбурга
Голубой межою,
Туча черная, как бурка,
Висит за рекою.

Далеко в степи кайсацкой
Ковыльное поле,
А попутчик машет шашкой,
Поет он о воле.

Иль увидел он в долине
Аул неприметный?
Ночь над озером раскинет
Шатер разноцветный.

Звезд на небе очень много,
Да не легче горю,
Пролегла в песках дорога
К Аральскому морю.

То в долине, то в овраге
Нетронутой новью
Скачут конники к ватаге,
К рыбацкому зимовью.

Дождь в краю том несчастливом
Пахнет горькой солью,
Снова путь ведет к обрывам,
К тихому раздолью.

Над тобой горит зарница,
Сторона глухая,
Скоро ль весточка примчится
Из родного края?

Враг решил меня обидеть
В грозную годину,
Как хотелось бы увидеть
Мою Украину...

Снова юность призывает
Молодою речью,
Плывет туча грозовая
Над старинной Сечью.

Ты неси ее далече,
За поля седые,
В этот тихий, ясный вечер
Неси до России.

Чтобы барщины, недоли
Не было в помине,

Светлой воли в чистом поле
Дала б Украине.

...Так Шевченко едет степью,
Оренбургским склоном,
По тому великолепью,
По кустам зеленым.

Саксаулы ночь колышет,
Гуси мчатся к морю...
Вдруг Тарас Григорьич слышит:
Проиграли зорю...

Вон костры горят в тумане...
После злой погони
Спит солдат на барабане,
И заржали кони.

А трава в ту ночь примята
Колкими дождями,
У заснувшего солдата
Ранец за плечами,

Ус, прокопченный махоркой,
Подбородок бритый...
С чистой водой ведро
Попоной закрыто...

Расседлали коней, тотчас
У костра заснули,
На просторе звездной ночи
Шатры потонули...

2

Ночью сон поэту снится:
Лодки за горою.
Днепр широкий серебрится
Лунною порою.

Будто кто-то снова кличет
Давнюю отраду:

«Тече річка невеличка
З вишневого саду».

Вновь пройти б вишневым садом
На ранней зарнице...
Просыпается, а рядом
Лишь зола дымится...

Стук немолчный барабана...
На краю обрыва
Чья-то песня из тумана
Кличет сиротливо:

«У степу могила
З вітром говорила:
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не черніла...»

Может быть, земляк давнишний
Тот солдат усатый,
И встречались с ним под вишней,
За отцовской хатой...

Снова едут по равнине
Оренбургской степью...
Словно каторжник, он ныне
К ней прикован цепью...

Веял ветер с лукоморья,
Туманились дали,
А за тощей речкой Орью
Ковыли мелькали.

И молчал он, лоб нахмутив,
В этот день суровый...

На Урале город Гурьев,
Край солончаковый...

Словно в ночь набедокурив,
Разошлись тучи,
Обступили город Гурьев
Небесные кручи.

И струится над землею
Свет зеленоватый,
Белы скаты за рекою
Как родные хаты.

Как полынь, сухая горечь,
Желтый край обрыва...

«Погляди, Тарас Григорьич,
Под копытом — ива...»

И глядит он: на дороге,
Черной, каменистой,
Хоронясь за холм отлогий,
Прутик лег пушистый.

Ах ты, ива, словно в детстве,
Смотришь, в воду свесясь...
Колдовал в родном соседстве
Ошалелый месяц...

Не забыть вовек бывшего,
Молодого круга, —
Словно встретилась снова
Давняя подруга.

Взял он иву-полонянку,
К седлу приторочил,
На разводьях спозаранку
Путь в степях короче.

То ли месяц на крыльцо
Смотрит ночью пестрой?
То ль колодника лицо,
Изрытое оспой?

«Наметет метель снега,
Истомивши мукой,
И вопьется в грудь нудьга
Лютою гадюкой.

Днепр, не ты ли обо мне
Плачешь ночью снежной,
В незабвенной стороне,
Мой крутобережный?»

Будто хата на Днепре,
В Гурьеве стоянка.
Выходила на заре
Девушка-белянка.

Волны светлые кудрей,
Гребешок узорный,
Платье светлое на ней,
Полушалок черный.

Отчего ж теперь слеза
Грусти одинокой
Набежала на глаза
С милой поволокой?

На приезжего глядит,
Смотрит сиротливо
И задумчиво твердит:
«Ива моя, ива...»

А на речке парус вьется,
И паром помчали;
Жаворонком он зовется
На реке Урале.

И на полных парусах
Жаворонок мчится,
На рассеченных волнах
Узкий след струится. . .

А на жаворонке том
Погонщик верблюжий,
Он с верблюдом-горбуном,
Рыжим, неуклюжим. . .

Над обрывом каланча,
Свет полудня яркий,
И вступил на солончак
Караван бухарский.

Словно моря белый вал,
Над ковыльной степью
Вечер звезды собирал
Охотничьей сетью.

Поздним вечером сидит
У костра бухарец,
Гость заезжий говорит,
Как он жил, мытарясь. . .

О минувшем, о былом
Вспоминает снова
И грустит над чугуном
Бараньего плова.

Не растает на ветру
Полынная горечь,
Подошел к тому костру
Тарас Григорьич.

Но белянка у межи
Встретила нежданно.

«Как зовут тебя, скажи?»
— «Я зовусь Оксана. . .»

— «Так подругу юных лет
Звал я ненароком

Там, где пляшет лунный свет
На Днестре широко.
Ты откуда?»

— «Где Ирпень
Вьется вдоль садочка,
Я встречала светлый день,
Солдатская дочка.
Чумаки идут в поля
Холодной порою,
У криницы тополя,
Ивы над рекою.
Есть поверье в Ирпене:
Муж с женою жили,
Муж скончался на войне,
А жену убили
Шляхтичи и закопали
В тесную могилу,
Сапогами затоптали
Молодую силу. . .
В мае солнце разгоралось,
По его призыву
Из могилы подымалась
Плакучая ива.
Как убийцы увидали
Плакучие ветви,
Над могилой замелькали
Сабли на рассвете.
Но повсюду, где легли
Ветви прихотливо,
Подымались из земли
Молодые ивы.
И качали, пригибаясь,
Над тоской дорожек
Сто заплаканных красавиц
Серебро сережек.

И бежали люди злые
С Украины. Ныне
Помнят лирники слепые
О лихой године

И об иве в Ирпене,
Как ее губили,
Как той иве по весне
Руки разрубили,

Как из рук ее тогда
Вырастали ивы, —
Ныне ивушка светла —
Назвалась счастливой».

6

Сказки милой старины...
«Спасибо, Оксана...
Были нашей стороны
Твержу неустанно.

Мне остаться здесь нельзя —
К Аральскому морю
Гарнизонные друзья
Поведут, не спорю.

Но когда в тревожный час
Станет сиротливо,
Сразу вспомню твой рассказ:
Не погибла ива...»

7

Грустен порт Новопетровск,
Невесело море.
Вытянешься в полный рост
На седом просторе.

Гарнизонный огород,
Безлюдное поле...
Там и дикий мак растет,
Будто не на воле.

Ветку ивы посадил
На лугу открытом.

(Конь на бедную ступил
В Гурьеве копытом.)

Время вышло, по весне
Ива распустилась,
Милосердной седине
С грустью поклонилась.

И любил возле нее
Быть Тарас Григорьич,
Пить, бледнея, забытье,
Полынную горечь.

Говорил он ввечеру,
Над обрывом горбясь:
«Эта ива на ветру —
Нашей жизни образ.

Не убьют ее враги...
Там, на Украине,
Друг далекий, помоги,
Отзовися ныне...»

1939

230. ОРЕНБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Эту дней давно минувших повесть
Я тебе дарю, Егор Синицын.
Будет в ней рассказано на совесть,
Как скакали вместе по станциям.

К Оренбургу, к Орску нет дороги,
Обмелели вдруг степные реки.
Верный друг мой, на барсучьем лого
Мы с тобой расстались не навеки.

Над степями снова дым полынный,
А на взморье стаи белых чаек.
Будут помнить этот сказ былинный
И Кубань, и Дон, и Орь, и Яик.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тихо в штабе Фрунзе; конный ординарец
Дремлет на попоне в рыжих сапогах,
Семь друзей сибирских, не снимая малиц,
Спят на сеновале с «Шошами» в руках.
Холодок неожиданный лужи подморозил,
В каменной времянке тлеют угольки,
И висят шинели у высоких козел,
К потолку высокому тянутся штыки.
И лежит, потрепанный, возле балалаек:

Песенник, где песня про казачий Яик,
Про былые встречи в том краю желанном,
Как скакали конники над степной рекой,
Как скакали конники по родным курганам,
Слушая до полночи звон сторожевой.

Снова юность славится, и с какою силою
Сразу вспоминаются юность и печаль...
Где же повстречается та подруга милая,
Что зовет любимого в огневую даль?

В эти ночи темные лишь в одном окошке
До рассвета позднего не гасили свет...
Часовых сменяют на ночной дорожке,
Только командарму вовсе смены нет...

Свод небесный с вечера тучами задернется...
До зари не гаснет ясный огонек...
Занавески серые... небольшая горница...
С папироски тянется голубой дымок...

Михаил Васильич над походной картой
Молча коротает медленную ночь,
Ту, что оплывает синевой неяркой,
Словно лампа чадная, над прохладой рощ.
Кто-то донесенье ножом нацарапал
На своем планшете, а флажки горят...
Фрунзе вспоминает не про тот Сарapulь,
Где на войско Гайды конники летят...

Нет, другая дума мучит командарма —
Телеграмму Ленина вспомнил в тишине.
В ней приказ секретный: наступать ударно, —
Ведь Уральск в осаде, Оренбург в огне.
В ней приказ секретный...

По болотным кочкам

Конные дозоры скачут на рысях,
Наши агитаторы в войске колчаковском —
Казачи лихие с сединой в чубах.

Эта ночь сегодня кажется короткой,
И взволнован Фрунзе думою одной —

Что над той же самой фронтовой сводкой
Наклонился Ленин в тишине ночной.

Печка разгорелась, и трещат поленья,
Фрунзе долго смотрит, как огонь горит...
«Много в жизни сделало наше поколение,
Многое еще нам сделать предстоит...»

Он на пламя смотрит — словно голос слышит...
Воздвигают зори города во мгле.
Как теперь Россия торопливо дышит,
Припадая грудью к дорогой земле!

Вдруг стучатся в двери: входит, пригибаясь,
Проклиная басом рост саженный свой,
В оренбургской бурке тот усач-красавец,
Что в бою недавнем отстоял Сулой.

Он в груди могучий, по-казацки с чубом,
У него нагайка длинная в руке.

«Хоть была горячка, всё же не порубан,
Конь мой быстроногий вынес налегке», —

Сразу он промолвил, козыряя лихо.
Все проснулись в штабе от подобных слов
И хватают ружья.

Усмехнулся тихо
Басовитый конник, приподнявши бровь.

Сел Егор Синицын, загремели шпоры...

«Что ж, — промолвил Фрунзе, — будут
разговоры...»

Я тебя, признаться, вызвал неспроста:
Мне из Приуралья донесли дозоры,
Будто не в порядке сотая верста».
«Там, где Липцы?» — тихо вымолвил Синицын.
«В Липцах»...

— «Быть не может. Я признаюсь вам,
Что совсем недавно из родной станицы
Принесли мне вести — я не верил сам, —

По станицам нынче всюду есть комбеды,
А полков казачьих сосчитать нельзя...
До последней доли, до большой победы
У меня в станицах верные друзья.
В Липцах рыжий Берест, бывший подхорунжий,
Синяя фуражка да шинель до пят.
Мы, на веки вечные связанные дружбой,
Вместе горевали у седых Карпат.
В Липцах мне родные почитай что всюду,
В каждом пятистеннике — сваты, кумовья...
Что бы ни твердили, доколь сам не буду,
Никакому домыслу не поверю я.
Он глядел на Фрунзе.

Командарм, нахмурясь,

По широкой карте расставлял флажки.
Топали копыта вдоль узорных улиц,
И дымком тянуло с голубой реки.

«Ты не прав, Сеницын... Что же — дружба дружбой...
Ну, а вдруг изменник этот подхорунжий?
Завтра мы проверим...»

— «Михаил Васильич,

Я прошу по чести отпустить меня.
Если там невнятица — горя не осилишь,
Я сейчас на Липцы погоню коня...»
— «Подожди, Сеницын!»

Стало шумно в штабе,

Чай простыл в стакане. Догорел огонь.
Ординарец верный, в смехе рот ослабив,
Разбирал винтовку.

За оградой конь

Ржал неумоимо, — словно звал в дорогу,
В Липцы — в дом заветный, к Золотому Логу.

Поглядел Сеницын: словно в песне старой,
Луг покрыт туманом — белой пеленой,
Дикий мак пылает у крутого яра,
И бежит дорога серой колеей.

«Ты уже уходишь?»

— «Скоро мы вернемся», —

Отвечал Сеницын, шпорами звеня.

Он в дверях широких с рыжим незнакомцем
Разошелся хмуро и позвал коня...

«Путь на Липцы...

Степи...

Песню лебединую

В этот полдень горестный ковыли трубят...
Командарм рассердится... голову повинную
Преклоню без ропота...

Что же... виноват.

Сорок верст дорогами да семнадцать берегом,
По крутым обочинам всходит лебеда.
Удивится, стало быть, как вернемся с Берестом,
Старые товарищи — не разлей вода».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Степь от Приуралья тянется угрюмо,
Словно это море спит, окаменев.
Двести верст проедешь, а не слышно шума,
Только ветер с юга плачет нараспев.
По степям широким пролетят станицы
Над озерной гладью, над обрывом рек,
Низкий дом над кручей озарит зарница —
И опять по склонам тает желтый снег.
А станицам были имена от веку
По победам русским в дни былой войны,
Там была и Лейпцигская — с мостом через реку,
С улицей широкой, что прямей струны.
Казачки прозвали ту станицу Липцы,
Посадили липы, — на широкий двор
Прилетали часто аисты-счастливицы
Отдохнуть немного — и опять в простор.
В Липцы гнал Синицын коня вороного,
Но не Берест в думах: старое крыльцо,
Словно из тумана, выплывает снова...

Платок оренбургский, милое лицо...
«Варенька, Варвара, нет по Приуралью
Ни одной казачки с черною косой,
Что прошлась бы лебедью, накрываясь шалью,
Как проходишь в праздники ты по мостовой.

Как взглянул я с юности в те глаза глубокие,
Как увидел отроком ту голубизну, —
Стала ты мерещиться в ночи одинокие,
Юность мою горькую степью расплеснув.

Годы невозвратные — годы стародавние,
Нынче вспоминается тихий дом со ставнями
И обрыв заброшенный, за обрывом — озеро.
В осень позабытую рано подморозило,
Озеро покрыло пеленою белой
С Пьяного Баксая до Луки Горелой.

Ты, смеясь, промолвила, что мне не осмелиться
По ледку хрустящему в раннем сентябре
Проскакать до берега, где плясунья-мельница
Крыльями расхлопалась на седой заре.

Я коня любимого потрепал по холке,
Сразу, не подумавши, дал я шенкеля,
В синем зорном отсвете запылала колки,
Плача, под копытами проплыла земля.

Вдруг у самой мельницы лед сломался...
Милая...

Утопил я в проруби своего коня...
Сквозь тот лед убористый выгребая с силою,
Я услышал издали: ты зовешь меня...

Чтобы вместе видеть прикаспийских чаек,
Чтобы вместе вечером наши песни петь,
От отца бежали мы на зеленый Яик.
Там тянул по плавням я севрюжью сеть.

Но настало время — и гроза-разлука
Развела негаданно, разлучила нас.
Голову кудрявую боль моя и мука
Серебром посыпали в тот вечерний час.

Ты вернулась в Липцы, а я на Карпаты
Вместе с новобранцами поскакал тогда.

Где ж друзья-товарищи?
Падают солдаты...
Под копытом выжалась из камней вода...

Варенька, Варвара... Где живешь ты ныне?
Так же ль реет в Липцах полушалок твой?
Так ли, как и прежде, скачет конь по льдине,
Где тряхнул я в юности русой головой?
Как услышишь топот, выйди, пригорюнься,
Это я, Варвара, снова прискакал,
По приказу нашего командарма Фрунзе
Все полки казачьи перешли Урал...»

Небо разноцветное отпылавшей осени...
Словно память юности, за холмом встает
Старый клен с подпоркою... На кривой искосине
Кто-то, призадумавшись, медленно поет.

Вдруг из-за пригорка, рядом вырастая,
Вышел дед станичник — голубой лампас...
«Кто такой?»

— «Приезжий».

— «Из какого края?»

— «Я — Егор Синицын».

— «Не похож на вас».

— «Мы с тобой соседи».

— «Что-то мне не помнится...»

— «Вареньку Еланову знаешь, дед Орел?»

— «Ты ль это, Егорушка?»

Тетушка покойница

Все глаза проплакала,

Как овес отцвел...

Ты теперь откудова?»

— «Из Москвы, из города...»

— «Стало быть, вернулся в староотчий край, —

Дед промолвил весело, усмехнувшись в бороду,

И прибавил ласково: —

Что же, руку дай...»

— «Дед Орел, —

Задумчиво говорит Синицын, —

Как живете нынче вы?»

— «Что ж, не знаешь сам?
Жить хотят по-новому старые станицы:
Кулачье — за белых,
Мы — к большевикам...
Ты-то большевик ли?»

— «Большевик».

— «Понятно,
Оттого фуражка с красною звездой...
Ты надолго в Липцы?»

— «Нынче же обратно,
Может, завтра утром вновь начнется бой».

— «По какому делу?»

— «Вспомнил дни былые,
Вас решил проведать — так ли всё сбылось?..»

По степи телегу мчали кони злые,
Приближался быстро мерный скрип колес.

На телеге этой казаки в пополах,
Словно в черных бурках, в бочке — самогон,
Старший на Синицына смотрит удивленно...

Подбегают с шашками с четырех сторон...
Рот заткнули тряпкой, закрутили руки,
Бурку разорвали, в Липцы повезли...

Встретил неприветливо после лет разлуки
Край отцов прославленный...

Тлели ковыли...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вот и Липцы...
«Где же Варенька, Варвара...
Где же рыжий Берест?»

В улицах темно,
И зловещий отблеск звездного пожара
На прудах широких отпылал давно.

«Что-то ждет сегодня? Нечего таиться:
Видно, я негаданно здесь попал в беду...»

Фрунзе вдруг подумает: загулял Синицын,
И пошлет по следу в степь да в лебеду».

Он лежал избитый. А телега мчалась
С грохотом и скрипом... Вот разбитый вал...
Вот крыльцо знакомое... Здесь порой — случалось —
Вареньку Еланову по ночам встречал...

«Вот и дом высокий, палисад узорный...
Варенька Еланова здесь тогда жила...
Друг мой незабвенный, друг мой непритворный,
Та ль дорога в поле травой заросла?»

Атаман Еланов — кряж восьмипудовый,
Вся в крестах, да в лентах, да в медалях грудь, —
Воевал он в Хиве, спьяну гнул подковы,
В степи акмолинские проложил он путь, —
С ним мы не дружили — твой отец, Варвара,
С самой первой встречи невлюбил меня...»

В доме по-цыгански плакала гитара,
И схватил станичник под уздцы коня.
«Выходи!..»
Он спрыгнул...
Связанные руки
Словно онемели: за ночь отекли,
Будто в трясовице — в той степной трясухе —
Два седых станичника к дому повели.
В горнице высокой тесно, — на киоте
Пузырек зеленый со святой водой,
Зеркало на стенке в тусклой позолоте,
Сорок фотографий на стене другой.
На столе бутылки с черным самогоном,
Десять сковородок — подгорелый шпик.
Пьяный незнакомец с золотым погоном
На скамейке узкой с диким храпом спит.
Под киотом старым, развалившись в кресле,
Берест брагу черпал чаркою большой.

«Здравствуй, друг старинный, — он промолвил, —
если
Станешь вместе с Берестом полною душой,

Бурю мы посеём — оренбургской степью
Пронесем с присвистом на конях лихих,
Встретят нас станицы всем великолепьем,
Понесут хоругви в городах больших».

Поглядел Сеницын: пьяный подхорунжий
Говорит докучно, пьёт хмельной настой.
Для чего ж недавно он хвалился дружбой
С этим самозванцем с рыжей бородой?

«Варька, — вдруг сердито раскричался Берест, —
Гости к нам приехали — выходи скорей!»
Загрустил Сеницын — в той любви изверься,
Глаз своих не сводит с голубых дверей.

Заскрипели где-то с плачем половицы.
Как в тюрьме угрюмой, загремел запор.
Варенька выходит — стала средь светлицы,
Вскрикнула нежданно: «Как? Ты жив, Егор?»

Варенька, Варвара... Не промолвить слова...
Ты ли, с красной лентой в черных волосах,
Здесь стоишь негаданно, — полюбив другого,
Позабыв про молодость, про костры в степях?

Вглядывался долго, хмуро, молчаливо
Он в лицо Варвары, узнавая тот
Облик не забытый, облик горделивый,
Что с далекой юности в памяти живет.
Знать, немало было горя и доуки
За года разлуки (и свершился суд!),
Словно память злая истомившей муки —
Две морщинки тонких возле самых губ.

«Как же всё случилось? Как ты изменила?
Как же рыжий Берест смог тебя прельстить?»

(В полночь лампа чадная стены осветила,
Луч луны тянулся по окну, как нить.)

«Что же ты, Варвара (Берест и не слышит,
Что шептали губы Варины в тоске),

Эх, малы нам Липцы, подымайся выше,
День придет — и будем пировать в Москве.
Ты под сердцем носишь сына мне отныне,
Будут в день заветный петь колокола...
Будет слава Береста в приозерной сини
Как ковыль горяча, как огонь светла...»

— «Самозванец подлый! — закричал Синицын. —
Изменил ты родине, изменил друзьям,
Нет тебе пощады и в родной станице:
Эскадроны Фрунзе скачут по степям!
Не в Москве ты справишь новоселье, Берест:
Трибунал объявит смертный приговор,
Поведут конвойные через степи, через
Камыши озерные на широкий двор...»

— «Смерть моя загадана, но твою сначала
Будем миром праздновать, — Берест говорит. —
Вместе нас когда-то в седлах ночь качала,
Пусть же дружба ныне, как в костре, горит.
Завтра ж, рано утром...»

Звякнула гитара.

От причин неведомых облака в огне...
В обмороке падает на порог Варвара,
И ведут Синицына в черной тишине...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В бане темной — печка да булыжник в копоти,
Подголовье низкое и полók сырой,
Голоса доносятся... будто кто-то шепотом
Говорит за этою грязною стеной.
Связанные руки уронил Синицын,
За окошком слышится чей-то пьяный бас...

«Вот она, угрюмая, тесная темница,
Видно, наступает мой последний час...
Не боюсь смерти я — жаль, недолю старую
Вновь враги припомнили, разлучив с Варварою;
Оттого-то сердцу нынче тяжело,
Что любовь заветную снегом замело.
То, что, в дружбе ныне и в любви изверься,

Не в бою открытом на врагов пойду,
Что подаст команду им изменник Берест
И лицом навстречу сразу упаду...
Бересту ли ныне боевое счастье,
Словно другу верному, стало бы служить?
Может он по степи проскакать в ненастье,
С кулаками пьяными ночью водку пить;
Может без раздумья с чертом подружиться
И продать немедля, не поднявши век;
Может он с барышником целый день рядиться,
Промыслом позорным не гнушаясь ввек;
Может он в разведке иль с ночным дозором
Зарубить хоть брата, не проливши слез;
Из-за перелеска, подокравшись вором,
Налететь негаданно на чужой обоз;
С девкою распутной в кабаке солдатском
Песни петь и бражничать, позабыв про бой, —
Но ему ли славиться в том краю казацком,
Вылетев на промысел с пьяною ордой?»

Так сидит Синицын на скамье убогой...
Караул сменился... Кто-то подошел
И шепнул украдкой:
«С дальнею дорогой...»
Он ответил медленно:
«Здравствуй, дед Орел.
Как пришел ты?
Что же смотрит караульный?»
— «Да храпит он рядом, пьяница разгульный...»
Расскажу тебе я о печали старой,
Что случилась в Липцах, здесь, давным-давно!
На рассвете плакала бедная Варвара,
Ночью темной плакала, выглянув в окно.
Все-то ждет Синицына, ждет и не дождетя.
Время миновалось, годы протекли...
Как-то поздним вечером — песня у колодца:
То с фронтов станичники с Берестом пришли.
В тот же поздний вечер Берест постучался
В низкое окошко, и сказал он ей,
Будто бы Синицын навсегда остался
На чужом просторе, среди чужих полей.
Будто вырос тополь над твоей могилой

В стороне далекой, в стороне унылой. . .
С той поры он к Варе зачастил, и вскоре
Все мы удивились, день настал такой, —
Хоть сушило Вареньку и томило горе,
Всё же стала осенью Бересту женой.
Ты бы взял бы Вареньку с Берестовым сыном,
Если бы такое в жизни довелось?»

— «Не о том я думаю. . . по родным долинам
Всюду мне мерещится чернь ее волос.
Только время кончилось — завтра утром вымоют
Кудри мои русые свежую водой. . .
Вижу, что обманута ты, моя любимая,
Знаю: приворожена ложью да бедой. . .
С Берестом же попросту. . .
Кто там будто топчется,
То ли просто шепчется за глухой стеной?»

Тут Орел задумался:
«Это, значит, обществом
Шли твои приятели. . .
Разговор с тобой. . .»

— «А охрана Береста?»
— «Спят они, наскучив;
Сам барышник рыжий ускакал в Миасс.
Вареньку увез он, всю в слезах горячих,
Обещал вернуться в твой последний час. . .»

— «Что ж, веди их. . .»
В баню
Входят осторожно
Пять друзей старинных — выстроились в круг,
Шашку с малым погибом вынувши из ножен,
Говорит Потапов — стародавний друг:

«Обманул нас Берест, заманил нас в Липцы,
Будто по приказу красных начал сбор.
Если будет надобно охранять станицы,
Мы с тобою в сечу поспешим, Егор!»

В бане тесной душно. . .
Или снится это?

Самокрутки чадные в духоте горят...
«В штаб мы вместе явимся ныне ж до рассвета,
На рысях мы вскорости поведем отряд...
Фрунзе — командарм наш, золотым оружием
По приказу Ленина был он награжден,
Сам он из Пишпека, с казаками дружен,
И любого недруга побеждает он».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Всех друзей-станичников в полк привел Сеницын,
Сам же дальше мчался серым большаком...
Только занялася ранняя зарница,
Комполка увидел на пригорке дом.

Людно возле дома. Ходят часовые.
А в одном окошке — ясный огонек...
Как снежинки тают звезды голубые...
В парке на деревья падает снежок...
Входит в штаб Сеницын.
Вдоль по половицам
Тянется упрямо провод полевой,
И у всех связистов радостные лица:
Нынче заработал телеграф с Москвой.

«По какому делу?» —
Спрашивал сурово
Адъютант кудрявый
Очень юных лет...
И его вопросом комполка взволнован:

«Мне бы к командарму...»
— «Вызывал вас?»
— «Нет!»
— «Он сегодня занят».
— «Подожду, понятно...»
— «Ждать придется долго...»
— «Буду ждать хоть год...»

А кругом сегодня — радостные лица...
Адъютанта голос слышен в тишине:
«Ваша как фамилия?»

— «Комполка Синицын».
— «Почему ж вы сразу не сказали мне?
Мне вчера приказано: только возвратитесь —
Доложить немедленно...»
Приоткрылась дверь.
Улыбнулся Фрунзе.
«Наконец-то, витязь...»
Ну, о чем же будем говорить теперь?»
— «Я сейчас от Береста...»
— «Знаю... доложили...»
— «Кто сказал?»
— «На фронте всё известно нам».
— «Берест впрямь изменник: чуть что не убили...»
— «Было б очень глупо».
— «Понимаю сам».

Фрунзе молча ходит по широкой комнате,
Свою думу думает...
(Синева в окне...)
«Что ж, ребята, помните —
Нынче время грозное, вся страна в огне».

Фрунзе подал руку, и ушел Синицын...
А назавтра ночью в полк пришел приказ:
Начинать погоню по степным станицам
За белобандитами...
 Не смыкая глаз
Ночь провел Синицын...
 В каждом эскадроне
Говорил с бойцами, осмотрел коней...
Начались сразу злые дни погони —
Не знавал Синицын беспокойней дней...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В том году раздольном оренбургской степью
Днем и ночью темною двигались полки.
Эскадроны грозные, растянувшись цепью,
Вплавь переплывали ширь любой реки.

И среди степей тех Берест триста сабель
Вел из Липц упорно в дальние края,

С кулаками пьяными песенки гнусавил,
Против войска Фрунзе злобу затая.

Но за ним поголя по пятам скакала,
Полк свой вел Сеницын по краям родным,
Черными пожарами даль его встречала,
И тянулся степью горьковатый дым.

И метался Берест по степям, по кручам,
Словно волк матерый, чувствуя беду,
И с его отрядом по камням горячим
Шла вослед телега на простом ходу.

В той телеге тряской ехала Варвара,
Спит, глаза открыты — всё ей снятся сны.
Будто синим отблеском звездного пожара
Глаза ее глубокие вдруг опалены.

Мчался в бой Сеницын. В память дней минувших
Пики вдруг затенькают, пули запоют. . .
Кони ли ретивые, истомясь в конюшнях,
Землю оренбургскую злым копытом бьют?

Не забыть Сеницыну той минуты страшной:
Вдруг он видит Береста прямо пред собой.
Встретились сабли в схватке рукопашной
И скрестились сразу, как судьба с судьбой.

Но бандиты дрогнули и умчались в бегстве,
Двух врагов свирепых сеча развела.
Задрожал Сеницын — будто шашка в сердце,
Берестова шашка в поздний час вошла. . .

Степи опустели, будто сено скошено,
И лежат убитые на сырой земле.
Только конь контуженный стонет суматошно. . .
Нету рядом ворога.
Он один во мгле. . .

И опять над степью шла в те дни погоня,
Берест в страхе мчался в дальние лога,

А вослед летели отборные кони:
То Синицын, хмурясь, догонял врага. . .

Умер утром мальчик — первый сын Варвары,
Берест бросил тело в пожелтевший снег
И опять по темным, диким крутоярм
Продолжал в ту зиму свой шальной побег.
Но погоня близилась, и кольцо сужалось
На пылавших ярко молодых снегах.
Час пришел — и вспыхнула, темная, как жалость,
Зорька ошалелая на седых холмах.

«Что ты плачешь, Варька? — говорит ей Берест. —
Позабыла б лучше горькие потери,
Всё равно кончается наша кутерьма,
Я и сам-то, кажется, стал сходить с ума. . .»

— «Плачу оттого я, что бывлые раны
Не отжечь огнями, не отмыть водой. . .
Ненавистник рыжий, с твоего обмана
Жизнь моя несчастная стала горевой.
Только лжой наносной сердце не насытится,
Я пошлю в станицу нашу челобитьице:
«Отпишите Вареньке: снова ль над станицами
Запевают девушки песню о Синицыне. . .»
Ненавистник рыжий, слышишь: скачут кони,
То за нами поиск мчится по степям. . .»

Подымался Берест, плюнув на ладони,
Саблею ударил по густым кудрям.

И упала Варя прямо в снег нарытый,
Прямо в снег, пылавший голубым огнем.

Мчался Берест с бандой — цокали копыта,
А вослед Синицын мчался в поле том.

И зарыл он Вареньку на холме высоком. . .
Отовсюду к склонам подступает степь.
Ходят птицы странные — хоть с орлиным оком,
Но по-соловьиному могут они спеть.

.

Вечно будем помнить фронтовые годы.
Синяя поземка на заре метет,
Скачут эскадроны, и уходят взводы,
Вновь идет Сеницын в свой большой поход.
Снова вместе с Фрунзе пролетать заслоном,
За Москву родимую проливая кровь,
Только разве изредка на холме зеленом
Вспомнится негаданно горькая любовь. . .

эпилог

Три отряда было войск казачьих, —
Память их жива в старинном круге. . .
Не о том ли вороны судачат. . .
Первый снег желтеет в Оренбурге. . .

То не ветер с юга в полночь реял —
То ночное зарево пылало
В час, когда на тихие деревья
Свет зари ложился тенью алой,

В час, когда Сеницыны — два брата,
Казачи из тех степей былинных —
О годах, прошедших без возврата,
Вспоминали у станиц старинных.

Говорил тогда Егор Сеницын:
«Как в отлете гуси-несчастливцы,
По блескучим голубым зарницам
Я ищу заветный путь на Липцы.

В Оренбурге звонко плачут трубы,
И грустят друзья по Приуральяю.
Поцелуй меня, казачка, в губы,
Как помру — накрой пуховой шалью, —

Чтоб лежал я средь степи широкой,
Распростерт под крыльями заката,
Где Варвара спит в земле глубоко,
Где я с Фрунзе проскакал когда-то».

231. ПОВЕСТЬ О КУЛЬНЕВЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕНИС ДАВЫДОВ ПРОЩАЕТСЯ С МОСКВОЙ

Шли обозы с утра вдоль снегов подмосковных,
Переулки бегут — им названия нет,
От луны желтый свет на сугробах неровных,
И за окнами тает лазоревый свет.

В полутьме карантин и деревья бульвара,
Вст шлагбаум, вздыхая, поднял инвалид,
Едут в низеньких санках два синих гусара,
И Денис, чуть взлохматив усы, говорит:

«Видно, мне суждено быть смертельно влюбленным,
Ведь бывшее ушло, примелькалось, как сон,
Только вспомню глаза с тем оттенком зеленым —
И опять навсегда безнадежно влюблен.

Разве можно забыть эти смуглые плечи,
Чуть приглаженный локон, совсем золотой?
Подойдешь, поглядишь, и покажется — нечем
И минуту дышать тебе в зале большой.

Горе видеть ее, горе вовсе не видеть
Лебединую шею и грудь с жемчугом,
Кто меня мог еще так надменно обидеть
И улыбкой одной искупить всё потом?

Вот пахнуло из труб дотлевающим торфом,
Над Москвой разнесло голубую пыльцу. . .
А давно ли еще я скакал под Вольфсдорфом —
Опишу как-нибудь тот урок сорванцу. . .

Ведь за Выборгом снова теперь неспокойно,
На суровых просторах финляндской зимы,
Испытанье пришло — приближаются войны,
Те, в которых умрем иль состаримся мы.

Собирается снова наш круг знаменитый:
Славный Кульнев, Раевский, Тучков и Барклай.
Наше время припело! И топчут копыта
Миллионом озер призывающий край.

Там и Багратион. . . Что другим не по силам,
По-суворовски просто вдруг сделает он, —
Для меня неизменно он будет Ахиллом
В Илиаде уже наступающих войн. . .»

В переулке огни. И теснятся кареты.
От резных фонарей на снегу полоса.
Строгий мрамор колонн. Вензеля и портреты.
Старый польский гремит, и слышны голоса.

Синий выступ окна полукружием вогнут.
И проходит Денис мимо круглых столов, —
Он в широких чикчирах, и ментик расстегнут,
И топорщатся черные стрелки усов.

«Что ж, Денис, уж теперь не грусти, не печалься,
И любовь отошла, как недавняя быль,
Ведь с другим она здесь — то закружится в вальсе,
То, глаза опустив, начинает кадрили. . .»

«Объяснись!»

— «Не хочу. Танец мне был обещан!
Мы уедем сейчас. . .»

— «Нет, Дениска, постой!»

— «Почему?»

Из-за плеч улыбнувшихся женщин
Промелькнул ее локон, такой золотой. . .

«Лучше жизнь в боях, с фланкировкой, со славой,
Если слову любимой и верить нельзя. . .»

— «Что ж, в сугробах есть дом
за Тверскою заставой —
В этом доме давно ожидают друзья. . .»

Беспокоен приятель. «Печалишься, юноша?»

— «Нет, клянусь, не грущу!»
— «Что же, едем скорей!

Мы в приятельском споре за чашею пунша
Позабудем сейчас о невзгоде твоей. . .»

Вот и дружеский дом выплывает из мрака.
Круг друзей неизменен и праздничен весь.
Из лимонного сока, воды и арака
На широком столе зажигается смесь.

И почти до утра холостая попойка,
Разговор о любви и о близкой войне.
«А не время ль теперь? Ведь заказана тройка.
 Попрошу иногда вспоминать обо мне. . .

Знаю, там завоюем отменную славу,
На далеких ботнических злых берегах,
Может, я не убит был под Прейсиш-Эйлау,
Чтоб погибнуть в бою на финляндских снегах.»

Кони поданы. Тонко звенит колоколец.
Расставанья пора. Песня. Топот копыт.
Мимо белых оград, мимо сельских околиц
По дороге на Тверь снова тройка летит. . .

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ЛАГЕРЕ КУЛЬНЕВА

Невысокий разъезд у сожженного дома.
Подложивши под голову чье-то седло,
На снегу разостлав, как постелю, солому,
Здесь солдат под сосной засыпал тяжело. . .

А за мельницей скат, и запруда промерзла,
Почитай, в эту зиму до самого дна.

Осторожно, рядами, составлены в козла
Карабины гусарские. . .

Песня слышна:

«Свищет пуля — не моргни!
Если в деле — руби смело!
Коль в атаку повели,
Ты коня не удержи!
Смело душу весели!
Есть нужда — так уж умри!»

Что же, это Финляндия! Кульневский лагерь!
Ветви сосен. . .

На дюнах и снег как песок.
Кто не знает теперь о веселой отваге?
У костров тихий смех и глухой говорок.

Скачет всадник навстречу на злом иноходце.
На дороге — шлагбаум!

Пониже пригнись!
Кто он? Кульнев иль нет?
Вспоминать ли о сходстве?
«Честь имею!»

— «Ну что же, здорово, Денис!»
— «К вам спешил из Москвы, торопился. . .»
— «Мы рады!»

— «Быть хочу в авангарде. . .»
— «Я всегда впереди».

— «Скоро ль будут бои?»
— «Время нашей отрады
Недалеко уже. . . А пока подожди. . .»

Загляделся Денис. Кульнев тот же, что раньше,
Только больше еще на висках седины.
И на темени — будто чулок великанши,
А не кивер гусарский. . .

Причуды смешны

Для того, кто понять не сумел бы твой норов,
Но в чудачестве есть не смешные черты,

Как насмешкою резкой когда-то Суворов,
Так своими причудами славишься ты.

«Нынче сложены песни о строе гусарском,
И кружит на кровавых полях воронье.
Я сюда, в авангард, послан был государством —
Так послужим России и чести ее.

А пока — отдохнем. . .»
Входят в низкие сенцы.

В доме чисто.
Застолье.
Свеча зажжена.
Золотой петушок на личном полотенце. . .
«Видишь — матушкин дар. . . Как тоскует она. . .

Тяжело ей. . . Живу, как всегда, донкишотом,
Ничего у меня — ни кола ни двора,
Я наследников не потревожу расчетом,
Если пуля сразит. . .

Лишь одни кивера,
Да любимая шашка, да три доломана,
Да еще за недавний поход ордена. . .»

На кровати ребенок заплакал неожиданно
И ручонками пухлыми машет со сна.

И на цыпочках Кульнев подходит к ребенку,
Распушив бакенбарды, тряхнул головой.
Мальчик — хватать за усы, улыбается.
Звонко,
Аж до слез, с ним хохочет полковник седой.

«Погляди-ка, Денис, на хозяйского сына,
Мой любимец навек. . .»
И смеется опять,

И с улыбкой встречает хозяина-финна,
Разговор его медленный силясь понять.

Финн уносит ребенка...

«Да, стало быть, жарко, —
Тихо Кульнев промолвил. —

Болят голова...

У меня для тебя есть старинная чарка,
Расскажи, как сейчас поживает Москва».

...Ночь подходит к концу. Оба спят на соломе.
Вот доносится выстрел из чаши лесной.
Слышен крик осторожный.

И ржанье.

А в доме

Пахнет седлами, солью — и просто войной...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДЕНЬ ВОЯ

Снова лед под ногами. Ветра нет на заливе.
Цепью тянется полк вдоль крутых берегов.
Днем слепило глаза в бесконечном разливе
Широко разметавшихся ярких снегов.

А сейчас уже ночь. Над привалом суровым
Тишина. Чуть доносится топот коней.
И над вражеским лагерем, в дыме багровом,
Переключка и блеск бивуачных огней.

Но потом голоса замолкают. Мельканье
Отдаленных теней. Низко стелется дым.
А гусары, кряхтя, прорубают клинками
Переход для коней над обрывом крутым.

Перешли. И раскинули стан. И заснули.
Не спеша дотлевают костер на снегу.
А солдат одинокий стоит в карауле,
Глаз не сводит с огней на чужом берегу.

Кульнев скачет по льдам. И за ним ординарец —
Молчаливый пермяк Ерофеев Семен...
Сколько прожили рядом, в походах не старясь,
Сколько вместе отбили мортир и знамен!

То, что было давно, не помянут с укором,
Много раз он в боях командира спасал,
В молодые года слыл он ловким фланкером —
И с турецкой войны на щеке полоса.

Пусть под Прагою штык ему грудь исковеркал,
Но зато командира он спас...

По снегам
Молча скачут теперь, повод в повод.
Поверка:
И выводит тропа к бивуачным огням.

Усмехнулся Семен. Значит, снова в разведку,
Прямо в лагерь чужой, не замедливши шаг...
Только треск, если конь вдруг наступит на ветку,
Только смерть, если сразу спохватится враг...

«Что такое, Семен? Почему издалека
Столько мнилось огней, а теперь, погляди,
Кое-где пламя сразу как будто поблекло,
Хоть прищуришь глаза — не видать впереди.

Может, это уловка?»
Молчит Ерофеев.

И на самом-то деле никак не понять...
Перелеском глухим, снег пушистый развеяв,
Кони к вражьему лагерю скачут опять.

Но никто не окликнул...
Хоть голос...
Хоть окрик...
Хоть бы выстрел шальной...
Ничего...
Тишина...

Молча слезли с коней — перепуганных, мокрых...
И по снегу пошли... На распутье — сосна,
А за нею — завал...

Снег примятый...
Шалашик
Из сосновых ветвей...
Мертвый конь у костра...

«Эта хитрость, гляди, хоть кого ошарашит, —
Тихо Кульнев сказал. — Чтоб не ждать до утра,
Отошли они в ночь, а костры для обмана
Развели, —

дескать, вот оторвемся от них, —
Удивится-де Кульнев, на зорьке

нежданно
Никого не сыскав у завалов пустых. . .

Но не будем мы ждать. . . И немедля — в погоню. . .»
Неспокойно, а ветер с полуночи смолк.

.
Вскоре в лагерь вернулись.

Команда: «По коням!»
. . . Через час на рысях уже тронулся полк.

И в погоне всю ночь. . .

На рассвете по взморью
Вышли к Ботнике.

Древних времен крепостца.
Старый замок в горах, весь раскрашен лазорью.
И обрыв надо льдом — три гранитных кольца.

И драгуны врага рассыпаются быстро.
Нарезные мортиры в снегу.

Трубачи
Проиграли атаку.

Внимание!
Выстрел. . .

Шашку в руки. . .
Руби, налетай и топчи. . .

. . . Кульнев был впереди.

Так, не выпустив трубки
Изо рта

и в любимом цветном колпаке,
Молча врезался он в то беспамятство рубки
С верной шашкою в поднятой кверху руке,
И его окружают немедля.

С размаху
Отбивается он.

Рядом пика свистит.

Слышен голос родной.

Промелькнула папаха,
И галопом Семен на подмогу летит.
Снег в крови.

Раздорожье.

И с яростью дикой
Двое скачут на них — но с коней кувырком:
Одного Ерофеев сбил острою пикой,
А другого — сам Кульнев широким клинком.

День кончался.

Дымилися дальние горы.
Спешась, вел Ерофеев коня в поводу,
По снегам на закат проскакали фланкеры.
Вражьи кони без всадников ржали на льду.

Кульнев встал над обрывом. Запомнил Давыдов
Навсегда этот час — после встречи в бою,
Как там Кульнев стоял и, волненья не выдав,
Чистил ельником верную шашку свою.

Хоть Давыдов недавнею схваткою бредил,
Кульнев слова не молвил, курил и молчал,
Не хотел вспоминать о минувшей победе, —
Потому что он завтрашним боем дышал. . .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НА БАЛУ В АБО, ДАННОМ БАГРАТИОНОМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

Ранним утром пришло предписание штаба.
Кульнев сразу проснулся.

«В дорогу, Семен!»

Целый день на рысях.

Вот подъехали к Або.
Замок древний в горах, и в снегу бастион.

А внизу, за фиордом, на снежном просторе
Солнце в желтом дыму, словно пламя костра,
И гранитная цепь — всё замерзшее море,
Где когда-то ходили гальоты Петра.

Кульнев шурился. Кони бежали по склону.
Ветер гнал облака в догорающий день,
И какая-то птица, летя к бастиону,
Оставляла над полем косматую тень.

Вечерело уже. Тихим, медленным звоном
Встретил город. А Кульнев мечтал о другом.
Сколько лет отошло! Вместе с Багратионом
Вновь придется сегодня грустить о былом.

«Ты, наш славный отец, Александр Васильич,
Граф Суворов — в гробу. . . успокоился. . . спишь. . .
Вспомнишь вот о тебе — и слезы не осилишь, —
Как живой посейчас пред глазами стоишь. . .

Хоть мы были немолоды, звал ты нас «дети»,
Приучал ты нас исподволь к свисту свинца,
Ни в едином из пройденных десятилетий
Мы в кровавых боях не срамили отца».

Он растрогался. Трудные слезы мужские
По седым бакенбардам текли. . . Иногда
Есть такие часы и минуты такие,
Что в мгновенье охватишь былые года. . .

Спрыгнул в снег. Ерофеев снял с Кульнева бурку.
Чисто вычищен старый парадный мундир.
В белом доме — огни. Модный танец — мазурку
Музыканты ведут на немецкий манир.

В этом доме он встретится с Багратионом,
Здесь, быть может, узнает про новый приказ.
Входит в праздничный зал со спокойным
поклоном. . .

Старый финн у окна продолжает рассказ,

Заглушаемый танцами, говором, скрипкой. . .
А рассказчик слегка обернулся, и вот
Вдруг навстречу пошел и встречает улыбкой,
И широкую руку он Кульневу жмет.

И немедля по залу разносится: «Кульнев!»
И не кончен мазурки последний прыжок, —

Всюду слышится шум раздвигаемых стульев,
Все к нему собираются в тесный кружок.

Руку Кульневу жмут. Благодарственным словом
Горожанин седой начинал свою речь:
«Будем помнить всегда, что в походе суровом
Вы учили солдат наши села беречь,

Что вы нам показали пример благородства,
Что от вас население не знало обид. . .»

Темноглазый, в мундире, украшенном просто,
Крепко сжавши темляк, в зале Кульнев стоит.

Он чуть сгорбился. Дальше шагнул. С генералом
Повстречался в дверях.

Старой дружбы слова.
Вместе с Багратионом прошелся по залам.
Разговор с пустяков начинался сперва.

В темной комнате сели за низенький столик.
Отпустив адъютантов, остались вдвоем.
«Близок новый поход, и расскажет историк
Вновь о подвигах ваших в ряду боевом».

Вздрогнул Кульнев.

Немедля разостлана карта.
«В топографии смолоду слыл мастаком. . .» —
Он промолвил, прищурясь.

А крылья штандарта
Отмечали завещанный путь надо льдом.

ГЛАВА ПЯТАЯ *НОВЫЙ ПОХОД*

Встал большой бивуак вдоль почтовой дороги.
Рядом изгородь, мельницы старой крыло.
Старый конь подымает с опаскою ноги:
Оступиться чуть-чуть — и в сугроб занесло.

Предвесенней порой на пустынных Аландах
Энгельсбрехтен разбит. Сотни финнов в плену.
На уступах крутых, на снегах безотрадных —
Уже близится срок — и закончим войну. . .

Стынет пена валов между черных утесов.
На снегу полыньи.

Там, где льдов полоса,
Скоро лайбы скользнут, и руками матросов
Будут косо наклонены вниз паруса.

Значит, надо спешить. Надо по льду залива
До распутицы к дальним пройти берегам,
К той последней меже, где за краем обрыва
По дороге крутой — за скалой Гриссельсгам.

Под высокой сосною Давыдов и Кульнев
Щи хлебали, смеясь, из большого котла.
Пень — подобьем стола,
два седла — вместо стульев,
И на ложе из ельничка
ночка тепла.

Разговор задушевный.

«А грустно мне что-то, —
Тихо Кульнев сказал. — Перед боем, гляди,
Не могу я заснуть.

Если ж полудремота
Вдруг смежает глаза, то одно впереди
Предо мною тогда возникает из мрака:
Давний год, и старинных походов пора,
И Суворов сидит на краю бивуака,
Молча рядом стою у большого костра.
Долго слушаю.

Как он бывал разговорчив.
Блеск немного запавших, прищуренных глаз,
Взмах короткой руки.

До скончания ночи
О войне, о турецком походе рассказ.
А потом замолчит, улыбнется нежданно
И сотрет рукавом белый иней с клинков,

Спросит он невзначай:

«Ты читал Оссиана?

Перевел его славно гуляка Костров!..»

Ты ответишь

и вдруг замечаешь:

угрюмо

Он глядит, будто слова не молвил с тобой,

Сразу чувствуешь ты, что гнетет его дума.

Исполнение мечты? Или завтрашний бой?

Так сидит он, задумчивый, грустный, как рекрут,

Вдруг прищурится, скажет, смеясь: «Никанор!»

Встанет рядом с тобой, поведет на поверку,

Значит, найден на завтра отменный маневр.

Так и я перед боем то весел, то грустен,

Дай подумать теперь. Трубка вот — затянись...»

Я ж проверю посты. А не то вдруг пропустим

Мы разведку врага...»

Засыпает Денис...

...Первый час пополуночи. Холодно. В зыбкой,

Уплывающей тьме он укрылся плащом...

«Просыпайся, Денис! — молвил Кульнев

с улыбкой. —

Карабин заряди. Через час мы идем...»

Полк построился. Кульнев скакал пред рядами.

«Дня победы я ждал — и приблизился он!

В том последнем бою буду я перед вами,

А за вами сам доблестный Багратион.

Путь на море тяжел. Слово как на пожарище,

Станет вам на ветру, прямо слово — жара!

Честь бессмертная нам! Мы домчимся, товарищи,

Опрокинем врага мы с разбегу... Ура!»

Растянулись колонной по белой равнине.

Кто-то песню заводит. «Отставить! Вперед!»

Верный конь проскакал по рассеченной льдине.

Сразу с грохотом в прорубь обрушился лед.

До рассвета шли медленно. Кое-где наледь.

Конь копытом скребет ледяную кору.

«Эх, скорей бы нам к вражьему стану причалить!
В самом деле, жара на холодном ветру. . .»

Ранним утром уже зачернели утесы.
Скользкий берег уступом взбегал к вышине.
Расходился туман, и сквозь сумрак белесый
Ерофеев скакал на усталом коне.

И за ним по снегам, рассыпаясь лавой,
Скачут все эскадроны под вражий огонь.
Кульнев крикнул: «Прорвемся на берег со славой!»
И под пулями пляшет обстрелянный конь.

Загремело «ура!» по рядам молодецким,
И донесся со льда чей-то горестный крик,
И пикеты врага перед берегом шведским
Разбегались под быстрыми взлетами пик.

В свисте ветра нежданно послышался выстрел.
Ерофеев упал. . . только шашка блестит. . .
Неужели убит? Подымается быстро
Из-под грозно мелькающих конских копыт.

Он поднялся в простреленной старой шинели.
Он, в снегу увязая, идет по скале.
Верный конь подбежал. Повод взял еле-еле,
Застонав, он подпрыгнул — и снова в седле.

Снова скачет вперед в белых клочьях тумана,
Накусивши свой рыжий, прокуренный ус.
Кое-как на скаку перевязана рана.
Шашка звякает. Снега скользящего хруст.

И галопом туда! К первым вражьим пикетам!
Разве кланяться пулям захочет фланкер?
Рассветает, и видит он: перед рассветом
Казачьи показались на выступях гор.

. . . Ветер с юга. Ломается лед у затона.
Кульнев встал у костра. Белый камень в дыму.
«Приказанье исполнено Багратиона, —
Напиши-ка, Денис, донесенье ему».

— «Всё?»

— «Как будто бы всё!»

— «Табаку бы немного. . .»

— «Хочешь хмеля? Осталось трубки на три. . .»

— «Голова закружится. . .»

А там, где дорога,

Песню вывел гусар, как коня, до зари:

«Вот как, братцы, мы ходили
По льду к дальним берегам,
Да как ворога разбили,
Как заняли Гриссельгам».

Ходит Кульнев. Поля ледяные на взломе.
На ресницах то ль иней, то ль просто слеза.
Ерофеев лежит у костра на соломе,
Рукавом в полусне закрывая глаза.

«Честь имею. . .» — скользя, подбегает подлекарь.
«Что с фланкером моим? Будет жить или нет?
Коль не вылечишь. . .»

— «Вылечу!»

— «Станет калека?»

— «Нет! Поправится он. . .»

•

Через несколько лет,
Вспоминая тот день, эти темные чащи,
Этот отблеск зари, не успевшей дотлеть,
Кульнев думал:

«Исполнилось высшее счастье.

После новых побед не страшусь умереть!

Похвалил бы меня Александр Васильич,
Перед строем обнял бы, приказ объявил.
Помню, он говорил: «Всё на свете осилишь,
Если крепко захочешь. . .»

И я победил. . .»

Наступила весна. Вскрылся лед на заливе.
 Разливаются реки. Тает снег на горах.
 Враг еще не сдаётся в последнем надрыве,
 И заставы таятся в дремучих лесах.
 Но конец уже близится схватки кровавой.
 Сладко плачет труба. День победы настал.
 Кульнев — в списке героев, увенчанных славой.
 За последний поход — он уже генерал.

Воевали на севере — нынче ж на юге
 Непокойно, и Кульнев отчислен на юг...
 «Что ж, не грустно ль, Денис? Будешь помнить
 о друге?»
 Приходи посидеть... Разлучаемся, друг...»

Беспокоен Давыдов:

«Неужто разлуку
 Мне с тобою теперь суждено перенести?
 Знаешь, буду я счастлив: жал Кульневу руку,
 Вместе с ним завоевывал славу и честь.
 Я влюблен до безумия...» — «Что же, приятно,
 Позавидовать только могу я тебе».
 — «Нет, потеряна вовсе она, безвозвратно,
 Нет ей места в моей бесприютной судьбе...»

— «Я на двадцать один год постарше... Ты
 мальчик,
 Позабудешь любовь — прилетишь в Петербург...»
 — «Как, ты сильно любил?»

— «Только, может быть, жальче
 Мне о ней вспоминать, чем тебе, милый друг...
 Я за двадцать семь лет всё в строю неизменно,
 Ни единого дня не бывал в отпуску,
 В Петербурге — случайно, как шли мы на смену,
 Лишь однажды, проездом, увидел Москву...»

Это было давно. Я гусарским майором
 В захоlustье попал, в город старых оград.
 Там водил эскадрон по пустынным просторам,

В одиночестве жил, обучая солдат. . .

Скучно в тихой глуши.

Тосковал я без фронта,
Без огня, без опасности.

Только порой
Отводил себе душу, когда вдруг с ремонта
Конь негаданно мне попался лихой.
Я скакал на нем в степь. Отводил себе душу.
Край там тихий. Повсюду печать старины.
И в усадьбах гаданья ничто не нарушит. . .
Одноворцы толкуют про вещи сны. . .
Время было такое: все празднуют свадьбы.
Балы всюду. Знакомства. Волнение в крови.
Вот однажды под липами старой усадьбы
Повстречался я с ней. . . Объяснение в любви. . .
Молчалив я, задумчив, ты знаешь, а с нею
Разговорчивым стал. Всё рассказывал ей.
Как мальчишка, бывало, встречая, краснею,
Разлучусь хоть на час — и дышать тяжелей.
Обручились. Готовили свадьбу. Но барский
Погубил меня вздор. Захотела она,
Чтоб я бросил свой полк захолустный гусарский
И в отставку ушел навсегда. . .

А война?

Честь и слава моя — лишь солдатская жатва,
Никогда не бросать боевую страду
В дни похода дана мной Суворову клятва:
Лишь тогда разлучусь, если мертвым паду. . .
Если так. . . Ведь загадано жить мне сурово. . .
Что же? Кульневу бросить родные полки?
Возвратил я немедля ей данное слово,
Вновь остался один — чуть не запил с тоски.
Может статься, труднее забыть про печаль бы. . .
Да однажды мне почту подносят к столу. . .
Из депеш узнаю о походе чрез Альпы.
Что ж, на Альпах отец наш. . . А я где? В тылу. . .
Да к чему вспоминать. . .

Только кликнет: «Ударьте,
Дети, вместе со мной на врага. . .» —

почитай,
Все поскачут за ним на рысях в авангарде —
Победить иль погибнуть за отческий край. . .

На ночь лягу и саблю кладу к изголовью,
И оседланный конь вечно ждет у костра.
На войне ли еще жить былою любовью?
Для меня навсегда отошла та пора. . .»

— «Я тебя узнаю, — тут Давыдов промолвил. —
Вот такой, без упрека, без страха, борец
Снился смолоду нам. . . Будешь в сказочной нови,
Как Суворов, святыней для наших сердец. . .
Нынче время такое, великие войны
Приближаются к нашим родным рубежам.
Если Кульневы есть среди нас — мы спокойны,
Значит, солнце победы заведено нам».

И по-юношески, говоря про разлуку,
Резко дернув плечом и заплакав навзрыд,
Вдруг, нагнувшись, целует он Кульневу руку.
«Это я, как отцу. . . — тихо он говорит. —

Если б все могли жить так, как ты. . .
Всё — отчизне,
Ничего для себя, ею — жить, ей — гореть,
Не хватило б тогда и Гомеровою жизни,
Чтоб героев таких в Илиаде воспеть. . .»

Вздрогнув, Кульнев смутился:
«К чему это, право?
И сравненья излишни. Ты проще гляди. . .
Ведь в боях сообща вырубали мы славу. . .»

В дверь стучат. . .
«Кто пришел? Ерофеев?
Входи».
Входит старый фланкер. Взгляд его озабочен.
«Как вы жили одни? Кто за вами ходил?»
— «Да скучал без тебя, если молвить короче.
Я на ленте медаль для тебя получил.

Славно ты там скакал да рубил ротозеев, —
А подлекарь-молодчик фланкера сберег.
Только что ты нарядный такой, Ерофеев?
Что еще у тебя? Вот ведь. . . вроде серег».

— «Их мне друг подарил — вроде как покрасивше.
Подарил, говорит, он их мне для красоты».
— «Нет, не станет красивым те серьги носивший —
Для красоты, милый друг, у гусара усы...

А уж прочее — попросту молвить — морока.
Честью чист наш солдат... Ну, снимай-ка серьгу. —
И промолвил потом, улыбнувшись широко: —
Не грусти, Ерофеев, я, право, не лгу...

А теперь — за работу... Быстрее собирайся...
Уезжаем с тобой — прямо маршем на юг...
Миновала страда зимних вьюг Оровайса...
Ну, Дениска, прощай... До свидания, друг...»

Он поднялся... Коснулся плечом перекладин
Этой старой избы — перегнивших досок.
Рядом с низким Дениской казался громаден,
Да и в самом-то деле, конечно, высок...

эпизод

СМЕРТЬ КУЛЬНЕВА

Год двенадцатый.. Месяц июнь... Непokoйны
Эти дни — перемены и смут времена...
Финский, южный поход — это малые войны,
А теперь наступает большая война.

Враг вступает в Россию. Большим полукругом
Наступая, выходят его корпуса.
Растянулась меж Вислою, Неманом, Бугом
Арьергардных тяжелых боев полоса.

Враг упорно идет к нашей грозной преграде,
И по селам старинным набатов трезвон...
Помню слово Давыдова об Илиаде
В эти грозные дни наступающих войн.

«Честь и слава от века — солдатская жатва».
Над полями сражений в родной стороне
Да свершится Суворову данная клятва
Ныне в грозной, решающей судьбы войне...

И воспитанных им — от седых генералов
До седых трубачей — в этот час роковой,
Как в былые года, снова битва скликала,
И они откликнулись на голос родной.

Кульнев был в арьергарде, с прославленной
частью,
Прикрывавшей пути к Петербургу, на Псков...
Он грядущей России отстаивал счастье
В непрерывном труде арьергардных боев.

«Я с полком тут один. Бой тяжел арьергардный,
До последнего драться, чтоб дать отойти
Главным силам.

Ведь близок тот полдень отрадный,
Когда кончим отход, перережем пути
И сначала набегом, наездом и поиском
Будем мучить врага,

после — выйдем вперед,
И появится мститель пред вражеским войском —
Защищающий родину русский народ».

...В этот день за Клястицею вражьи мортиры
Били с часа того, как всходила заря.
На гнедых жеребцах пронесли кирасиры,
По болоту французские шли егеря.

Тяжело отходить, и с коня он слезает...
Повод дал Ерофееву... Тихо идет...
Кто поверит, что Кульнев теперь отступает?
Но получен приказ — неизбежен отход...

Тихо шел по дороге, насупленный, сгорбясь...
«Что же, прямо сказать, ведь не всё решено.
Еще выйду с полком я на вражеский корпус
И сомну в грозной рубке войска Удино...»

Бомба падает рядом... «Быстрее разрывайся, —
Он сказал, отходя с Ерофеевым. — Вот
Видишь, старый фланкер, потрудней Оровайса
Это дело — ну, прямо без устали жмет...»

Он, прищурясь, смотрел... О, родная картина:
Волчья ягода в мшанике топком растет,

Впереди, за обрывом, по скату плотина,
Низкорослая жимолость возле болот...

За широким оврагом бегут перелески.
Небогатый лесок. Белым спицам берез
Будто зябко сейчас в ослепительном блеске,
В ярких вспышках июльских мучительных гроз...

Разорвалось ядро... Яркий блеск над завалом...
Черный дым над травой — и мгновенный разрыв.
Ерофеев рванулся тогда к генералу,
Чтоб спасти его, собственным телом прикрыв...

Опоздал... Взрыв... Что это? Оторваны ноги...
Истекающий кровью, в примятой пыли
Он обрубком сегодня лежит на дороге,
Ставший издавна гордостью русской земли.

И лежит на спине он, беспомощный, строгий,
Истекающий кровью...

О, кто перечтет

В этот день все его боевые дороги
От финляндских снегов до балканских высот...

Молча сняв кивера, пред своим генералом
Все стояли в слезах.

Он лежал недвижим.

Вдруг открыл он глаза.

Странно, был не усталым

Их стремительный блеск, а совсем молодым.

И лежит он в короткой походной шинели,
В доломане простом...

Из-за туч с высоты

Солнце вышло на миг.

Луч скользнул.

Заблестели

На широкой груди ордена и кресты.
Получил их в сраженьях за риск, за отвагу,
И за каждый он кровью по капле платил.

Этот вот
дал Суворов когда-то
за Прагу,
Этот — с финской войны,
тот — в бою получил...

«Дети, я умираю...»
Все плачут угрюмо...
«Ни клочка не отдайте родимой земли...
Снять прошу ордена, чтобы враг не подумал,
Что убит генерал...
если б тело нашли...»

Вздых последний...
И смерть...
Подошел Ерофеев,
Снял кресты, ордена...
Положил на глаза
Стертых два пятака...
Пахло дымом, шалфеем...
Мелкий дождь моросил...
Грохотала гроза...

И казалось, на миг распахнулись просторы.
И обратно, под яростным свистом свинца,
Поскакали тогда казаки и фланкеры —
В арьергардном бою отомстить за отца.

О, беспамятство рубки! Сверкая клинками,
Звонко тенькая пиками, рваться вперед
И стремительной лавой скакать пред врагами,
По оврагам, по мшанику ближних болот.

Ерофеев хранил вечный сон генерала...
Тело Кульнева было накрыто плащом...
Первый раз не в бою они оба... Настало
Время нам горевать, вспоминая о нем.

«Что же, смерти такой разве ты прекословишь?
Сам я стар, где-нибудь да подстрелят в бою.
Без тебя разве жизнь будет, Яков Петрович?
Только тело б отвезть мне в деревню твою...»

Не смешав своего боевого порядка,
Кони мчались назад, чуть касаясь земли.
Смолкли выстрелы. Стихла кровавая схватка.
Возвращались гусары и песню вели:

«Молодца мы потеряли,
Кульнева злодей убил,
Да зато и отчесали —
Дорого ты заплатил.
Сколько тысяч меж рядами
Ты своими не дочтешь,
Сколько саблями, штыками
На плечах ты ран несешь».

В грозный год его смерти, в заветную зиму,
Отходили враги вдоль пылающих рощ,
И опять довелось бивуачному дыму
Над Клястицею стлаться в ненастную ночь,

И припомнили здесь все дороги героя
Офицеры московских и тульских полков —
От кровавых трудов арьергардного боя
До заветной поры авангардных боев.

На рассвете послали дозор по верховью,
Напоили коней и на запад ушли,
Честь отдавши ему, оросившему кровью
Эти топкие мшаники русской земли.

...Много лет пронеслось, но сейчас, если едешь
В летний пасмурный день из далеких краев
По дороге, ведущей из Полоцка в Себеж,
Ты увидишь места этих грозных боев.

И услышишь тогда, как над зреющей рожью,
На широких полях снова песня звучит,
И поклонись низко тому раздорожью,
Где в бою арьергардном был Кульнев убит.

Июнь 1941

232. БЕЛОВЕЖСКАЯ ПОВЕСТЬ

1

В поздний вечер в пуще брезжил
Отблеск чистый, небывалый. . .
В день осенний в Беловежье
Цвет небес зелено-алый.

Грозный год тридцать девятый
Шел с военными громами,
Орудийные раскаты
Не смолкали над лесами.

Даль холодная закрыта
Вся завесой огневою.
Загремели вдруг копыта
За опушкой лесною.

Торопился первый конник,
Мчался тропкою заречной,
Был в фуражке он зеленой
Со звездой пятиконечной.

Мчался он тропой лесною
Мимо сумрачного яра,
Весь покрытый желтизною
Азиатского загара.

Ехал полем и лощиной,
То — оврагом, то — пригорком,

Политрук Еманжелинов,
Дали мера взглядом зорким.

Вместе с ним — поляк усатый,
В тех лесах давнишний странник,
Знаменитый провожатый,
По прозванью Кшинский Янек.

Трубный зов большой тревоги
В дальний путь зовет сурово...
Янек Кшинский по дороге
О былом напомнил снова.

Мчался он тропой лесною,
Натянувши повод туго,
Беловежской стороною,
Заповедною округой.

Он рассказывал преданья
О годах давно минувших,
Как, бывало, гулкой ранью
Ржали кони на конюшнях,

Про охоты, про облавы,
Как трясинной шла дорога,
Как гудели переправы
Звоном буйвольего рога.

Хороши такие речи,
Да не время им, пожалуй;
Как настанет в пуще вечер,
Всюду отблеск небывалый.

Где ни едешь — лесом хвойным
Иль кустарником ползущим, —
Всюду, всюду неспокойно
В поздний час в старинной пуще.

Кто в лесах сейчас таится?
Кто стреляет по проезжим?
Кто с вечернею зарницей
Затаился в Беловежье?

Перекопана поляна...
 Нужно здесь поехать шагом...
 И тогда-то к ним неожиданно
 Вышел зубр из-за оврага.

Как осколок ледниковых
 Древних дней с их тишиною,
 По полянам васильковым
 Проходил он к водопою.

Он прошел, таковой огромный,
 И горбатый и мохнатый,
 С шерстью грязно-буро-темной
 И отменно бородатый.

Зубр ушел, на конопляник
 Поглядев в ненастный вечер;
 Улыбнулся Кшинский Янек
 И сказал, расправив плечи:

«То в годах далеких было...
 Трубы пели на откосе...
 Русский молодец Данила
 Полюбился польке Зосе.

Как игратья ихней свадьбе —
 Над лесами горе встало:
 Ходит рыцарь по усадьбе,
 Ест наш хлеб и наше сало.

Убивает, грабит, топчет,
 Стала пуща полем ратным,
 Пробивает мертвым очи
 Он копьем своим булатным.

Дым пожаров-стерегущий...
 Злого пламени завеса...
 Звон мечей не молкнет в пуще —
 Гонят рыцарей из леса.

И ушли исчадья ада,
 Бросив Брявки побережья,

Но с собой угнали стадо
Из лесного Беловежья.

Не коров, а зубров взяли,
Ранней утренней порою
Всех из чащи их собрали
И погнали пред собою...

Заплетая ленты в косы,
Зося так заговорила:

«Стали снегом в пуще росы...
Я скажу тебе, Данила:
Есть примета, дедов память, —
Станут рощи нелюдимы,
Снег вовек не будет таять,
Будут здесь вовеки зимы,
Если зубры на раздолье
Не вернуться вольным стадом,
Пригибая рогом колья
По разобраным оградам».

Намела зима сугробы,
Летом снег окутал ели,
На зеленые чащобы
Пали белые метели.

И сказал тогда Данила:

«Я у рыцарей всё стадо
Отобью, а то немилу
Здесь нам жить, моя отрада».

Он ее целует в губы,
Мчится в лес по тропке белой.
Не трубили в полночь трубы,
Лес гудел оледенелый.

Зося три ждала недели,
Глаз зеленых не сомкнула...

День пришел: сквозь гул метели
Тень знакомая мелькнула.

Сразу рев раздался трубный,
Словно горе позабыто,
И бегут по лесу зубры,
Бьют о гулкий лед копыта.

И весна за ними мчится
Из далекого простора,
Солнце яркое глядится
В заповедные озера.

В ту же полночь снег растаял,
Лед взломался на побережье,
И гусей крикливых стая
Потянулась в Беловежье.

И живет доньше в пуще
Сказ о Зосе и Даниле,
Зубр есть в чаще, стерегущий
Васильки на их могиле.

Те цветы вовек не вянут,
Смотрят синими глазами;
Если ж парни прыгать станут
В ночь Купалы над кострами,

Покраснеют, словно маки,
Васильки и разгорятся;
На пустынном буераке
К Брявке стадом зубры мчатся.

Это память о Даниле
И о Зосе, и о счастье,
О напеве древних былей
Снова празднуется в чаще».

8

Политрук промолвил: «Мудро
Рассказал ты мне про это.
Не такого, может, зубра
Повстречаем до рассвета.

Видно, в пуще ходит кто-то;
Значит, встретится он с нами;
Видишь, там, за поворотом,
Дым клубится над кострами?

Слышишь выстрел отдаленный,
Гулким эхом повторенный
Над глухою стороною?
Слышишь, где-то рядом конный
Скачет просекой лесною?»

Пламя видно за оврагом.
Полонил туман лощины.
Осторожно едут шагом
Кшинский и Еманжелинов.

И густеет ночь глухая...
Кто-то ходит по поляне...
Пламя ярче полыхает.
Голоса слышны в тумане.

И густеет ночь глухая...
Кто же здесь костры разводит?
Пламя ярче полыхает...
Кто же тут ночами бродит?

4

Вот, укрыв коней за речкой,
Политрук увидел рядом
Дом разрушенный, крылечко,
Трех мужчин за палисадом.

Из-за старой мшистой ели,
В рост огромный, исполинский,
Долго пристально смотрели
Политрук и Янек Кшинский.

Двор большой в буграх неровных...
У высокого барьера
Здесь сидят рядком на бревнах
Два высоких офицера.

Говорят они негромко,
У панов в руках две чарки,
Разгорается в потемках
Голубое пламя ярко.

Пан полковник очень толстый
С тощим паном капитаном
Говорят, что-де не просто
Повстречались со смутьяном.

Всё-де быть могло бы горше,
Взор-де их не затуманен...

Перед ними, весь продрогший,
Босиком стоит крестьянин.

Руки скручены жгутами,
И в крови его рубаха;
Он стоит перед панами,
Смотрит им в глаза без страха.

Капитан ногами топнул,
Оба пана закричали,
Дескать, будут и у хлопа
И заботы и печали...

Отвечает им крестьянин:

«Лживо, пан, словечко это!
Может, вашей пулей ранен,
И умру я до рассвета,
Только знаю, что земляца
К нам пришла с большевиками.
Не придется ввек томиться
Здесь за панскими межами».

«Ах ты, хлоп!» — паны вскричали,
В сердце целясь из наганов.
Только что же? Задрожали
Руки пана капитана.

И разжались... Выстрел грянул
Из-за ели исполинской...
И бежит навстречу пану
Переводчик Янек Кшинский.

«Я хочу узнать подробно,
Пан полковник, как случилось,
Что бежали вы из Гродно?
Расскажите, ваша милость...»

5

Ночь гордится звездным блеском.
Под копытами — терновник.
Трое едут перелеском.
Зло шагает пан полковник.

Пан идет тропинкой зыбкой
За прудом у водопоя.
Едет хлоп вперед с улыбкой,
Смотрит в небо огневое.

Позабыл он о печали,
Не томится сердцем больше.
Знает он: за мгливой далью
Встанет утро новой Польши.

От лощины до лощины
Под осенним листопадом
Едет с ним Еманжелинов,
Кшинский Янек едет рядом.

Достопамятные годы
В сердце вписаны навеки.
Переправы, переходы,
Пущи, топи, горы, реки...

Много муки, много горя
Испытать придется людям,
Но встают над миром зори:
Светлый день встречать мы будем.

Много былей рассказали
 Мне в недавнюю годину.
 Вместе с Кшинским мы скакали
 От лощины до лощины

По тропе, где прежде зубры
 Мчались ночью к водопою,
 По тропе крутой и трудной,
 Беловежской стороною.

И гроза гремела люто
 Средь широкого простора,
 И дождем прибита рута,
 И туманятся озера.

И вставали предо мною,
 Побеждая расстоянья,
 С беловежской стариною
 Заповедные сказанья.

В старой пуще в хмурый вечер
 Жгли костры сторожевые,
 Ширь и сладость польской речи
 Я узнал тогда впервые.

Сколько мне ни жить на свете,
 Но до смертного порога
 Будут тешить песни эти
 Звоном буйвольего рога.

Слышал я их лепетанье
 В тихом плеске речи братской,
 Пили песен тех дыханье
 И Мицкевич и Словацкий.

Пил и я у побережий
 В грозный год тридцать девятый...

Дальше ж в путь по Белой Веже,
 Мой усердный провожатый!

1939—1948

238, ОРЕШЕК

Невская повесть

1

Над снеговой тоской равнинной,
Над глыбами застывших льдов
Стояла крепость, как былинный
Рассказ о доблести веков.

Она давно звалась Орешек. . .
Издалека тянулся к ней
Вдоль вмерзших в лед высоких вешек
Свет разноцветных фонарей.

Теперь разбиты бастионы,
Огнем войны опалены,
И только снег, да лед зеленый,
Да камень, взрывом опаленный,
В проломах крепостной стены.

Она стояла как преграда
И как редут передовой,
Как страж полночный Ленинграда
Плыла в туманах над Невой.

И всюду в крепости — в руинах,
В следах разрывов на стене,
В обломках башенок старинных —
Повествованье о войне.

О тех, кто ждал, о тех, кто верил,
Кто жил на нашем берегу,
Кто в дни сражения измерил
Пути, ведущие к врагу,

Есть быть, — мне рассказал товарищ
Ту быть, когда мы шли во мгле
Среди снегов, костров, пожарищ
По отвоеванной земле.

Его рассказ не приукрасив,
Стихом я честно передам,
Как шел Григорий Афанасьев
В разведку по гудящим льдам,

О подвиге его, о силе,
Об узких лыжнях на снегах,
О зорях утренних России
Я расскажу в своих стихах.

Гудят чугунные ограды...
Мой друг в земле приневской спит...
Ведь каждый выстрел в дни блокады
С безмолвьем стен старинных слит...

2

Ольшаник мелкий да болота...
Четвертый день — дожди, дожди...
Патруль стоит у поворота...

«Стой! Кто идет?»
— «Свои!»
— «Пехота?»
— «Она, родная!»
— «Проходи!»

Шагала маршевая рота,
Шел пулеметчик впереди.

А небо мглится... Даль темна...
Уже дорога не видна...

Печальна эта сторона:
Ведь как широкая стена
Здесь дождевая пелена,
И плещет мутная волна
В песчаный, низкий берег правый. . .

На миг настала тишина
Над новой невской переправой. . .

И вдруг становится светло:
Туман над полем развело,
И показались вдалеке
Разбитых башен очертанья,
Из камня сложенные зданья,
Казалось, плыли по реке.
И там вился дымок разрыва,
Какой-то странно голубой. . .

Разбитая снарядом ива
Склонилась низко над Невой.
Ходил по склону часовой. . .
Что ж, близок берег. . .

«Рота, стой!»

Здесь переправа. . .
 Как в колодке,
Под тенью черною кустов,
В сыром песке лежали лодки;
Сидели пятеро гребцов,
Из рук не выпуская весел. . .
Брезенты рядом кто-то бросил. . .
Валялись ящики, кули,
Прикрытые кой-как рогожей. . .

«Здорово, земляки! Пришли
Вы к нам служить в Орешек тоже?»
— «В Орешек, точно. . .»

— «Довезем,
Вот погоди — чуть-чуть стемнеет. . .»

Разрывы ближе и сильнее,
И переправа под огнем. . .

В тени развалин, в землю врытый,
 Где бревна тянутся по рву,
 Ветвями рыжими укрытый,
 Блиндаж глядится на Неву.
 Настил добротный в пять накатов...
 Печурка топится в углу...
 Копилки свет зеленоватый,
 Чадя, плывет в ночную мглу.

Широкоплечий, бородатый,
 Сидит у печки старшина.
 Улыбка старого солдата
 Так по-отцовскому нежна...

Приветлив старшина разведки,
 Сержанту новому он рад...
 Трещат в печи сырые ветки,
 Кругом дымок струится едкий...

«Как поживает Ленинград?
 Где воевал ты раньше? Где-то
 Как будто виделись с тобой...
 Неужто это было летом,
 Когда вступали в первый бой?
 Оно, конечно, не талантом —
 Такого больше не найдешь, —
 Но вроде с нашим лейтенантом
 Ты, друг, лицом немного схож...»

Он был, как ты, такой же тонкий,
 Как ты, прищурившись глядел,
 Как на гармошке, на гребенке
 Играть нам песенки умел!
 А так, признаться, строг был очень,
 Боялись мы, бородачи:
 Когда бывал он озабочен —
 Уж тут не суйся — и молчи.
 Да только путь его короткий —
 Хоть шел ему двадцатый год,

Убит, бедняга, на высоте,
Когда повел в атаку взвод...
Вперед по глине полз упрямо,
Бодрил, смеясь, бойцов своих,
Потом вдруг вскрикнул:

«Мама! Мама!»

По-детски, громко, и затих.
Как ты зовешься?»

— «Афанасьев».

— «А где работал до войны?»

— «Да нет, я был в девятом классе...»

— «Ну, значит, не завел жены;

А у меня сыны воюют, —

Да вот теперь увижу ль их —

Кто знает, где они кочуют...»

Уже светало. Ветер стих...
Заря горит над блиндажом.
Сидят разведчики вдвоем...
И вот пришла пора обстрела —
И затряслась и загудела
Громада сразу под огнем.

«Что ж, Афанасьев, в самом деле,
Ты не со страху ли притих?»

Он отстегнул борта шинели,
И пять нашивок золотых
Без слов солдату рассказали
О всем былом, пережитом...
Как на Неве клубились дали
В огне, в дыму пороховом...
Пять ран, пять золотых нашивок,
Горели кровью огневой...

«А знаешь, друг,

ты из счастливых —

Поправился — и снова в бой...»

Прошла неделя. Дым косматый
 С утра тянулся над стеной.
 Привыкли новые солдаты
 К укладу жизни крепостной.
 Здесь ночь длинна — и день большой.
 Работы много — возле вешек
 Ставь мины у стены рядком,
 Окопы рой над бережком...
 А ночью кажется Орешек
 Плывущим к морю кораблем...

Корнями вросшие в траншеи,
 Там сосны — мачты корабля.
 Гляди, по веткам, как по реям,
 Скользят флажки, как брамселя,
 И стяг над крепостью, как парус,
 Просторы Ладоги деля,
 Несет штормов осенних ярость
 К тебе, Заветная Земля!

Орудия, что были там —
 Поди-ка все их сосчитай-ка, —
 Зовут бойцы по именам:
 «Воронка», «Песня», «Дуня», «Чайка».
 Как «Чайку» любит гарнизон!
 Она любимица солдата,
 И часто мокрой тряпкой он
 Иль попросту полой халата
 Нагар сотрет пороховой,
 Гордясь, как лучшим другом, пушкой...
 Шутя, зовет ее старушкой:
 «Летай, мол, Чайка, над Невой...»

В шелка зари река одета...
 Патрон кладет он на ладонь...
 Блеснула красная ракета:
 «Огонь из крепости! Огонь!»
 И наблюдатель взглядом мерит
 Плывущий с Ладоги закат...
 Там, где в тумане левый берег, —
 Фашисты лагерем стоят...

Пришла зима... Неву сковала,
 Сугробы к башням намела
 И лодки с ближнего причала
 Мохнатым снегом занесла.
 Взяв палки, ножницы, веревки,
 Следя за лыжной на снегу,
 За «языком» ходили к «бровке» —
 К домам на левом берегу.

Темно. А небо — в хлопьях мокрых...
 Идут в разведку налегке...
 И Афанасьев долго смотрит,
 Как лыжня вьется по реке.

Он мало жил, но видел много,
 Он из-за парты сразу в строй
 Шагнул, и вот — войны дорога,
 Бои, походная тревога —
 Начало жизни молодой...

Он смотрит вдаль и видит вновь
 Дымки пожаров на просторе...
 В походе — первая любовь...
 И первый поцелуй — в дозоре...

Она звалась Машей...

С ней
 В походе встретились у Гдова.
 Начало их любви сурово:
 Огонь фашистских батарей
 И треск чужого автомата;
 Ряды разрушенных траншей
 И проволока у камней...

В окоп влетевшая граната...
 Бой с каждым часом тяжелей...
 перевязал он руку ей —
 Далеко было до санбата.

Потом в пути короткий отдых
И белой ночи тишина.
И отблеск синих звезд на водах...

Горел костер у валуна,

И девушка с лицом упрямым,
С лукавым взглядом светлых глаз
Сидела рядом и о самом
Ей дорогом вела рассказ.

Он вспомнил вечер отсиявший
И на ветру гудевший клен, —
Рассказ о Данко вместе с Машей
Читал той белой ночью он.

Как волновала их на зорьке
Времен давно прошедших быль,
Что передал когда-то Горький
Словами старой Изергиль.
А луг горел, пылали маки,
Шел Данко гордо впереди,
Пылало сердце, словно факел, —
Его он вырвал из груди.

Его судьба давно воспета,
И помнят в отчей стороне
Сиянье праздничное света
В неопалимой вышине...

.

Как дорого пережитое
С ней вместе на путях войны, —
В лесах сиянье голубое
И в заозерье плеск волны,
И парашюты в звонком небе,
И вздох пред затяжным прыжком,
И горечь плесени на хлебе,
Когда делился с ней пайком.

Он с ней суров был, строг, как старший,
Учил искать тропу в лесах,

Ругал за разговор на марше,
Шутил, когда она в слезах.
И вот сейчас. . .

После раненья
Она вернулась на завод. . .
И вновь пред ним одно виденье
Той ночью зимнею встает.
Как будто Маша снова рядом
Проходит возле батарей. . .
Не выхватишь из дымки взглядом
Ни троп, ни зданий, ни огней,
Но словно легкое дыханье
Он слышит где-то за собой. . .

Как дорого воспоминанье
О каждой встрече фронтовой!

Уже давно он ждет письма. . .
Хотя бы вести запоздалой. . .
Декабрьской длинной ночи тьма. . .
Зима. . . Блокадная зима. . .
Метели над землею малой. . .

6

Тот берег, где таился враг,
Был назван снежным Измаилом.
Бежит огонь по рощам хилым.
Взгляни туда: обрыв, овраг,
Бетонный дот, две башни рядом —
Придется с боя каждый шаг
Здесь брать штурмующим отрядам.

Разведчики теперь в чести:
Пришлось не раз под канонаду
Невы широкою преграду
Им поздней ночью перейти.
И той же ночью в ветхом доме,
Где храп соседей клонит к дреме,
При жалком свете ночника
Разведчик напрягает зренья

И долго пишет донесенье
Для штаба ближнего полка.
Поспит потом.

Перед обедом
Все соберутся в тесный круг.
Политзанятия по средам
Проводит старший политрук.

Пригнувшись, входит он в землянку
В широкой куртке меховой,
Снимает старую ушанку
С пятиконечною звездой.

Потом, присев у круглой печки,
Смахнет он мокрый снег с лица,
И любят все его в Орешке
И уважают, как отца.

Да, каждому Егоров — друг!
Его в глаза разведка наша
Зовёт «товарищ политрук»,
Но за глаза всегда «папаша».

И Афанасьев вновь берет
Свою заветную тетрадку:
В ней записал он по порядку
Пережитое в этот год.

И вот уже идет беседа
О нынешних и прошлых днях,
О том, как исстари победа
Всегда ковалася в боях,
Про волю Партии, про славу
Давнишних схваток и боев,
Про всё, что вписано по праву
В Историю Большевиков.

О, книга книг! Какое счастье,
Как и всегда, и в этот раз
Почувствовать, что сердце чаще

Стучало, слушая рассказ
О нашей славе... Визг снаряда,
Разрывов грохот на реке...

И старой крепости громада
Встает уже невдалеке.

Как будто, в вечных льдах затертый,
Орешек медленно плывет
К цветным огням родного порта,
К большому берегу работ.
Корнями вросшие в траншеи,
Там сосны — мачты корабля.
Хоть не скользят теперь по реям
В морозный вечер брамселя,
Но стяг над крепостью, как парус,
Просторы Ладоги деля,
Зовет туда, где ночь распалась,
К тебе, Цветущая Земля!

7

Глядел однажды Афанасьев,
Как привередливый мороз,
Ледком деревья разукрасив,
У «бровки» строил перевоз.

На «бровке», на высоких скатах,
Деревья мерзли ввечеру,
Как в маскировочных халатах,
На резком ладожском ветру.

Смеркалось... Ветер над Невою,
Серчая, разрывал туман,
А там, за вьюгой снеговою,
Там, за завесой огневою,
И день и ночь готовый к бою,
На вахте город-великан.

Мороз сердит и привередлив,
Всё в лапы белые берет...

«Здесь Афанасьев?»
— «Да!»
— «Немедля
В штаб вызывают...»

Он идет,
Волнуясь, входит в главный корпус,
И вот — неожиданней всех наград! —
Ему вручен зеленый пропуск:
На день поездки в Ленинград!

.
О, как он этот день отметит,
Как много у него забот!
Он завтра ж, завтра ж Машу встретит
И с ней весь город обойдет,
О днях блокады в Ленинграде
Услышит от нее рассказ.
Хоть будет грусть теперь во взгляде
Ее прозрачных, светлых глаз, —
Он бредит счастьем этой встречи,
Он будет помнить наизусть
Ее задумчивые речи,
Ее улыбку, слезы, грусть...

8

Он снова в городе.
Давно ли
Он с песней приходил сюда?
Здесь всё знакомое до боли,
Свое, родное навсегда.
Закат огромный над мостами,
И в дымке серо-голубой
Темнеет пламя надо льдами,
И меркнет вечер огневой.
Но снова небо Ленинграда
Закрыла сумрачная мгла...

Тревожный гул. Разрыв снаряда.
Гудит чугунная ограда.
След крови на снегу у сада:
Как корабли плывут дома...

Сугробы.

Ленинград.

Блокада.

В снегах метельная зима...

И снова сердце метронома
Стучит тревожно.

Возле дома

Шипят осколки на снегу,
И детский крик исполнен муки,
И на широком берегу
Лежит в крови, раскинув руки,
Усталый юноша в кожанке.
В крови его высокий лоб,
И тащат низенькие санки
Две старых женщины в сугроб.

И вот в сиянье желто-белом
Сплошные вспышки в облаках,
Весь город снова под обстрелом,
И своды рушатся в домах.

Разрезана огнями тьма,
И корчится от муки площадь,
И вьюга зимняя сама
Разорвана обстрелом в клочья.

Бежит прохожий к перепутью...
(Ему лишь миг осталось жить!)
О, если б город смог прикрыть
Разведчик собственной грудью!

Он не задумался бы, нет,
И жизнь отдать...

Над берегами

Вдруг нестерпимо яркий свет
Блеснул за невскими мостами.
И вот гудит весь город вновь
Во тьме...

А воздух зимний гулок...

И Афанасьев мимо льдов

Свернул

с канала в переулок.

Вот дом, где Машу он встречал...

Вдали окликнули кого-то...

По мерзлым глыбам кирпича

Он входит в узкие ворота.

Темно. А лестница скользка.

Обледеневшие ступени.

Дыханье злое сквозняка.

Чуть-чуть дрожит его рука

Над круглой кнопкою звонка.

Ни звука...

Тишина...

Терпенье...

Где ж Маша? Выйдет кто-нибудь?

Шаги ли это в коридоре,

Иль ветер, вновь пускаясь в путь,

Гремит железом на просторе?

Ждет Афанасьев.

А потом

Он в дверь стучится кулаками.

Как неприветлив старый дом!

Но вот скрипучими шагами

Подходят к двери...

«Кто вам нужен?» —

Спросил старик...

(Зажег свечу

И кашляет — видать, простужен...)

«Я Машу повидать хочу...»

— «Вы?

Машу?

Но она давно...»

И губы старика немеют.

И слова он сказать не смеет...

Свеча погасла... Как темно...

И только трудное дыханье
Без слов сказало обо всем...

Когда заветной встречи ждем,
Мы не боимся расстоянья,
Сквозь дали мчимся, сквозь года.
Весь мир поет, летя пред нами...
Но если сторожит беда,
Как нетопырь взмахнув крылами,
То трудно сразу нам понять,
Что нашу жизнь сейчас сломало...

И Афанасьев шел опять
Вдоль темных берегов канала.
Остановился, говоря
С прохожими...
Полоской резкой.

Обозначалась заря
Над старой набережной невской,
Когда к мосту он вышел...

Так...

Непостижима доля наша:
В огне сражений и атак
Он невредимым был...

А Маша...

Но мыслимо ли это?

Нет!

Томят его воспоминанья...
Нет горше муки и страданья,
Чем те, что нес ему рассвет...

9

Когда, замкнувши окруженье,
Фашисты шли на Ленинград,
То голод на вооруженье
Включили раньше всех бригад.
Казалось им: чем туже стянут
Петлю блокады у реки,
Тем ближе к цели страшной станут.
И говорили вожаки:

«Когда рукой костлявой стиснет
Им горло голод, то падут...»

Но человеконенавистник
Не знал, что сам уже он труп!
Фельдмаршал прусский рвался в город,
Но в смертной схватке изнемог...

Отступит и фельдмаршал Голод
С ведущих к Невскому дорог.

10

Нелегко был с природой спор,
И мы его не позабудем.
Морозный ладожский простор
Измученным открылся людям.

Нагромождения торосов...
В бомбежку фонари горят...
И в лед врезаются колеса —
Машины мчатся в Ленинград.
Разрыв снаряда, мина взвизгнет...
Но режут вновь колеса лед...

Дорогу ту Дорогой Жизни
Теперь отечество зовет...

11

Бегут ряды высоких вешек...
Дорога Жизни так близка
К местам, где висится Орешек,
Где льдами скована река.

И Афанасьев ходит часто
К Дороге Жизни.

По ночам
Его дозор, его участок
Вдоль лыжни, выющейся по льдам.
Дорога Жизни! Слово это
Теперь так дорого ему...

Но вот взлетевшая ракета
Внезапно озарила тьму,
И перед ним из дали темной,
Из просиявшей темноты
Встает опять простор огромный
Высокой Машиной мечты:
То Данко шел сквозь дым и версты
Навстречу праздничной судьбе,
То — жизнь и смерть в единоборстве,
В их поединке, в их борьбе.

И видит он теперь: в ненастье
По льдам несется широка
Дорога Жизни — наше счастье,
Дорога в Завтра и в Века!

Ведь те, что жили, что боролись,
Попрали смерть душой живой,
И кажется, что Машин голос
Гремит за вьюгой снеговой:

«Меня уж нет, но я в дыханье
Твоём и в подвиге твоём,
В твоей мечте, в воспоминанье,
С тобой под вражеским огнём!»

12

Трещали зло сухие ветки...
Полз Афанасьев по снегам...
Три дня уже, как он в разведке
Ходил по вражеским тылам.

У белых пушек в поле белом
Стоят фашисты за рекой.

Дорога Жизни под обстрелом!
Смерть с Жизнью вновь вступает в бой!

Морозных, трудных дней приметы:
Снег твердым, словно камень, стал...

У Афанасьева ракеты,
И красный цвет — его сигнал.
И где взлетит его ракета,
Там станет вдруг светло, как днем,
Там перестрелка до рассвета:
Все вражьи пушки под огнем!

И всю-то ночь в седом тумане
Следят на нашем берегу
Ракет слепительных мельканье —
Сигнал к удару по врагу.

18

Четвертый день...
Ползет, усталый,
Он по сугробам снеговым,
Спешит туда, где отблеск алый
Горит над берегом родным.

Как близок берег!
И неожиданно,
По насту снежному звеня,
Скользнули лыжи из тумана —
И сразу целый сноп огня.
Один средь этой волчьей стаи...
Один... Но Родина за ним...
Как будто крылья выросли
За каждым выстрелом глухим.

Отбился... дальше полз... как реял
Закат суровый... за холмом
Стоят в укрытье батареи,
Замаскированные днем,
Стоят фашисты у ограды,
И пушки — три... четыре... шесть...
И рядом — ящики... снаряды...
Снаряды... Сколько их? Не счесть.

Когда б еще ракеты были,
Он выстрелил бы с этих круч,

Сигналы б яркие поплыли,
Врезая край нависших туч...

Но что же делать? В поле белом
Стоит врагов широкий строй,
И в речи медленной, чужой
Слова команды огневой...

Дорога Жизни под обстрелом...
Смерть с Жизнью вновь вступает в бой!

Глубокий след на белой глыбе...
Грохочут пушки впереди...
Коль приведет к победе гибель —
Погибни!

Только
победи!

Он к батарее полз... И вскоре
Увидел прямо пред собой
Значок фашистский на заборе,
Мундир зелено-голубой.

Теперь пора... Уже заложен
Под ящики весь динамит.
«Отчизна! Сделаем что можем!
Пусть взрыв могучий прогремит,
С моею кровью над снегами
Смешается пусть пламя здесь,
Чтоб, умирая, пред врагами
Я светом света вырос весь.
Ведь Жизнь всегда непобедима!
Так!

Значит, Смерть побеждена!»

Ползет по снегу струйка дыма...
На миг настала тишина...
Он чиркнул спичкой.

Сразу пламя

Рванулось вверх.

Мгновенный взрыв.

Пылает факел над снегами,
Поля и рощи озарив.

И сразу стереотрубою
Слепящий факел засекли.

Огоны!

 За рощей голубую
Снаряды первые легли,
И в блеске огневой завесы
Поплыл артиллерийский гром, —
От поля дымного до леса
Весь берег в зареве сплошном.
И этот факел запылавший
В веках не смеркнет, отпылав.

Прославлен русский воин, павший
За правду, смертью смерть поправ.

14

Назавтра днем солдаты наши
В разведку вызвались идти.
Вот оглянулись вдруг на марше
Назад, на дымные пути:
И ярким светом засиявший
Орешек стал гораздо краше,
Ну прямо глаз не отвести!

Стоят ряды зеленых вешек
На минном поле за холмом.

На зорях кажется Орешек
Плывущим к морю кораблем.

Корнями вросшие в траншеи,
Там сосны — мачты корабля,
По черным веткам,
 как по реям,
Плывут флажки, как брамсея,
И стяг над крепостью, как парус,
Просторы Ладоги деля,
Ведет февральской бури ярость
Туда, где будут жить, не старясь,
К тебе, Счастливая Земля!

1943

234. ПРАЗДНИК

Я помню: занавесь взвилась,
Толпа угомонилась,
И ты на сцену в первый раз,
Как майский день, явилась...

Некрасов

1

Стихами странными мы бредили тогда...
О, как еще свежо тех дней воспоминанье...
И книгу я назвал «Фартовые года», —
Теперь уже смешно мне странное названье...
Но как меня тогда влекло очарованье
Задорных поисков и споров...

Лебеда

Уже шумит кой-где на памятных могилах,
Бессонница пройдет, и сколько видишь снов,
И нету рядом губ и ласковых и милых,
Твердивших на заре слова моих стихов.

В тужурке кожаной, терзая длинный чуб,
Вслед за другими увлечен сравненьем,
Я утверждал, что дым фабричных труб
Милее мне усмешки милых губ,
И это называл стихотвореньем...

Писать стихи в дни молодые легче,
Нет в зрелости труднее ничего, —
В дни юности, в какой-то тихий вечер,
Мы груз стиха кладем себе на плечи,
Не зная сами тяжести его...

Кто не мечтал о радостном свершенье,
Чтоб, ярким светом землю озарив,
Стих сам пришел к родному поколенью
В заветный час как боевой призыв?

Чтобы в строю поэзия шагала,
Горда высокой доблестью своей. . .

Сто жизней жить, а всё нам будет мало,
Чтоб воссоздать величье наших дней.

Но сколько нужно вкуса и ума,
Чтоб был в стихе удачен первый поиск. . .
Мой путь нелегок был, но жизнь сама
В былые дни писала эту повесть. . .

И было много в молодости той,
В хорошей прямоте, в незрелости суждений
Отваги и любви, в боях пережитой.
Я кровью стих писал в далекий день весенний.

Я жил в Москве. В далекий этот год
Стих Маяковского я услышал впервые,
И первая любовь опять меня зовет. . .
О, как не вспомнить зори молодые. . .

. . . Январский день. Мороз необычайный,
Но зайчики на зеркалах спелят,
Два самовара на Таганке, в чайной,
Как индюки, до вечера шипят.

Пшеничный сгибень с дужкою из теста
Кладут на стол, и в клетках соловьи
Гостей раскатом радуют уместным.

А рыхлый след дорожной колеи
Следы саней больших перебивали.
Горчинкой дымной воздух напоен.
Как в кисее за съездом на бульваре
Промерзший, гулкий одинокий клен.

Бывало, мы по улицам идем, —
Как здесь знакомо всё и незнакомо:
Вот весь в огнях высотный первый дом,
Построенный во славу Моссельпрома.

Приметы новых, знаменитых дней
Здесь смешаны с московской стариною:
Извозчики торопят лошадей,
Автомобили мчатся стороною,
И тракторы на улицах гремят,
Неторопливо шествуя к вокзалам,
А ходоки у входа в Наркомат
На них глядят с волнением небывалым.

Всё строится. . . По улицам идешь —
Москва в узорах раннего сиянья,
И видишь новый города чертеж,
Дня завтрашнего видишь очертанья. . .

И в эти дни на пустырях глухих,
Когда-то слывших попросту болотом,
Стропила новых зданий городских
Вдруг сразу узнаешь за поворотом.

Москва зимой. . . Сто переулков белых. . .
Снега, снега. . . А Сивцев Вражек спит. . .
Взгляну, и вдруг на ветках омертвелых
Бумажный лист трепещущий висит. . .
И ворон спит, нахохлившись, и снова
Огонь в окне монастыря Страстного.

А дальше — переулок небольшой. . .
Стоит там дом с узорною резьбой,
С наличниками в красках разноцветных
И с двориком в строеньях неприметных.

Там в стеклах солнце яркое горит,
Тая одно знакомое виденье,
Пока еще строка стиха гудит,
Как юношеское сердцебиенье.

С тех пор двадцатилетие прошло,
А в памяти всё ясно и светло,
И дорог мне тот день, когда впервые
Пришел я в дом с узорною резьбой.
Там жил художник.

Имени его
Теперь не вспомнят многие, пожалуй.
Мастеровщины русской торжество
Жило в напеве кисти небывалой.

Из маляров неведомых возвысясь,
Он сделал жизнь по слову своему
И — самоучка, строгий живописец —
Писал лесов зеленую кайму,
Родные дали, волжское верховье,
А рядом оживало на холсте
Одно лицо с высокой, тонкой бровью
В неяркой, чистой русской красоте.

Рассвет над Волгой тает в дымке зыбкой.
Она стоит босая на камнях
И вдаль глядит с задумчивой улыбкой
На чуть припухших девичьих губах.
Как будто, вспомнив всё пережитое,
Она довольна этим ясным днем. . .
На ней из ситца платье простое,
В цветном узоре светло-голубом.
То дочь свою с косою русой, длинной
Он написал когда-то по весне. . .

Молоденькой московской балериной
Она тогда являться стала мне.

Она тогда, в дни утренней зари,
Истоминою мне казалась новой,
А ей стихи понравились мои
Подвижничеством юности суровой.
И вот сейчас, как остаюсь один,
Всё вижу вечер нашей первой встречи
И за плечами старших балерин
Ее чуть-чуть припудренные плечи.

Разъезд в театре.

Ночь.

Из-за дверей

Струится свет пленительный и слабый.
Выходишь в шубке старенькой своей
Из-за кулис в московские ухабы. . .

Извозчик ждет. Еще в снегах Варварка.
В Китай-городе тихо. За стеной
Косой фонарь всю ночь горит неярко
В зеленых хлопьях вьюги снеговой.

Метель снега свивает вдоль Таганки.
Вдвоем мы едем. Тихо. Ночь сама
Медвежьей полостью вдруг запахла санки. . .
Как хороша та снежная зима. . .

2

Мне день один запомнился особо —
Он был донельзя встречами богат. . .
Метель мела, весь город был в сугробах,
Почти с полудня выцветал закат.

Театр. Афиша. В списке знаменитом
Других влекут большие имена,
Мне ж всех дороже то, что здесь петитом
Вчера набрали:

«Анна Ильина».

Расстались мы возле театра с Анной. . .
Вот день пройдет, часу в шестом за ней
Зайду, и вместе, как на вечер званый,
Пойдем в Политехнический музей.
Стоял с утра над всем Тверским бульваром
Стеклянный хруст несколотого льда.
Встречались с друзьями в доме старом
Все юные поэты. . .

Что ж, тогда

Немало было, помнится, рассказов
Об этом доме.

Здесь с давнишних дней,

Черновики в тетрадях перемазав,
Читали мы стихи своих друзей.

Здесь много было памятных мне встреч. . .

Когда стихи мы запросто читали,
Нерусская порой звучала речь,
Издали к нам гости приезжали.

Всё громче голос Партии гремел,
Москва величьем времени дышала,
И вдохновлял могучий наш пример
Все лучшие умы земного шара.

Хоть в жизни раз, но побывать в Москве,
Хоть в жизни раз увидеть свет московский. . .
Они мечтали в ранней синеве
Пройтись с друзьями вдоль стены кремлевской.
Москва для них — заветная земля,
К ней шли они, ломая все преграды. . .
Как были гости счастливы и рады
Увидеть стены древние Кремля. . .

И в этот день, в метельном январе,
В широком зале, где светло и жарко,
Мы встретились с Вайяном-Кутюрье. . .
Беседовал тогда он с Матэ Залкой. . .
Я ту беседу помню наизусть, —
В тот день он был весь празднично-весенний,
Но сквозь веселье чувствовал я грусть —
Предчувствие грядущих потрясений.

Смеркалось. Матэ Залка с шуткой резкой
Пришел, подбросив слово, будто мяч. . .
Кто знал тогда, что будет под Уэской
Прославлен в песнях генерал Лукач?

Но вот меня уже зовут поэты.
Они сидят, составив пять столов,
Немного долгим спором разогреты,
Но больше жаром собственных стихов.

Сидим мы вдоль составленных столов.
Шумит циркач, к поэтам присоседясь,
И вновь смешит эстрадник-острослов
И без того веселых собеседниц.

Но мне сегодня вовсе не смешно,
Ведь всё полно таким очаровањем.
В полуподвале низкое окно,
А за окном сплошных снегов мерцанье.

Нас волновало новое искусство,
Рожденное в смятенье и в грозе. . .
Не нравилось, что, отвергая чувство,
Дом из стекла построил Корбюзье
В Москве старинной. . .

Громким разговором
Привлечены другие. . .

Спор и шум. . .
И старый друг, сердясь, твердит с укором:
«Нет, ты, конечно, сущий Стародум».

И вдруг движенье. . . Входит Маяковский. . .
Мне всё тогда запомнилось подряд,
Всё: трость и шляпа, дым от папироски,
Косящий, быстрый, беспокойный взгляд. . .
Садится он.

Невдалеке эстрада,
И кто-то там вполголоса поет.
Он оглянулся.

Все мы очень рады —
С поэтами он и меня зовет.

«Ну что ж, закончим давнюю беседу?
Иль не хотите спорить горячо?
Читать стихи на днях на юг я еду. . .
Да. . . кстати, в «Новом мире» вас прочел. . .»
(Опустим здесь то, что ушло далеко,
Что времени несет другого знак. . .)
«Не слишком ли уж любите вы Блока?
А я его любил совсем не так.
Его я видел, может быть, не часто,
На стыке где-то наших двух дорог.

Когда мне нужно было с ним встречаться,
Промедлить часа, помнится, не мог.
Вот пишет кто-то: «Я брожу по свету,
Ловя зари изменчивую тень. . .»
Совсем не то!

Пойти б ему в газету,
Трудиться честно на текущий день. . .
Что ж, а сегодня всех вас жду на вечер. . .»

Ушел. . . походка быстрая легка. . .
Широкие приподнятые плечи. . .
Мастерская крупная рука. . .

Ушел — и сразу стало тихо в зале.
Как мышь, бежит улыбка по столам.
Друзья глазами молча провожали,
А пошляки шипели по углам.

Но вспоминать ли каждый выпад плоский?
То, что ушло, к нам не вернется вновь.
Но навсегда Владимир Маяковский —
Всех стихотворцев верная любовь!

8

Шумит Политехнический музей,
Студентами облеплен каждый выступ. . .
Поэты все здесь: подходи, глазей. . .
Уже звонок. Сейчас начнется диспут.

Тогда немало было разных школ,
И в каждой школе свой порядок цвел,
И гении рождались с быстротой,
Какой хотелось критикам капризным,
И осуждался всеми стих простой,
Когда с каким-то не был связан «измом».
Здесь направлений разных главари
Готовы были спорить до зари. . .
Один хвалился: я-де ничевок,
И у меня-де есть своя отрада;

Клянусь вам: стих классический поблек,
Стихи писать сейчас совсем не надо.

Потом усталый лысый символист
О мистике беседу вел и часто
С упорством стихотворного гимнаста
В трясущейся руке держал широкий лист.
Его стихи — мистического склада,
В них тема смерти, забвения и сна,
Как думал он, исчерпана до дна. . .

Ушедший день теперь припомнить надо,
Когда пришли другие времена.

А вот певец лучины и сохи
С тревогой и усталостью во взгляде
Твердил, гнуся, старые стихи
О допетровском дедовском укладе.

Другой поэт — лысеющий, в пенсне,
Весь испытан, хотя еще не старый,
Пел о любви цыганской, о весне,
Склонившись над истерзанной гитарой.

Нет, прошлый день не «врезаете в сердца»,
Зовете зря «безумствовать стихами»,
Ведь мы и стих встречаем как бойца,
Ведь он в строю шагает вместе с нами.

И голосом и ростом не чета
Всем остальным — ему все рамки узки, —
Поднялся Маяковский.

Он читал
Поэму о бессмертии и Курске.

А мы сидели где-то наверху,
Восторженно любому слову рады,
Прислушиваясь к каждому стиху,
Что без цезур катился к нам с эстрады.

И после песен жалостных таких
О деревнях соломенной России
Нас выводил его могучий стих
К грядущему расцвету индустрии.

Страна моя! Былые голоса
Звучат меня опять в просторы странствий. . .
Как разгорелась света полоса
Над первыми из тех электростанций,

Что строили мы в давние года,
Я помню сам. . .
В лесной дремучей чаще
Вдруг зажигалась яркая звезда —
Как первый знак идущего к нам счастья.

Всё изменилось на эстраде вдруг, —
Как будто больше стало в зале света,
И быстрым плеском многих сотен рук
Все слушатели чествуют поэта.

В его стихе грядущее живет,
И чувствуешь, как слово необъятно.
Кто б смог сказать нам, что поэт — завод,
А он сказал — и стало всем понятно,

Что вдохновенье — это тоже труд,
Как труд рабочих, радостный и зримый,
Что только те поэмы не умрут,
В какие жизнь вошла неодолимо.
Он говорил с эпохой, со страной,
Он против школ с их узенькой программой.

И тихий голос Анны Ильиной
Мне то же повторял сейчас упрямо.

«Твой труден путь, — она сказала мне, —
И мой нелегко: каждый шаг на сцене
Уж потому всегда трудней вдвойне,
Что должен счастьем новых поколений
Стать легкий танец. . .»

Был я нелюдимым
И слов любви не смел произнести.

Крепчал мороз. Костры горели. Дымом
Заволокло проезжие пути.
Снега мерцали. Брезжил тусклый свет.
В Большом театре шел тогда балет.
Я и программку эту сохранил:
«Рапсодия» и «Дева ледяная»,
И Глинка нас мазуркою дарил,
И лебедей плыла по сцене стая.

Но лучше всех народный танец твой:
То медленно, то с плавной быстротой,
Шаль распустив, пленительно светла,
Передо мной по сцене ты прошла.
На этот раз признали все тебя. . .
Ты этим днем была гордиться вправе,
А я смотрел, волнуясь и любя,
Как будто был к твоей причастен славе.

Потом мы шли по улицам Москвы,
По переулкам узеньким, горбатым,
Какой-то дом, где каменные львы,
Запомнился далеко за Арбатом.

Молчали мы. Бывает иногда
Молчание красноречивей речи.
В тот день был праздник. Ты была горда
Своим успехом в этот зимний вечер.

На город мы глядим не наглядимся. . .
Скрипит, скрипит под каблуками снег. . .
Да, город весь такое же единство,
Как и его строитель — человек.

Москва зимой в суровых очертаньях,
Как песня, вся устремлена вперед.
И новые растут повсюду зданья,
На праздник свой она весь мир зовет.

Мы не любили в молодые годы
Тоску сентиментальных повестей,
Полутона и полупереходы
Отвергли мы на утре наших дней.

«Пусть всё пройдет, а ты со мной останься,
Хоть в памяти, а всё побудь со мной», —
Прохожий пел. . .

От давнего романса
Такою вдруг пахнуло стариной,

Что засмеялись мы.

Но неужели
И нам уже разлука предстоит?
А в переулке слышен рев метели,
И колкий снег навстречу нам летит.

«А знаешь, жаль мне этой синевы
Сейчас, в дни предотъездные. . .»

— «Но разве
Ты уезжаешь?»

— «В горы Средней Азии
Бригаду направляют из Москвы;
Мы едем к пограничникам, а дальше
Поездка предстоит по всей стране. . .
Подумать только, целый год на марше,
В пути, в пути. . .»

Даст это много мне. . .
Людей увижу новых, и приметы
Наставших дней мне будут так ясны.
Поможет это мне и для балета,
Который назван «Праздником весны».
Ведь жизнь — праздник. . .

Каждый день в трудах,
Но труд-то — радость,
нет на свете выше. . .

Как Маяковский хорошо на днях
Сказал о том, когда на сцену вышел».

.
А через день я Анну провожал.
Я помню окна первого вагона,

Огромный переполненный вокзал,
Гул голосов вдоль низкого перрона.

«Мы встретимся, —

она сказала мне,

Когда, гремя, рванулися вагоны, —
Жди писем. . .»

Небо дымное в огне,

И милый голос, ветром повторенный. . .

б

Весною я уехал из Москвы
В далекий край, к верховьям Енисея.
Там небо необычной синевы
Становится вдруг черным, грозовея.

Там бакены гудят, не умолкая,
На гулких волнах света полоса,
Там ветролом от края и до края,
Там смотрят ввысь могучие леса.

Охотничьего строгого уклада
Я в странствиях не нарушал в те дни,
Но как порой бывало сердце радо,
Когда я видел на реке огни.

Как в городке я ждал московской почты. . .
Однажды рылся в ворохе газет,
Чтобы найти в коротких строчках то, что
Шло из Москвы на весь широкий свет.

Вдруг в хронике газетной, в нонпарели,
Четыре строчки медленно прошли,
Они, казалось, пламенем горели,
Они, казалось, руки обожгли.

«Передают нам: на Каспийском море
Шел катер рано утром по волнам
Вразрез валов, — нежданно на просторе
Жестокий вал ударил по бортам.

На катере — московская бригада,
Артистов ждал в тот день погранотряд.
В двух километрах от погранотряда
Был опрокинут катер.

Говорят,

Все спасены...

Лишь Анны Ильиной
Недосчитались... Сметена ль волною?
Нет, кажется, надежды никакой
Ее найти...

Артисткой молодою
Театр гордился... Все потрясены
Тяжелой этой раннею потерей...»

.
Как позабыть мне зори той весны?
Как версты счесть, что я в те дни измерил?
Казалось мне, что не пройдет беда,
Что должен я погибнуть в том же море.
Далекий день... Ведь я не знал тогда,
Что тихнет боль и что проходит горе,
Что боль рассеют медленно года,
Оставив только память на просторе...

6

Прошли года — я много испытал,
Так прожил жизнь, как и мечтал когда-то.
Там, где войны железная пята
Гремела долго, я прошел солдатом.

И вот опять знакомые просторы
Зовут меня из отошедших дней —
Нескучный сад, и Воробьевы горы,
И переулок юности моей.

Я вновь пришел в тот тихий переулок.
Не изменился мой любимый дом.
Засиневело небо над прудом.
По-старому был двор широкий гулок.

Хозяйственные старые скворцы
Неспешно у скворечен хлопотали,

И на пригорке липы зацветали,
И пыль с цветов несли весны гонцы.

И снова я ту молодость увидел,
Которая лишь к подвигам звала,
И в испытаньях трудных и в обиде,
В потерях, в горе крепла и росла.

Падучею звездой воспоминаний
В рассветный час опять озарена,
Из светлых дней, из давней, давней рани
Вновь предо мной является она.

Поет, смеется, вьется светлый локон. . . .
Всё так же ясен этот чистый взгляд. . .
Она со мною, как в том дне далеком,
Тогда, двадцатилетие назад.

Я вижу снова платице простое
Из ситчика цветного, и со мной,
Как будто позабыв пережитое,
Она идет по насыпи крутой.

Всё круче путь, всё выше восхождение,
В театре шумно, музыка гремит. . .

Так в юности мелькнет одно виденье,
Хоть смерть придет — и оборвет свершенье,
Но не умрет вовеки вдохновенье,
И, может быть, другое поколенье
Тот милый образ в сердце сохранит.

Да, молодость твоя была чиста,
Вся в поиске и вся в одном порыве,
Одна тебя всегда влекла мечта:
Найти свой путь в могучем коллективе.

Ты так легко, так празднично жила,
Как песня ты вошла в воспоминанье,
По сцене ты как майский день прошла, —
Всё надо мной горит его сиянье.

Ведь то, чем мы дышали и горели,
О чем мечтали, будет жить всегда.
Дню завтрашнему мы в глаза смотрели —
И в нем частица нашего труда.

От правил чести наше поколенье
Не отступало в жизни ни на миг. . .
Пройдут года, и хоть узнают тленье
Страницы наших самых первых книг, —

Но праздник жизни будет всё чудесней,
Всё ярче песни праздничный полет, —
И счастлив тот, кто жизнь свою, как песню,
В борьбе за правду радостно сплет. . .

1945

235. ВЕЧЕР В ГОРКАХ

1

Бывают порою осенней
Особые ясные дни.
И улицы старых селений,
И старые липы в тени —

Всё дышит покоем, прохладой,
Такая прозрачность во всем...
Еще не порой листопада
Мы раннюю осень зовем.

В природе всегда равновесьем
Отмечена эта пора...
Да мало ли сложено песен
О ней у лесного костра!

Тяжелых снопов изобилье...
Флюгарки звенят на шесте...
И ласточек острые крылья
Мелькают в родной высоте,

И пугала дремлют у грядок...
А в избах — кисель да блины,
И отдых заслуженный сладок
Тому, кто работал с весны.

Рассветов холодная просишь,
Закатных часов желтизна. . .

Плывет над оврагами осень,
Трубит по дорогам она. . .

Люблю ее медленный, ровный
И радостный сердцу полет. . .

Опять в стороне подмосковной
Прозрачное небо поет.

2

Холодная, светлая осень
В начале тридцатых годов. . .

Раскидистый клен на откосе.
Синицы свистят у прудов.

Как радуется сердце раздолье,
Простор неоглядный земли. . .
Здесь новые тракторы в поле
Недавней порою прошли.

И снова они со стараньем
По ближним дорогам гремят.
На них с-под ладони с вниманьем
Веселые дети глядят.

Вела меня в Горки дорога.
Стоял на пригорке крутом
Стожар невысокого стога,
Омытый осенним дождем.

И чист был настоящий воздух. . .
Казалось, нетрудно вдали
В прозрачных мигающих звездах
Найти отраженье земли.

И памятью сердце богато. . .
Над нивами высился дом.
В багровые волны заката
Гляделся он каждым окном.

Кого только в доме не встретишь. . .
Здесь столько бывало гостей. . .
С Байкала веселые дети,
Певец из казахских степей.

Здесь вместе с уральским шахтером
Бывал знаменитый актер;
Здесь люди дышали простором
И с Горьким вели разговор.

Ученый с седой бородою
Рассказывал долго ему
О колбах с тяжелой водою,
О новых растениях в Крыму.

Твердящий как будто украдкой
Любимые строки стихов,
Поэт появился с тетрадкой
В один из таких вечеров.

И нет на земле расстоянья:
Несло поколение сюда
Свершенья свои и мечтанья,
Великую славу труда.

8

Над Горками теплится вечер. . .
Приветлив вместительный дом.
И радостны шумные встречи
Бывали за этим столом,

И много людей настоящих
Здесь жизнь собирала сама,

Таких, кто отменный образчик
Характера, воли, ума.

Кто странствовал много по свету,
Кто с юности вечно в пути,
Кто смог всю большую планету
От края до края пройти,

Кто с юности строил упорно,
В тайге возводил города,
Чьей сказочной воле покорна,
Текла по пустыням вода,

Кто с радостью вкладывал душу
В деяние жизни своей...

И Горький внимательно слушал
Рассказы бывалых людей.

Он чуток был к фразе и фальши...
Коль врут — становился сердит...
Негромко, не слушая дальше,
Рукой по столу постучит...
Но если веселую правду,
Забыв о былой похвальбе,
Рассказчик решается храбро
Поведать друзьям о себе,

То Горький, внимая рассказу,
Смеется, и видим: слеза
Блеснет, затуманивши сразу
Его голубые глаза...
Становится тотчас он ласков,
И сразу же сердцем поймешь:
Прекрасна нехитрая сказка,
Бездарна красивая ложь!

...И вот я в его кабинете...
 Уже затуманился день...
 В холодном огне, в полусвете
 Бежит над полянами тень.

За окнами — дождь, и промокла
 Березка, в туман уходя,
 Стучатся в прозрачные стекла
 Зеленые капли дождя.

Он рукопись чью-то листает.
 Задумался. Гладит усы.
 А песня вдали нарастает,
 Рокочут в столовой басы.

Становится ярок и пышен
 Закат в голубой полумгле. . .

А груды прочитанных писем
 Лежат на широком столе.

Конверты, листки, бандероли,
 • И всюду на них — штемпеля.
 Взгляни — и увидишь раздолье:
 Здесь вся пред тобою земля.

Открытка, где в красках неярких
 Индийский горит океан,
 А рядом — огромные марки
 Из крохотных западных стран.

И всюду — и в песнях, и в прозе —
 Предвестием бури гудит
 Тот радостный ветер предгрозя,
 Что души людей молодит.

Всё это доходит по праву
 Сюда до поэта-творца.

Не просто огромная слава
К нему привлекает сердца.

Нет, смотрят спокойно и твердо
Милльоны людей на него.
Слова «Человек — звучит гордо»
Сегодня дороже всего.

Что нашего века чудесней?
Что радости нашей светлей?
Летит на заре Буревестник
В простор знаменитых морей. . .

И море волнуется снова. . .
Гроза не смолкает над ним. . .
Великое русское слово
Становится нынче родным

Всем тем, кто в безмерной надежде
Грядущему молвит: «Пора!»
Прошло невозвратное «прежде»,
Навек миновало «вчера»,

И завтрашний день величавый
Встает над землею большой —
С его исполинскою славой,
С его богатырской душой.

Художник, до жизни возвысаясь,
Нашел назначенье свое:
Правдивый ее летописец,
Творит он и строит ее.

Он был исполинским деяньем
С такой небывалой судьбой,
При жизни казался сказаньем,
И трудно мне было порой

Поверить, что Горького слышишь,
Что в комнате той же сидишь,

Что воздухом тем же ты дышишь
И в те же просторы глядишь.

Он кашляет. Дернулись плечи.
Прищурившись, смотрит во тьму.
(Как чувствовать больно, что нечем
Помочь в это время ему. . .)

Откашлялся. . . медленно дышит,
Глаза закрывая на миг. . .
«Но все-таки кто же напишет
Со временем книгу из книг,
Подробное повествованье,
Что жизнь ему в радость была,
Что горе свое и страданье
Он сжег, улыбаясь, дотла?»

О будущем думайте чаще,
Склонясь над страницей своей. . .
Ведь книга учителем счастья
Должна быть всегда для людей.

И, с рабскою выдумкой споря,
Должна она к людям нести
Не пошлую проповедь горя,
А счастье большого пути».

5

Вдруг дверь открывается. Входит,
Сутулясь, высокий старик.
Он комнату взглядом обводит,
К столу он идет напрямик.

Лицо его узкое в шрамах,
Как в метках бывшего пути.
От глаз его, странно упрямых,
Так трудно глаза отвести.

«А ваше лицо мне знакомо, —
Откашлявшись, Горький сказал. —
Кто нас познакомил?
Заломов?»

— «Нет, раньше я вас не встречал.
Я должен был встретиться с вами
Давно, но тогда не пришлось. . .
Прошел я, гремя кандалами,
Все царские тюрьмы насквозь».

Он руку, задумавшись, поднял
И молча подходит к окну.

«Поведать хочу вам сегодня
Я давнюю повесть одну.
Напомню про годы былые. . .»

Привычным движеньем руки
В массивной оправе, большие
Старик надевает очки.
С неожиданной улыбкой во взгляде,
Поставивши стул пред собой,
Странички из школьной тетради
Листает могучей рукой.

«Не выкинешь слова из песни. .
Сейчас. . . погодите. . . найду. . .
А дело то связано с Пресней,
Случилось же в пятом году. . .
Опять меня радость былая
К товарищам старым ведет. . .»

6

«Я в пятом году в Николаев
Пришел на «французский» завод.

Массовки литейного цеха. . .
К нам шлют делегатов войска. . .

Я вскорости в Питер поехал —
Вручили мне явку в ЦК.

В Финляндии Ленина встретил,
С ним долго беседовать смог,
И встречи заветные эти
С тех дней в своем сердце сберег.

Да, было загадано много. . .
Но вновь Николаев зовет,
На юг побежала дорога,
На старый «французский» завод.

Немало я взял поручений —
Москва-то была по пути, —
Вручил мне записочку Ленин:
Просил ее к вам занести.

Мороз фонари над мостами
Снежком опушил в синеве. . .
Я думал:
 как встретиться с вами?
Что ждет меня завтра в Москве?

И только я вышел с вокзала,
Услышал далекий раскат:
Москва на рассвете восстала,
Знамена над Пресней горят.

А в Пресне, у старого сада,
Жил друг мой по юным годам.
К нему поначалу бы надо,
Оттуда — с запискою — к вам.

Не скоро добрался до Пресни.
В тумане мерцают штыки.
Чем был тогда ваш «Буревестник» —
Вам могут сказать старики.

Кто песню о нем не запомнил?
Везде Буревестника тень. . .

Сверкал отражением молний
В снегах разгоревшийся день.

Тревога! В огне баррикада!
Убитый товарищ упал.
Я встал, не задумавшись, рядом,
Ружье из руки его взял.

Снаряды протяжно завывли. . .
Плывет предрассветная муть. . .
Был ранен тогда я навывлет
Жандармскою пулею в грудь.

Фуражка с кокардой близко. . .
Я спичкою чиркнул и сжег
В зеленом конверте записку, —
Закон конспирации строг.

Очнулся в тюремном халате.
На мокром полу я лежал.
Судили в судебной палате,
Отправили в дальний централ.

Обрушились каторги своды,
Да я не вернулся в Москву —
Пришли партизанские годы. . .
Теперь же в Приморье живу. . .

С тех пор много лет миновало —
А всё в моем сердце укор.

Вот шел к вам, волнуясь, с вокзала,
Не знал, как начать разговор, —

Ведь мучит меня и доселе
Моя перед вами вина. . .»

Замолк. И глаза заблестели. . .
Какая вокруг тишина. . .

Казалось, что облако дыма
Сюда донесло с баррикад —

Так явственно, слышимо, зримо
Былых перестрелок раскат.

Иль ветер с пылающих улиц
Сейчас нестерпимо гудел?

Рассказчик склонился, нахмураясь...
Задумавшись, Горький сидел.

Потом взял, помедлив, тетрадку.
Лицо его стало светлей.

Он вслух прочитал по порядку
Всё то, что записано в ней.

За окнами в поле — сиянье,
Прозрачный, трепещущий свет...

«Мне дорого ваше признание...
Как жаль, что записки той нет...»

Но радостно мне, что неожиданно
Из дальней приморской земли,
С крутых берегов океана
Сюда вы с тетрадкой пришли.

Бесхитростны записи эти,
Но жгут они душу огнем...
Всего мне дороже на свете
Правдивое слово о нем».

Закат становился пестрее,
И мне показалось: вдали
Крыло Буревестника реет
У самого края земли.

Терялась тропа у обрыва. . .
 Я шел вдоль изгиба реки. . .
 Туман подымался над нивой. . .
 Мигали в лесу огоньки. . .

Уключины рядом скрипели. . .
 Вдоль берега лодка прошла,
 И девушки песню запели
 О липах родного села.

И песня летела, как сокол,
 Подняв два могучих крыла,
 Манила далеко-далеко,
 К свершениям новым звала. . .

Бежала по склонам навстречу
 Лесов золотая гряда.
 Пылали костры по Заречью.
 Как искра, мелькнула звезда.

А Горький стоял на поляне,
 Где зло разгорался костер,
 Смотрел на плывущий в тумане
 Полей подмосковных простор.

Как будто, взойдя по вершине
 На самый большой перевал,
 Оттуда он взглядом орлиным
 Земной окоем озирает.

Душой не старея с годами,
 Как в странствиях давнего дня,
 Любил он гудящее пламя,
 Любил он стихию огня.

Огонь первозданно огромен,
 Он сказочной силой богат,
 Он в яростном пламени домен,
 И он закаляет прокат.

Он в молнии, в отблеске плавок,
Он в солнечных вихрях гудит,
В салютах торжественной славы. . .

И сердце героя горит!

И память с годами не стынет:
Как будто то было вчера,
Я Горького вижу доньше
В немеркнушем свете костра.

Лицо его строго, и дума
Лежит, как морщина, на нем. . .
Не слыша окрестного шума,
Он долго следит за огнем.

Бежит по пригоркам дорога,
К другому ведет рубежу. . .

.
Как в памяти теплится много,
О скольком еще расскажу. . .

1946

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

2. С ТОБОЙ

I

*«Звезда»,
1925, № 4*

Над городом пели метели,
Горели костры на углу,
И песни рабочей артели
Летели в вечернюю мглу,
Как будто бы ветер союзный.
Доносится смех фабзайчат.
Над гарью и копотью кузниц
Заводские песни звучат.
Опять загудели моторы —
Не так ли и в те-то года
Вдымалась песня, которой
Уже не забыть никогда.
Он помнит: строгал спозаранку
Углы запричаленных барж,
Гремела тогда Варшавянка —
Рабочий испытанный марш.
Опять окликаются с ветром
Охрипшие глотки гудков,
Он помнит над первым Советом
Холодные тени штыков.
Он помнит знамена над Пресней,
Бастующих станций огни,
Опять захлебнулись песней
Его пролетевшие дни.

II

Птенцы, что ходили с Авроры,
Когда подымался прибой,
И приступом брали просторы —
Родимые братья с тобой.
Солдатам ли трех революций
Забудутся вспышки зари,
Пусть мускулы сталью нальются
И руки окрепнут твои.
Не зыркай о том, о хорошем,
И нам этот грохот знаком,

Парням с бескозыркою, с клешем
Иль с кимовским просто значком.
Не жизни потерянной кроха.
Походная песня горда.
Опять под тальянку, под грохот
Идут ветровые года.

III

Не ржавые песни Омира.
Сухие торцы мостовой.
Уже отгремело полмира
В горячке страды боевой.
Давно ли торопко метели
Сметали тропинки на льду,
И выстрелы бились и пели
Еще в двадцать первом году.
Пусть дрогнуло сердце невольно
И легкая дрожь на губе,
Но снова притуленный Смольный
Рванулся навстречу тебе.
Раскосы чуть-чуть и прищуры,
Не дрогнут слезою глаза,
О, первые дни диктатуры,
Приручена нынче гроза.
Ты бури запомнил раскаты,
Пусть грянет,
Тебе не впервой,
Но в сталелитейном пока ты
Бессменный ее часовой.

IV

Ах, шаркай, ах, шурхай ремнями,
Шарахайся выше, завод.
Уже истекая огнями,
Высокая стройка зовет.
В гуденье и ропот трансмиссий
И в шурханье маховика
Опять над машиной повисла
Шершавой ладонью рука.
Дымятся плавильные печи,
И тютелька в тютельку вдруг
Кацаются сто человеческих
Смозоленных вдребезги рук.
Проворнее двигай руками,
Эгей, подкачаешь, грубый! —
И сердце твое с молотками
Опять запоеет вперемой.

1925

3. ПЕРЕПРАВА НА КАМЕ

ФГ

Эва, снег захрустел под подошвами,
И проносятся улицы в ряд.
Да не те ли мне песни про прошлое,
Про давнишнее мне говорят.
А и жизнь была не по нраву,
Ой, недаром стоит вдалеке
При на правой руке переправа,
Переправа на правой руке.
Там желтеет песок, побережье,
Красный камень на Каме, и плот,
И заря вечеровая брезжит,
И пастух свои песни поет.
Ах, пути за пустым полустанком,
Ах, дороги, что сносят на слом.
До зари надрывать тальянкам
За глухим, за медвежьим селом.
Ой, гульба ребятишкам вихрастым,
Да и мне не пора на покой.
И стишкам, тараторившим часто,
Да в присядку любую строкой.
Любо-любо по пыльным дорогам
Вдруг прошедшее видеть из мглы.
Часовых уже нет по острогам,
Не звенят по кустам кандалы.
Ах, пути за пустым полустанком,
Ах, дороги, что сносят на слом.
До зари надрывать тальянкам
За глухим, за медвежьим селом.

1925

4

«Ленинград»,
1925, № 27
Перед
строфой 1

О, беспокойствие весеннее
В веселой суматохе дней.
Опять поют стихотворения
О жизни радостной твоей.

И вот увереннее поступь,
Дыханье станет горячей.
Огни у Выборгского моста
В тумане северных ночей.

5

«Красная новь»,
1925, № 10
Перед гл. 1

Землю штыком,
И пропеллером облако.
Петь и греметь литью.

Дни проходили
Локоть об локоть,
Как пехотинцы в строю.
Был я тогда —
Напористым парнем:
Френч,
Галифе,
на груди звезда.
Вслед за штабом Пятой армии
Пробегали агитпоезда.
Вшивые толпы, рты посинели,
Голос трубы грубей,
Но под полою грязной шинели
Сердце о ребра бей!

*Гл. 2, вместо
строфы 4*

Не шлындает буря,
Визжат буфера,
Ревут тендера, беспокоясь:
— Отряду на отдых!
Петрову пора
Покинуть с ребятами поезд.

*Гл. 3,
вместо 1—16*

Летели вагоны,
Свистели колеса,
Чернела ночь на пути.
Была такой же темноволосой,
Черноволосой почти:

Руку в рукав,
И тоску за шкуру.
Мало ль еще дорог!
Время летит,
И ты видишь, ширь как
Пóнт зарей восток.

За полустанком —
Метель бормочет.
Молча я ей подаю обрез.
Снова тропинки сырою ночью
За поворотами — наперерез.
Горькие губы теперь забудешь,
Голос в тревогу влит,
По плечу мне
И грудью к груди
Ветер степной стоит.
Два года проходят
Под рокот ветров —
В разведке,
в тылу,
в комендантском.
И голос ломается.

Стал он суров
Под Пермью
И под Соликамском.

Гл. 4,
вместо 17—26

Старик,
Проходивший с мальчишкой за мной,
Прямивший раздвинутый тальник,
Опять пробирался дорогой одной,
Тропинкой крутой и недалней.

6

«Юный
пролетарий»,
1926, № 11

Не говор московских просвирен,
Но всё же старайся сберечь,
Как песню, как гром в Армавире,
Обычную русскую речь.
Ее нехватишь в уставы:
Звонит, колобродит, поет.
Браток из-за Нарвской заставы
Таежной шпаны не поймет.
Где гнут большаками проселки,
Где липы и шорохи трав,
Иначе поют комсомолки,
Чем девочки наших застав.
Ты рано меня приласкала,
Но крепче слова отторочь
Над каторжным ветром Байкала,
В сырую балтийскую ночь.
Не говор московских просвирен,
Но всё же старайся сберечь,
Как песню, как гром в Армавире,
Обычную русскую речь.

1928

7. ВЕЧЕР

«Юный
пролетарий»,
1926, № 11

Снова шатаемся вместе,
Песни во мраке сыром,
Ветер из дальних предместий
Тихим поет ноябрем.
Путь в проходную контору,
Сумрак несносен и строг,
Сердце грустит по простору
Ближних и дальних дорог.
Теплые, теплые травы...
Кто торопливо поет
В сумерки Нарвской заставы,
В грохоте Нарвских ворот?
Ты ли, родное заречье,

Гаснешь в дыму и в пыли,
 Или жилье человечье
 Тянет меня издали?
 Тянут простою заботой
 Спевки, и слезы, и смех,
 Каждый дружок большеротый,
 Каждый измызганный цех.
 Нынче припомнишь под вечер
 Всё, что дарила гроза:
 Или тепло человечье,
 Или людские глаза.

1925

8

- | | |
|---|---|
| <p><i>ФГ</i>
 <i>После строфы 5</i></p> | <p>Над взмыленной пеной
 Последний полет,
 И ветер в антеннах
 До света поет.</p> |
| <p><i>Сб. 1937</i>
 <i>Вместо 5—10</i></p> | <p>В простор озаренный
 Веленьем земли
 Из гавани сонной
 Идут корабли,</p> <p>Привычным путем
 С чугуном и рудой</p> |
| <p><i>После строфы 5</i></p> | <p>Где белая пена,
 Где чаек полет,
 Там ветер в антеннах
 До света зовет.</p> |
| <p><i>Сб. 1952</i>
 <i>Вместо строф 4—5</i></p> | <p>Их штурман упорный
 Ведет в океан,
 Сквозь зимние штормы,
 Сквозь черный туман.</p> <p>И волны седые
 Окрасил закат...
 Далеко Россия...
 Далеко Кронштадт...</p> <p>Над взмыленной пеной
 Чаек полет...
 А ветер в антеннах
 До света поет...</p> |

«Звезда»,
1926, № 5
Вместо
строф 4—6

Если снова снега конспираций,
Горьковатый обыденный плен,
Это буря спешит пробираться
Переулками Rue de Caulin.

Чтобы руки рванули винчестер
Над морями, над звонами трав,
Над смятением берлинских предместий
И в дыму орлеанских застав.

После
строфы 7

И путиловский парень, и пленник,
Изнуренный Кайеннской тюрьмой, —
Всё равно, это мой современник
И товарищ единственный мой.

13. НОРД

«Новый мир»,
1927, № 6
Перед
строфой 1

Пусть в марте льды валандали,
Изнеможен и горд,
От берегов Гренландии
Идет в Архангельск норд.

Для тех, кто в баре тесненьком
Забыл заморский зов,
Идет он верным вестником
Ста тридцати ветров.

Он всё гудит просторами,
Срывая якоря,
Зовет в четыре стороны,
В далекие моря.

Ах, пропади ты пропадом!
Гундосят створы мглы,
Опять подходят с ропотом
Высокие валы.

Над горклыми просторами,
Почти на край земли,
Во все четыре стороны
Уходят корабли.

Вместо
строфы 1

Шатаясь,
топорщась,
гремя вперевой,
Стоцветной сыпаяся радугой,
Залетную вьюгу
выносит прибой
Над морем
и старую Ладогой!

КС
Вместо
строфы 2

И штурман
 норвежскую песню поет
Про горькую соль океанов,
Склоняясь над сетью широт и долгот,
Над россыпью меридианов.

14

«Резец», 1927,
№ 6
Вместо 5—18

Этот латаный, этот зеленый,
Столько суток шуршавший в траве,
Он качается, ошеломленный,
На веселой твоей голове.

И на что ему звонкая слава:
В нетерпенье, в разгон, в полутьму,
Всё равно, Таганрог и Варшава,
Перестрелка в лесу, переправа
Не припомнятся больше ему.

Ты придешь, и обронишь на стуле,
Среди кепок, фуражек, папах,
И засвищут шляхетские пули,
Застрекочет пропыленный шлях.

Зашатается тропка лесная:
Из-за сумерек, из забытья,
На зеленые волны Дуная
Выбирается лодка твоя.

Вдруг качнулся, и шлем выпадает,
Только руки на крючья легли,
Низкий берег во мгле пропадает
До далекой венгерской земли.

Шлем колышется твой на просторе,
Он пройдет все дороги сполна,
Унесет его в Черное море
Через несколько суток волна.

Но под грохот, под стукот, под пули,
С сумасшедшей такой высоты,
Сразу крепкие руки рванули,
И за шлемом бросаешься ты.

Шлем нашел ты и выплыл; я знаю,
Сколько суток шуршала трава,
Как ходила потом по Дунаю
Аж до Черного моря волна.

Вместо
строф 6—13

А того и никто не приметил,
И такое совсем невдомек,

Что не снес юго-западный ветер
Перержавленный медный значок.

Что значком этим землю опутав,
Под смятенье дружеских судеб,
Доставляли с московских маршрутов
Алюминий, и волю, и хлеб.

Этот латаный, этот зеленый,
Столько суток шуршавший в траве,
Он качается, ошеломленный,
На веселой твоей голове.

15

*«Октябрь», 1927,
№ 7
После строфы 1 и
в заключительной
строфе*

Гай да гай, отрада —
Жить да помереть!
Только песню надо
Легким горлом спеть.

*Сб. «Кадры», Л.,
1928
После строфы 18*

Гай да какие во мраке
Легкие тропы легли,
Снова поют гайдамаки
Песни литовской земли.

За Тихорежицким валом
Тихо гундосят слепцы.
Песню ведут запевалы,
Будто коня под уздцы.

Небу аж самому жарко, —
К страху слепцов и корчмарш,
Низкие крыши фольварка
Рубит буденновский марш.

*Сб. 1937
Вместо строф
4—14*

Вдруг тропа пропала.
Черный лес горит.
Старый запевала
Так мне говорит:

«Я гляжу, как в сонник,
В дальние кусты, —
Зацветает донник —
Желтые цветы.

Значит, вновь дорога
Длинной колеей
Побежит отлого
По степи родной.

Злых ночей отрада,
Будет месяц мреть,
Только песню надо
Легким горлом спеть».

Он сказал, и снова
Машет тяжело
Коршуна степного
Круглое крыло.

А там, за желтым склоном,
Понтонный мост тонул,
Вел песню о Буденном
Веселый караул.

Она ходила с нами
На самый край земли,
Как дорогое зная
Ее полки несли.

16

КС Около города, около
Сбитых окрест облаков
Медь вычеканивал колокол,
Сколько дорогами цокало
Конных и пеших полков.

Тихие всплески на доньях
Вспомнить, пожалуй, невмочь,
Сабли в тяжелых ладонях,
Синей попоной на конях
Хвастала рыжая ночь.

Дален, бесследен и темен,
Галькой сыпается шлях,
Пар от казачьих папах
Потом и гарью пропах.

Гай да какие во мраке
Легкие тропы легли, —
Снова поют гайдамаки
Песни литовской земли.

За Тихорежицким валом
Тихо гундосят слепцы.
Песню ведут запевалы,
Будто коня под уздцы.

Небу аж самому жарко,
К страху слепцов и корчмарш,
Низкие крыши фольварка
Рубит буденновский марш.

Верны раскачке шершавой,
Властной и теплой руки,
Снова пройдут под Варшавой
С легкой, как облако, славой
Смутные эти полки.

1926

18

«Резец», 1927,
№ 35
Вместо строф
2—5

Эти годы отмелькали.
Крепок бубен, ладен стук,
На далеком на Байкале
Сторожит тайгу Култук.

После строфы 6

Дни проходят, нет отбою,
Крепок бубен, ладен стук,
И крадутся за тайгою
Сто тропинок на Култук.

19

«Октябрь», 1927,
№ 4
Вместо строф
1—2

Слепое захоlustье,
Ни шороха, ни пня.
Но странное предчувствие
Вдруг обняло меня.

Погони в звоне шумном
Гремят и ночь и день
Не только по загумнам
Далеких деревень.

В тумане, в полумраке
Крутые острова,
На дальнем буераке
Не скошена трава.

После строфы 6

И льнет кустарник старый
Сквозь шорох, шум и гул,
Как в детстве за бугарой
Ко мне когда-то льнул.

Вместо строф
8—9

Пока за каждым дубом,
Вгрызаясь в эту твердь,
Со мной о самом грубом
Сумерничает смерть.

Ребята стали наспех, —
Иль жизнь не дорога —
На подступах, на насыпях
Обстреливать врага.

КС
После строфы 9

И ветер пропадает,
Туманы на логу,
И легкий сумрак тает
На дальнем берегу.

Вместо строфы 11

Прости, веселый парень,
За всё благодарю,
Я твой зеленый скварень
Другому подарю.

Вместо строф
15—17

— Ты спи, ты спи без страха, —
Гремит оркестра медь, —
Сгннет твоя папаха,
А песня будет петь.

И ночь свои ветрила
Теряет по пути
И над моей могилой
Поет: — Прости, прости.

Слепое захолустье,
Ни шороха, ни пня,
Но странное предчувствие
Вдруг обняло меня.

20

«Молодая
гвардия»,
1927, № 7
Вместо 1—4

Пора! Над рябью старой
Сгибаются борты,
Крадутся тротуары,
Колеблются мосты!

21. ПОБЕГ ШАХТЕРА ГУРИЯ ПОД КЛИНЦАМИ

1

КС

Сумрак бродит,
Гладь да тишь.
Банду водит
Батько Кныш.

Если батько
Очень хмур,

Водит банда
Сто бандур.

Бондит банда,
Что найдет,
Старый батько
Всё возьмет.

И деревню и село
До заваленок снесло.

Крыша — сбита крыша
Бандой батька Кныша.

По Тверской-Ямской
Да по Яузе
В духоте такой
Грохнул маузер,

Хоть он метил в тень,
Пали пули в пень.
Только шашек сверк,
Только руки вверх.

Синий дол спален,
Шел краском в полон.

2

Что ты, малый,
Очень хмур?
Слышен шалый
Гром бандур.

На бандуре
Грохот рос.

Вышел Гурий
На допрос.

Чуть привставши
От стремян,
Гыркнул старший,
Атаман.

Снова дурий
Разговор:
— Ты ли, Гурий,
Был шахтер?

Ты ли, Гурий,
На Махно
С красной бурей
Вел звено?

Гурий смотрит
На Клиңцы:
Стали по три,
Стервецы.

Вьюкнул зяблик,
Стынет гать,

Старых фабрик
Не видать.

С перцем,
С герцем,
С перьерьерьцем,
Распалился батько сердцем.

Дал он сердцу
Скорый ход:
— На курьерские,
В расход!

8

Над шагами быстрыми
Почему вдруг выстрелы
Грянули во рву?
Конвоир шатается,
За плечо хватается,
Падает в траву.

Гурий видит: за отарой
Заплутался мерин старый.

Бескозырку
Скинул вдруг,
Мерин фыркнул
В полный дух.

Покадунчики,
Побегунчики!

Неспроста
Был хмур —
В три креста
Аллюр.

Ступь на переступь
Через Нересту,

А по тропке узкой —
Мелкой перетрусской.
Хоть болота, тина хоть,
Ну-ка, выкинь иноходы!

Криком, стуком,
Гир-гар-гэр!
Ну-ка, ну-ка,
Дай карьер!

По пути,
Без пересадки,
Ты лети
Во все лопатки.

Пусть погоне
Не впервой —
Стали кони,
Стал конвой.

4

Гоп — за тропы
Не пройти.
Гопай, гопай
По пути!

Был зашлепой,
Свел концы.
Топай, топай
На Клинцы.

Через пряжку,
Через рожь,
Нараспашку
Ты бредешь!

Песня шла
Из-за кустов,
Проняла
До потрохов.

— Я ли, Гурий,
На Махно
С красной бурей
Вел звено,

Как со скрипом
Шел гараж

В Новозыбков
На Сураж.

Береза, што ли,
Дуб ли как
Замнут твои следы,
Республика,
Республика,
Веселые лады!

1927

22

«Новый мир», В той комнате,
1927, № 4 где «Варшавянка» сама
Вместо Над карточной бурей
строфы 27 сходилa с ума.

Сб. 1937
После
строфы 26

Жалеть проходимца
Такого нелепо.
Мы судьями будем
Над накипью нэпа.

24

«Октябрь»,
1927, № 9
После строфы 4

Простые подручные смерти
У края Ойратской земли,
Большие дороги на Нерчинск
По этому тракту легли.

Обыденно наше знакомство:
Немного дорожной тоски,
Багажная полка, звонки,
И первые сутки от Омска

Проходят уже с половины
Пробитого наискось дня,
Как песня Сарматской равнины,
Калмыцкою старью звеня.

25

*«Красная
панорама»,*
1928, № 13
После строфы 3

От труб и от фабрик,
От угольных шахт
Другой получает
Природа ландшафт.

В середине столетья
Повырубят лес,

И в шахтах
Подымутся штреки,
На стыке
Проложенных к северу рельс
Качнутся сибирские реки.

Сейчас по-особому
Берег берет...
Немыслимой мучаясь жаждой,
Я память о каждой
Годами берег
И пел
И валандался с каждой.

Я помню:
За россыпью сотен дорог
Большие и дружные реки,
Что быстро бросали
Порог на порог,
Как некогда
В каменном веке,
Как песня,
Срываясь с увалов и гор,
Как ливень,
Рванувшийся косо,
Почти что от озера Терно-Нор
До самого нижнего плеса.
Как Лермонтов некогда,
Слушая спор
Казбека и старого Шата,
Я вижу тоннели
В расщелинах гор,
Шатающих земли с заката.

Мы ходим по палубе с песней.
Борты ж,
Как птицы,
Скользят стороною,
И черную пену
Качает Иртыш,
Торопится к морю со мною.

27

*«Октябрь»,
1928, № 2
После 10*

Как в дантовский неумолимый ад,
В последний раз я посмотрел назад.

Как лес, редела ночь, как липовая роща,
Шел от земли солоноватый дым,
И никогда еще мир не был проще,
Еще таким он не был молодым,

Как в эту ночь, что, быстро нарастая,
Меня вела задворками Алтая.

Тут вспомнил я, что, лирик по призванию,
Стихом проститься должен я с горой,
И наспех свел всю песню партизанью
В превыспренный необходимый строй.

«Прощай, страна высокая,
Мой синий край, прости,
В степях шуршат осокою
На Славгород пути.

Нет, не ржавеет маузер,
Не клонится рука,
По вечерам на Язуе
Девчонка ждет дружка».

Но горы толпились, теснились в росе,
Ни слова, ни склада, ни лыка,
Вставал над Алтаем промозглый рассвет
До синих ворот Кендерлыка.

28

*Сб. 1937
Вместо
строфы 1*

Падал снег (дальний путь по примете).
Рассказать это сразу нельзя,
Как в безвестном лесу на рассвете
Фронтовые прощались друзья.

Там, где старые сосны стояли,
Падал снег на крутые холмы, —
Мы папахи тяжелые сняли,
И разъехались медленно мы.

*Вместо
строфы 6*

Что весеннего сумрака краше?
Только помни, как в первом бою
Шли в разведку товарищи наши
И стоял комиссар на краю.

29

*КС
Вместо
7—20*

Я пальцы ломаю, я скрипку беру
И вот загеваю другую игру.

И звоны другие выходят дрожа,
Попутчики бури, клинки мятежа, —

Не в меру взволнован, не в меру ретив,
Марсельского марша громоздкий мотив.

И вот уж дороги бегут и спешат,
Тропинки крадутся, гремят, шебуршат.

И, дрогнув, сорвался последний шлагбаум.
— Ораниенбаум, Ораниенбаум!

Маркизова лужа и краковский дым,
И я становлюся совсем молодым.

Балтийского флота поют штурмана,
Что жжет, обжимает и дарит весна.

И в два перехода я вновь узнаю
Такую простую свою колею.

И звоны другие выходят дрожа,
Попутчики бури, клинки мятежа, —

Не в меру взволнован, не в меру ретив,
Марсельского марша громоздкий мотив.

Мальчишка смеется, мальчишка поет,
Но старую скрипку назад не берет.

30

*КС
После
строфы 1*

Если будни гремят Карманьолой,
Если ветер уходит на юг,
Даже губы девчонки веселой
Непонятные песни поют.

*После
строфы 3*

Среди низкого моря и мрака
Не гремит, спотыкаясь, джазбанд,
Только вспыхнут огни Скаггерака,
Легкой тенью пройдет Гельголанд.

*Вместо
строфы 5*

А в смятеньи глухих переулков
Ночь разводит мосты, и опять
Там, где стынут дороги на Пулков,
Паренька дожидается мать.

31

*«Звезда»,
1928, № 1*

От сумерек мира в немислимом сходстве,
Сменяя обличье наречий и карт,
Не тенью на стены бросается отсвет
Булонского леса, Монмартра, мансард.

Нет! Живопись эта кружит, как в серсо, —
Квадратики, ромбы и кубы,
Пока прижимает к тебе Пикассо
Свои лиловатые губы,

Покуда синеет, покуда рассвет
На тысячу красок перебран,
Меняясь в наклейках и тая в росе
Над фабрикой «Хорто-дель-Эбро».

Вот сумерки века, искусства распад,
Немыслимый уговор братский,
Когда и палитры стучат невпопад,
И глохнут неверные краски.

Но всё же люблю я весь этот разор,
Размытые суриком тропы,
Где падает море от черных озер
На плоские крыши Европы.

Преддверие века, Марат и Конвент,
Сюда не доходят корнями,
И только спадает в узорной канве
Зеленый и синий орнамент,

Да плечи натурщиц, да розовый брод,
Да черного дерева контур,
В котором, как маятник, взад и вперед,
На ветке качается кондор.

Анютины глазки, к тюльпану тюльпан,
Петлицы драгунского смотра,
Но сразу врывается с песней толпа
В крошечный покой натюрморта.

От брамселей смятых, от низких бортов,
От мачт розоватого цвета,
Как песня, скользнувших с Марселя, с Бордо
За четверть часа до рассвета.

Что это? «Стремится душа в примитив»?
Бьют склянки, качается море,
И сразу спадает дикарский мотив,
Походная песня Маори.

Рубеж океанов. Гоген! Это ты,
Работа без срока, без пауз,
И легче, чем краска, вырастает в холсты
Линейный стремительный пафос.

Но всё же от Лувра качается дым,
Горчит и мельчит непрестанно,

Хрипит перерезанным горлом твоим,
Пугает упорство Сезанна.

Искусство не медлит, а значит, оно
Для Франции слишком опасно,
И каждый из тех, кто свергает канон,
Не сын ей при жизни, а пасынок.

Я вышел шатаясь, и сразу насквозь
До края проняло гитарой.
На заячью шапку пахнуло Москвой,
Как своды Блаженного, старой.

Там падают струны, там глохнет бильярд,
Чадят папиросами «Ира»,
Притоны и церкви московских бояр,
Всё столпотворение мира.

Но сразу за этим развалом — закат
И песня про рыжего Джона,
И долго на город глядят свысока
Щербатые трубы Гужона.

1927

33

«Новый
мир»,
1928, № 10

Привычка фамильярничать с героем,
Быть с ним на ты и свысока
Глядеть на жизнь его, на мелкие забавы,
На самую любовь героя к героине —
Уже давно вошла в литературу.

Конечно, нет рецептов, по которым
Смогли бы мы живописать героя,
Как нет, понятно, точных указаний
На все детали в нашем ремесле.

Но слышишь, как классической повадкой
Над паводком всех наших пресных рек,
Над полупресной бурей с Финского залива,
Над льдами в Северном Полярном море
Встает совсем особенный герой.

Когда в пятнадцатом столетии герцог Альба
Вошел с солдатами своими в Нидерланды,
В страну, где на горшке,
На пузыре свином,
На тонкой камышинке
Наигрывали роковые песни
Столетиям, идущим под уклон, —

Один из тех полков, которые жестокость
Неистового герцога узнали, восстал
И перешел к врагам, чтобы сражаться
Под знаменем мятежных Нидерланд.

Спешило поздней ночью донесенье
Полковнику восставшего полка:
«Полковник! Вы и каждый из вашего отряда,
Попавшийся мне в руки,
Повешен будет палачом отменным
На первом подвернувшемся столбе».

Полковник оглянулся:
Дорожные качались столбы,
И от зеленых перекладин лип
Ложилась тень на узкую дорогу,
Но пар вставал от розовых подпалин
Замученных и пристальных коней,
А волонтер сидел на барабане,
Трактирщицу взыскательно обняв.

И написал тогда в ответ полковник:
«Я облегчаю ваш непроходимый труд,
Любой солдат из нашего полка отныне будет
Носить с собой веревку, гвозди к ней
И весь набор, потребный палачу
Для скорого свершенья приговора».

Полковник знал, что делал, — ни один солдат
Не сдался в плен живым, а большинство
Оставшихся в строю — после конца войны
Носили на плече, как знак кромешной славы,
С веревкой крепкою два ржавые гвоздя.

Должно быть, такова всегда судьба героев:
Узнав лицо беды, лицом к лицу
Смотреть на смерть и солнце,
Не отводя глаза
От черного слепительного света.

И мой герой — не малохольный мальчик,
Не меланхолик с тростью и плащом,
Не продувной гуляка, о котором
Кругом дурная песенка бежит.

Нет, человек обыденных примет,
Невзрачного геройства,
Не ради славы и жизнь саму приемлющий
И смерть,
Но делающий подвиг потому,
Что иначе он поступить не может, —
Единственный понятный мне герой.

Он за станком в тяжелой индустрии,
Он за кайлой на горных приисках,
Он плуг ведет по всем полям Союза,
Он — кочегар, он — летчик, он проходит
Сквозь жаркие теснины океана,
Сквозь духоту всех четырех стихий.
Но мы пока в глуши
Блуждаем между четырех деревьев
И неумело создаем героев.
Они у нас приглажены Наведен
На них известный лоск. Они решают
Вопросы пола, влюбляются, страдают
На фоне модной, несомненно, темы.
И пафос весь уходит на любовь.

И вот живет писчебумажный мир:
Героя в чернильный ад ввергают за грехи
И в картонажный рай за доблести возводят.

Слепая ночь восходит над Европой,
Заря шумит над нашей страной.
Уже идет герой в литературу прозы,
Сквозь дым и гарь, сквозь корректуры,
Как через весь громоздкий этот мир.

1927

34. НОВЫЕ ПЕСНИ

Баянисту Н. К.

КС «Немало погибло ребят на фронтах,
С винтовкой в руках,
С сигаркой в зубах,
С веселой песенкою на губах».

А нынче —
Мы снова подходим к боям,
Как в годы
Упорства и славы,
И новые песни
Выводит баян
Друзьям из-за Нарвской заставы.

Пускай по бульварам
Ночною порой
Несутся вприсядку
И с гиком,
Друг другу вручая
Условный пароль,
Запечочки Гопа со смыком:
«Так бесперерывно пьешь и пьешь,
Гражданам прохода не даешь,

По трамваям ты скакаешь,
Рысаков перегоняешь
И без фонарей домой нейдешь».

Не «Яблочко» нынче баян заведет,
Нет! Глотка срывается в марше.
Мою он давнишнюю песню поет
Про легкое дружество наше.

Ту песню, которую я распевал, —
Ее затащили подростки,
Она задымилась в губах запевал,
Как дым от моей папироски.

Товарищ, товарищ, проходят бои,
Мы режемся разве что в рюхи,
И скоро к перу привыкают мои
Привыкшие к «максиму» руки.

Но так же, как прежде, я верен боям
И годам упорства и славы,
И песням, которые водит баян
Друзьям из-за Нарвской заставы.

1927

35

С
После 18

Все звезды остыли, но знаю, тебе уж
Дорбгой, что гнет на далекий фольварк,
Такою же ночью встречался Тадеуш
Костюшка, накинувши плащ и чамарк,

За ним палаши небывалого войска,
Шумят портупей, как ночь под Москвой,
И клонится сумрачный ветер геройства
Над трижды пробитой твоей головой.

«Отчизна! Не знаю я тягостней судеб,
Чем эти скользящие навзничь струи,
Кто шаткою ночью ту землю забудет,
Которую кровью и потом поил».

Отчизна!
Но, впрочем, невняты названья:
«Отчизна»,
«Отечество»,
«Родины дым»
В стране, где глухая тропа партизанья
Сегодня следом легла молодым.
И вот стеариновый меркнет огарок,
Торопится дюжина жбанов и чарок:

«Польша от мержа до мержа,
Мать Ченстоховская, ты ль
Тонкими пальцами держишь
Знамени польского пыль».

*Вместо
21—22*

За пустошью цвета застывшего воска
Встает арьергард незнакомого войска.

Прислушайся! Это не ветер, а отзыв,
Мешая границы, дороги, мосты,
Сливает текстильные фабрики Лодзи
Со сталелитейной вьюгой Москвы.

41. ТЕРРОР

Анне Загряжской

*«Звезда»,
1929, № 1*

От кинжала, который за вольность
Подымают в дворцах королей,
От мужицкого бунта на волость
Уходящих в безвестность полей,

Над путями любого простора,
Распростертыми в мгле и в пыли,
Где стучат гильотины террора
Восемнадцатым веком земли.

Но не так, исподлобья ощерясь,
Как лавина срывающаяся с гор,
Христианство свергавшая ересь
Подымала на церковь топор.

Так ночами прошла поножовщина
В безалаберный лад кистеней, —
Талым следом метет пугачевщина,
Бьют дреколья с киргизских степей.

Он проходит вдоль снежного поля.
Волчьим следом ложится заря.
В эту полночь «Народная воля»
Обрекает на гибель царя.

Но романтик, мечтатель и спорщик
Слышит ветер с далеких сторон,
И хранит динамит заговорщик,
Террористом становится он.

И за грохотом царской кареты
Он последнюю бомбу берет,
Эти легкие руки согреты:
«Хорошо умереть за народ».

Сумрак смертью и гибелью дразнит,
Но пускай вырастают во мглу
Эшафоты отверженной казни,
Барабаны стучат на углу.

Есть террора последняя мера:
То надменная смерти латынь,
Что врывается в гром Робеспьера,
В нескончаемый треск гильотин.

Над путями любого простора
Это снова обходит века
Угловатой походкой террора
Нестихающий гром ВЧК.

Разве ты этой песни не знала, —
Там Республика строит полки,
Там проходят столы Трибунала,
Моросят на рассвете штыки.

Самый дальний, неведомый правнук!
По-другому дея бытиё,
Так проносим мы заговор равных
Во бессмертное имя твое.

1929

43

*«Красная
новья»,
1930, № 7.
Вместо
строфы 1*

Демократия, сумеречный сон,
Истерзанная пулями стихия,
В парламентский оледенелый сонм
Уже вступала запросто Россия.

*После
строфы 2*

Так вся страна — дешевые подмости,
Провинции полуночной урон,
Четыре бьют хвоста четыреххвостки
От четырех отверженных сторон.

*Вместо
строфы 5*

То крикая, то прямо оседая,
Не пощадивши больше ничего,
Тогда вкатила вольница седая
Сюда отгулы грома своего.

И вот идет великая проверка,
Братаются заводы и полки,
Сентябрь пылит над ставкой главковерха,
Как над глухою заводью реки.

Ефрейторы и унтер-офицеры
Георгиевский растоптали крест,
Их исполком уже пьянит без меры
И циммервальдской левой манифест.

*Вместо
строф 6—12*

Фронты гремят, они ложатся в дыме,
Они сражений лузгают туман,
И реет имя Ленина над ними,
Как громовой столетний ураган.

46. МОСКОВСКИЕ ЗАПАДНИКИ

*«Новый
мир»,
1930, № 7.
После
строфы 1*

Например, это небо, которое
В полусонке почти, в забыты,
Расписное, зеленое, скорое,
В роковые летело рои.

Например, это небо, прошедшее,
Побираясь, по ситным дворам,
То глухое, то вдрызг сумасшедшее,
Оголтелое небо дворян.

Там спириты, и спирт, и раздоры
До рассвета качают столы.
Ту Россию ведут мародеры,
Продают ее из-под полы.

Там от самого теплого марта,
От морозного дыма страстей,
Будто шкура, распластана карта
Объявляющих бунт крепостей.

*Вместо
строфы 4*

То кондовая вся, то ледащая,
То гремя, то мурлыча едва,
Ты проходишь как шлюха пропащая,
Позабитая мною Москва.

Вот уклада дворянского зарево,
На заре первопутком звеня,
Синим отблеском сумерки залило,
Дребезжа, ослепило меня:

«Берег весь кишит народом, —
Перед нашим пароходом
Де мамзель, де кавалье,
Де попы, дез офисье,
Де коляски, де кареты,
Де старушки, де кадеты». ¹

Этот Запад отвержен, как торжище.
«Sensations de madame Курдюков».
Что ж, Россия дворянская, топчешься
Над скварыжную далью веков.

¹ И. Мятлев.

*Вместо
строфы 6* Эх, дубинушка, сумрачный берег,
Левый берег, раскат топора,
Может статься, что «новых Америк»
В эти дни приближалась пора.

47. НАДПИСЬ НА КНИГЕ ПОЭТА-СИМВОЛИСТА

Собр. 1931 В час последней тоски и отчаянья,
Нестерпимо сдавившего стих,
Отошедшая песня нечаянно
Нарекла страстотерпцев своих.

Этот первый, над пустошью пройденной
Не забывший почти ничего, —
Бьется за полночь черной смородиной
Самородная песня его.

Страстотерпец и, может быть, мученик,
Это ты, низвергатель основ,
Снова рубишь узлы перекрученных
Крепким шнуром бикфордовым слов.

Динамит этих слов не взорвется,
Только ночь просвистит у реки,
Сразу попросту песня поется,
Синих молний мелькают клинки.

И другой, сквозь кирпичные арки
Из конца пробиваясь в конец,
Водит сумрачный ветер анархий
Оголтелую смуту сердец.

Словно отговор песен и смуты,
Словно заговор странствий и бед,
Над тобой поднимается лютый,
По ночам ослепительный свет.

Ты беглец, ты отвержен от мира,
Ты изменник, но если б ты знал,
Что и выговор губ дезертира
Беспощадный учет трибунал.

Вновь теснится былая забота,
Что, глуха, мимолетна, светла,
На дощатый помост эшафота
Под цыганскую песню вела.

Только в посолонь утра и грома,
Над безмолвным отвесом вися,
До последнего мертвого дома
Зашаталась империя вся.

Пусть поэты эпохи минувшей
Одиночество взяли в завет:
Смертным утром врывается в души
Ледяной ослепительный свет.

Вот проселок, отверстый, как ода,
В ночь летит, задыхаясь в дыму,
Мне постыла такая свобода,
Тяжко жить на земле одному.

Только тысячи тех, для которых
Время вызубрит бури азы,
Молодой подымается порох,
Весь отгул первородной грозы.

Запевала и песенник знает,
Как поют по степям кобзари,
Как на выручу день наступает
Сквозь размытые тропы зари.

Пусть летят от глухого разъезда
Поезда, пусть теснится весна —
Словно воля партийного съезда,
Наша первая песня властна.

Мы идем стратотерпцами воли,
Первородные дети земли,
Что же, юность кончается, что ли,
Серый сумрак пылится вдали.

Или снова зальются баяны,
Все окраины ринутся в пляс,
За моря, за моря-океаны
Ходит запросто песня о нас.

1930

48

*«Стройка»,
1930, № 16
После
строфы 8*

Я люблю иногда, —
Может статься, что это нелепо, —
Постоять на заре
У ограды старинного склепа.

Клен в глухом сентябре
Непреклонен, туманен, багрян,
И одно к одному
Там лежат поколенья дворян.

*После
строфы 13*

А преемственность крови,
Гремя, негодуя, дрожа,

Обрывается голосом
Пули, гранаты, ножа.

Средней русской семьи
Вот уклад, вот обычаи, то есть
Этих лет роковых
Громовая нескладная повесть,
Вот одни из оплотов
Отменной весенней грозы,
Что империю рушит
И вверх подымает низы,
Вот пути, по которым
Эпоха ведет человека,
Девятнадцатый век
И начало двадцатого века.

49

*«Молодая
гвардия»,
1930, № 13
Вместо
строфы 4*

Звон колокольный тут неисчерпаем,
Каждый пропитан бревенчатый дом
Сладким вареньем, шалфеем и чаем,
Рыжиком, скукой и белым грибом.

*Вместо
строф 5—7.*

За полночь рушатся стены трактира.
Табор, бильярды, попойка, клинки,
Влево — полмира, и вправо — полмира, —
Каторжных мимо везут в рудники.

Старый уклад отошедшего края,
Шестидесятые, что ли, года.
Молодость деда проходит другая,
Мастерова теснится беда.

В рыжей поддевке и с рыжей бородкой
(Плотничья, видно, настала пора),
Снова ты водишь над утлой слободкой
Пил дребезжанье и звон топора.

Сколько домов ты построил дворянам;
Желтым песком посыпая труды,
Выщербит время их крыши бурьяном,
В лоск разметет и рассеет сады.

В тихом проулке — забор деревянный,
Двор немощеный скользит стороной,
Ходит форштадтами ветер медвяный,
Самою старой пылит стариной.

Вот хомуты, и шлея, и подпруги,
Пилы, рубанки, вожжа, тесаки,

Мерин каурый из дальней округи,
Ходит медведь по раструбу доски.

Под ноги трое курносых мальчишек,
Как воробьи, гомозят на лету,
Без перерывов и без передышек,
Запросто мяч отлетает в лапту.

Годы пройдут, и отцовского дома
Бросят они расписное крыльцо,
Смертная их поджидает истома,
Северный ветер ударит в лицо.

Так при царе при Горохе и позже
Утренний выговор грома таков,
Словно ямщик, собирающий вожжи,
Новых история мчит седоков.

Но, похваляясь двужилной породой,
Бездны и грома скользя на краю,
Каждый по-своему
Рыжебородый,
Руку отцовскую вспомнит в бою.

50

СХ
После
строфы 9

«Но мы не такую грозу подыдем,
Мы знаем несметную волю масс,
Которая только в ружейном дыме
На жизнь и на гибель выводит нас».

«Октябрь»
1929, № 4
После
строфы 13

Разрыв поколений, отцы и дети,
Родные сердца, что стучат не в лад.
Как будто бы нет ничего на свете
Трагичней, чем этот глухой разлад.
Но нам это всё незнакомо, если,
Коснувшись края твоих путей,
Я те же, что ты, распеваю песни
И той же дорогой иду твоей.
И я своему завещаю сыну,
Покуда я песенник до конца,
Чтоб он на рассвете меня покинул,
Когда не признает путей отца.

51. СЫН

СХ

Иные, повестку в нарсуд получив,
Бегут, а за ними бессонница,
Их ветер терзает, их мучат лучи
И жжет полуночное солнце.

Соломенный ветер качает сплеча
Багажные полки в вагоне,
Но, волоком долю свою волоча,
Бедняги страшатся погони.

Кружась и гарцуя, проходит земля
От синей зари до потемок,
На тысячу верст разбросав шенкеля
Щербатую дробью постромок.

А сын или дочь, а ребенок растет,
И ветер доторкнулся в уши —
Обратно беглец возвращается тот
Седой, постаревший, обрюзгший.

Он думает: «Запросто жизнь моя
Летит под откос, как лавина,
Теперь бы вернуться в родные края,
Увидеть подросточка сына».

Но годы промчались, и нет ничего,
И сын не узнает отца своего.

Я тоже плачу алименты сполна,
Тревога моя не уменьшится,
Ведь женщина есть, жена — не жена,
А попросту так — алиментщица.

В провинции снова короткая ночь,
Сиренью набухла истома,
И сотни дорог обрываются прочь,
Скользя от саманного дома,

Я в памяти встречи с тобой берегу,
Последние слезы у тына,
Но ты остаешься на том берегу
И осенью даришь мне сына.

И первые годы идут по местам
В глухой левобережной рани,
Проходят в старинном укладе мещан,
Бегут в захолустной герани.

Но вот он немного еще подрастет,
Не баловать в самом-то деле,
В собачий сынишку пушу переплет,
Аж искры из глаз чтоб летели.

Фабзавуч, завод, пионерский отряд —
Всё это хорошее средство,
Чтоб только дорогами воли подряд
Вело краснощекое детство.

А если война, и весь округ встревожен,
И дымные пули свистят за рекой,
Я жизнь свою выну, как саблю из ножен,
Мальчишеский твой охраняя покой.

На песню, которая за полночь вызрела,
Качая щербатых штыков острие,
Проходит заря до последнего выстрела,
Прошившего наискось горло мое...

Вот будет простор разговорам и дудочкам.
Вечерние тени ложатся в траву,
Но всё, что с тобой ни случилось бы в будущем,
Я тоже своею судьбой назову.

Живи как попало и пой как придется,
Дороги и версты бросая вразброд,
Пусть руки ослабнут, пусть голос сорвется,
Будь в нашем строю и бросайся вперед.

В любой переделке, на суше, на море,
Охрипшим от одури голосом петь,
И жить не страшись на безмерном просторе,
Но прежде всего не страшись умереть.

А если ты струсил — пути наши розны,
И помни последнюю волю мою —
Слова казака запорожского грозны:
«Я тебя породил, я ж тебя и убью».

1930

55. ПЕЙЗАЖ

«Новый
мир»,
1930, № 10

Так тихомолком, ни шатко, ни валко,
Редкие колки проходят, мельчась,
Перепелов тормозит перепалка
В этот сквозной замороженный час.

Часто погоня срывается в окрике,
Волны и молния, грохот и сон,
Небо, и то в этом сумрачном округе
Нас с четырех окружает сторон.

Старого друга седеющий волос,
Жимолость, желоб, скользкий назад,
Ветер, и с петель срывается волесть,
Сумрак, и жалобно шурхает сад.

К берегу жмутся березы, но кроме
Этой кромешной, отверженной тьмы,
Глухо по каплям стекающей в громе,
Что еще нынче запомнили мы?

В севернорусском дорожном ландшафте
Странная ест пред рассветом пора.
Скоро ли утро сойдет с гауптвахты,
Сонные тучи возьмет на ура.

Скоро ли снова, сорвавшийся с петель,
Здесь разгуляется северный ветер?

Но тихомолком, ни шатко, ни валко,
Редкие колки проходят, мельчась,
Перепелов тормозит перепалка
В этот сквозной замороженный час.

1930

71

*«Октябрь»,
1933, № 11
После
строфы 9*

Но час придет. В глухой рассветной рани,
Восстав от сна, спеша во все концы,
В святивших крест на белой Иордани
Огонь живых направят мертвецы.

*«Год
семнадцатый»,
альманах
третий,
М., 1933
После
строфы 15*

72

А сколько шахтеров под этой заметью
Ушло невозвратно с земли живых,
Погибло от пули и пало замертво
В сквалыжную славу и прибыль их.

73

*«Год
семнадцатый»,
альманах третий,
М., 1933
После строфы 9*

Шарабан мы гнали по льду,
Дружны наши голоса,
Прямо к острову Аскольду
Он летит без колеса.

Салютуй на крутоярах,
Осень, стягами рябин, —
Из романсов этих старых
Не спасется ни один.

75

*«Резец»,
1934,
№ 3
После
строфы 3*

Он каторжанин. Просто ли убийца
Из тех, что, грусть по миру волоча,
Сначала могут в женщину влюбиться
И, рассердясь, зарезать сгоряча?

Или солдат, презревший артикулы?
Иль, может быть, тунгус широкоскулый?

Или далеких округов повстанец?
Иль террорист, что бомбу нес в руке,
Раскосоглазый, рыжий оборванец,
В больших очках и старом армяке?

Как вал гремит, вскипая на просторе!
Иль то поет архангела труба,
Иль это взáболь гневается море,
У берегов вскипая, как шерба.

77

Сб. 1952
После
строфы 16

За Байкалом мамонт смотрит в окна,
Сто веков назад он в льдину вмерз...
Где же ты, заветная Олёкма,
Отзовись за столько тысяч верст!

78

Ол 2
После
строфы 1

Там беркут полощет свой клюв синеватый
И ржавые перья в чужой вышине,
А страшные горы, а злые Карпаты
Дымятся, как вражий пожар при луне.

82

«Октябрь»,
1933, № 11
После
строфы 8

Попы проходили, хоругви развесив,
Но буду ль я думать, что станет с того,
Забросив десяток казенных профессий,
Тогда я подполья учил мастерство.

85

Ол
После
строфы 5

Золотой самородок, брошенный
На распутье пяти дорог,
Смертной мукой рот перекошенный,
Убегающий в тьму острог.

После
строфы 6

Пусть наплывом склерозной извести
Смерть крадется ко мне в тиши,
Как полночное небо, вызвезди
Все просторы моей души.

86

Ол
Перед
строфой 1

На середине жизненной дороги, в синей смуте
Неодолимо чей-то голос шел,
И вот звезда блестит, как шарик ртути,
И теплый снег покрыл пустынный дол.

Крутые, как рога, крылатые тропинки
Всю жизнь мою расскажут без запинки.

Немало дел и добрых и недобрых,
Как вал реки, заключено в гранит.
Не обо всем расскажет мой биограф,
Не всё людская память сохранит.

Настанет ночь бела и неказиста,
В озерах мгла раскинет невода,
И снова входит в кровь авантюриста
Сентиментальности жестокая вода.

Где молодость вальяжная, блатная?
Ты плотно жалась к моему плечу,
Хоть от тебя открытка доплата,
Я за нее всей жизнью заплачу.

96

*«Октябрь»,
1933, № 11
После строфы 5*

Мне б увидеть в годы те,
Пыль стирая бархаткой,
Север в жаркой красоте,
Стратопланы в высоте,
Триста верст над Арктикой.

Век, что в ростепель прошел,
Не чужой, не нанятый,
Через горы, через дол,
В том краю, где гиб монгол,
Вымирили мамонты.

123

*АС
После
строфы 3*

И песню споешь ли ты мне,
Что пели с тобой в перелеске,
О том, как в родной стороне
Убит был полковник стрелецкий?

Кому он был дорог и мил
И в горькие годы разлуки?
С кем честно делили весь мир
Его загорелые руки?

*«Литератур-
ный совре-
менник»,
1938, № 5
После
строфы 9*

139

А на память о той, что зари светлей,
О любовном велении мудром,
Прозывали посад «Тихий свет морей»
Старики по окрестным тундрам.

*«Звезда», Утром, бывало, над нами всё коршуны кружатся,
1938, № 5 В злых ковылях разноцветные тени легли,
После Девичью песню о карих глазах подхорунжего
строфы 7 С другом веселым мы в раннее утро вели.*

145

*«Литературный со-
временник»,
1938, № 10
После
строфы 2*

Где белый пар клубился по мосту,
Где в завитки дымок свивался синий,
Где над родной приморскою долиной
Трубил журавль усталый в высоту,

Отбившийся от стаи, и, нежданно
Во тьме услышав громкие гудки,
Летел над влажной заводью тумана
К мостам, что, горбясь, стыли вдоль реки,

Где на просторе, всем ветрам открытом,
Чугунный всадник на столбах ворот
Уздал коня, и конь стучал копытом
По мостовым, в сверкающий пролет.

146

*«Звезда», 1946,
№ 7—8
После
строфы 2*

В глухой тайге, за синими снегами,
Как прежде, даль певуча и светла,
А юность семиверстными шагами
К поре свершений всех нас привела.

147

*«Резец»,
1939, № 3
Перед
строфой 1*

В прудах широких за Невой,
На сводах каменных строений,
В садах, где пляшет лист осенний,
Сентябрьский отблеск золотой.

По небу синего сиянья
Прошла густая полоса.
И вновь томят воспоминанья,
Былые слышу голоса.

*После
строфы 2*

Рыбачий парус славой бредит,
Грозовым подвигом дыша,
Торжественной, походной меди
Неповторимая душа!

*Вместо
строф 5—8*

Кому ее переупрямить?
Туда, где тени на штыках,
Где Смольный высится, как память,
В зеленокрылых облаках,

Иду один я. Рассветает.
Бегут вослед прожектора,
И время странствий оживает,
Походов давняя пора.

149

«Красная
новь»,
1938, № 4
После
строфы 3

Она утешала в недоле кабацкой,
С народом она подружилась навек,
Тянулась она с бечевою бурлацкой
По краю озер и прославленных рек.

После
строфы 5

Ведь песни его и поныне поются, —
Мы помним певцов благородных своих,
Прославлен солдатами трех Революций
Некрасовский ум и некрасовский стих.

150

Сб. 1939
После
строфы 4

Сначала печальным казался мне голос:
Так треснувший колокол с болью гудит.
Но сразу ненастье в стихе расколось,
Трубой лебединою песня гремит.

«Литературный
современник»,
1938, № 5
Вместо
строфы 1 и
после
строфы 10

152

Сказку сказывали на гальоте,
На высокой морской волне,
Где чернели валы в отлете,
И запомнилась сказка мне.

156

«Звезда»,
1938, № 5
Перед
строфой 1

Отражена в озерах дальних,
Где ходят с баржами суда,
Где птицы дремлют на купальнях,
Зеленоватая вода.

Деревья строгие таятся
Во мхах, за вереском ночным,
Костры далекие дымятся,
Полыню тянет горький дым.

168

«Литературный
современник»,
1941, № 7—8
После
строфы 7.

Их Лермонтов нам описал впервые,
Мы полюбили скромных тех людей,
Они встают доньше как живые
С родных страниц старинных повестей.

Не так ли нам пора в труде отрадном
Искать не только резкие черты,
Но видеть в чувстве, будто заурядном,
Великий образ грозной красоты. . .

229

*«Новый мир»,
1939, № 5. Гл. 1
Вместо строф
7—9*

В том краю тоска глухая,
Нет оттоль возврата. . .
Вспомяни, сестра родная,
Погибшего брата!

Черный день в тревоге прожит
На беде-чужбине.
Кто же ныне песню сложит
Родной Украине?

Чтобы жгла она неожиданно
Молодою речью,
Выплывала из тумана
Над старинной Сечью.

*Гл. 3
Вместо строфы 6*

Там, за хатою, в бурьяне,
Грустно-сиротливы,
На откосе, над волнами,
Распускались ивы.

Только вспомнишь — и взгрустнется:
В доле коловратной
Много ль жить нам остается,
Друг мой невозвратный?

*Гл. 3
После строфы 7*

В поднебесье за горою
Вьется след огнистый,
Так скачи же ты со мною,
Бедный прут пушистый.

Словно с детства, с Украины,
С горя да с ущерба,
Память друга на чужбине —
Прут пушистый, верба. . .

*Сб. 1952. Гл. 7
После строфы 7.*

Русь великая, с тобой
После дней ненастных
Озаренное борьбой
Мы увидим счастье.

Хоть сегодня мы идем
По путям суровым,
Но помянут нас потом
Добрый, тихим словом. . .»

ГС
Гл. 1
Вместо
строф 3—7

Когда простятся грешникам грехи,
И нам простятся, малолетства ради,
Мальчишеские, первые стихи,
Записанные в старые тетради.

Гл. 2
После 52

Из них теперь нет никого, пожалуй,
Кто мог войти в ряды больших имен,
Но через годы шлю им запоздалый,
Такой сердечный, дружеский поклон. . .
Посредственностью называли их. . .
Не помяну их всё же словом черным,
Был дорог им великий русский стих,
Они трудились честно,
непритворным
Горенье было песен молодых. . .
Пусть им стихи не удались, но часто
Я в пору странствий, на путях земных,
Встречал в строю бывлых энтузиастов —
Веселых, бескорыстных и простых. . .

«Звезда», 1947,
№ 1 Гл. 6
Вместо 8—14

Три вечера с ним говорил.
Сейчас поглядишь, на портрете
Он выглядит старше, чем был.

Ведь взгляд его молод, — то гневный,
То ласковый, то озорной,
И смех до того задушевный,
Что сам молодеешь душой.

Мне было легко с ним и просто. . .
Да снова дорога зовет.
В дыму пролетел Белоостров —
Пожар у замшелых болот.

Гл. 6
Вместо строфы 7

Стучат под колесами рельсы.
Крепчает и ширится гул.
Проходят леса-погорельцы. . .
И вдруг я в вагоне заснул.

«А крепко, приятель, вы спите, —
Толкая, сосед говорит. —
Уже мы приехали в Питер —
Состав у перрона стоит».

— «Спасибо, попутчик хороший».
Вхожу в переулочек кривой.

Вдруг вижу: мужчина в галошах
И в шапке-ушанке — за мной.

Я в конку — он в конку за мною.
Пешком — он за мною пешком.
Нахмурившись, с палкой кривою
Плетется унылым шажком.

Проспекты. Дворы проходные.
Орут лихачи на пути.
Хоть был я в столице впервые —
Сумел от филера уйти.

Уже вечерело. И вскоре
Я в поезд почтовый попал.
..Прощай же, Балтийское море,
Прощай, знаменитый вокзал.. .

Ведь вот — как уйдешь от погони,
И счастлив — смеешься до слез.. .
Я ехал в зеленом вагоне,
Трещал в перелесках мороз.

Накурено. Дымно. Не спится,
И дума одна в голове:
«Как встретит вторая столица?
Что ждет меня завтра в Москве?»

*Гл. 6
После строфы 9*

Рассвет удивительно синий.
Светлеет полоска зари.
На окнах лохматится иней.
Скрипят на ветру фонари.

И облако в отблесках резких.. .
Но тихо у старых казарм, —
Не видно нигде полицейских,
Бежит осторожно жандарм.

Спросил мужиков седоусых
Я в самом начале пути:
«Что слышно?»

— «Стреляют в Миуссах».

— «А трудно ли дальше пройти?»

— «Не знаем...»

Иду переулком,
Пригнувшись под посвистом пуль.
Навстречу мне с топотом гулким
Промчался казачий патруль.
Спешат. Перекошены лица.
Несутся беспутные вскачь.
Широкая площадь дымится,
Как утром в пекарне калач.

Под режущим ветром, сутулясь,
Я дальше бреду наугад.
В кривые расщелины улиц
Края баррикады глядят.

Булыжники, ящики, доски
Накиданы в пять этажей.
В разбитом газетном киоске
Обломки станков и дверей,

И грудой зарядные трубки
Лежат под широкой стеной.
Идет человек в полушубке —
Ружье у него за спиной.

Да это ж и есть мой знакомый...
А он, улыбнувшись, сказал:
«Меня не сыскал бы ты дома», —
И маузер мне передал.

И сразу ж, рассыпавшись мелко,
Над жесткою смутой снегов,
По небу плывет перестрелка,
Кругом тишину расколов.

Хожу, пригибаясь низко...
Ты поверху, пуля, лети!
Хоть жжет мое сердце записка, —
Нельзя с поля боя уйти.

День кончился визгом снаряда...
О, как мне был дорог потом
Зеленый узор палисада
И домик в районе глухом!

Былого сплетаются звенья
Со славою новых годов, —
Москва была полем сраженья,
Предвестьем грядущих боев.

Стемнело, и выстрелы стихли,
Один я стою у ворот,
Клубятся над городом вихри,
Со всхлипом поземка метет...

Стою, пригибаясь низко,
И думаю: «Как передам
По адресу точно записку,
Что вез я от Ленина к вам?»

Огонь над оградой дощатой.
Раскаты по небу плывут.
Построившись по три, солдаты
К большой баррикаде бегут,

ПРИМЕЧАНИЯ

В. Саянов опубликовал тридцать сборников стихотворений и поэм.¹ Первые из них — «Фартовые года» (1926) и «Комсомольские стихи» (1928). В тематическом и стилевом плане каждый из них представлял собой некое единство. Не случайно в сборниках последующих лет стихи из первых книг выделялись, как правило, в особые разделы. В первое собрание стихотворений Саянова (1931) вошли стихи из ранних книг, а также многие из опубликованных в периодической печати 1920-х годов.

Наиболее обширные стихотворные циклы Саянова 1930-х годов вышли отдельными книгами, это «Семейная хроника в одиннадцати стихотворениях» (1931) и «Золотая Олёкма» (1934). Все другие его сборники тех лет не содержали таких обширных законченных циклов и были по существу книгами избранных стихотворений.

В 1937—1939 гг. В. Саянов переработал тексты более ранних стихотворений и во многих случаях создал новые редакции. «Стихотворения и поэмы в одном томе» (1939) он сопроводил следующим примечанием: «Стихотворения, включенные в эту книгу, печатаются в новых редакциях 1937—1939 гг.». Переработка большей частью состояла в том, что стихотворения освобождались от элементов речевого колорита, свойственного поэзии 20-х годов, и заменялись глаженными и весьма традиционными поэтизмами. Следует заметить, что поэт в последний год жизни, подготавливая тексты к изданию, восстановил многие редакции стихотворений 1920-х — начала 1930-х годов. Стихотворения, написанные и опубликованные после 1936 г., в дальнейшем при переизданиях существенно авторской правке не подвергались.

Самым обширным и наиболее значительным циклом лирических стихотворений Саянова оказался его последний сборник — «Голос молодости» (1957).

Тяготение поэта к созданию стихотворного эпоса наиболее отчетливо выявилось в книгах «Слово о Мамаевом побоище» (1939), «Повесть о русских воинах» (1944) и в стихотворном романе «Колобовы» (1955).

Наиболее полное собрание стихотворений и поэм В. М. Саянова было подготовлено самим поэтом и сдано в издательство осенью 1958 г. Это собрание вышло посмертно («Сочинения в двух томах», М. — Л., 1959). Оно послужило исходным при выборе текста для настоящего издания.

Настоящее собрание избранных стихотворений и поэм Саянова

¹ См. библиографию в сб.: Виссарион Саянов, Неопубликованные и малоизвестные произведения, Воспоминания о В. М. Саянове, Л., 1962, с. 209—223.

является первым комментированным изданием произведений поэта. В первом разделе печатаются стихотворения, во втором — поэмы и повести в стихах, внутри каждого раздела сохраняется хронологический принцип. Произведения публикуются в окончательной авторской редакции, по тому изданию, где впервые установился их текст.

Стихотворения и поэмы В. Саянова в подавляющем большинстве датированы самим автором. В тех немногих случаях, когда дата написания не указана и установить ее невозможно, произведение датируется по первой публикации, а дата приводится в угловых скобках. Если имеются две редакции произведения, то печатается более поздняя, а под стихотворением воспроизводятся даты обеих редакций. Наиболее значительные из ранних редакций приведены в разделе «Другие редакции и варианты». Стихотворения, не опубликованные при жизни поэта и им не датированные, сопровождаются указанием на приблизительное время их создания. В этих случаях даты отмечены вопросительным знаком в скобках.

В примечаниях вместо заглавия произведения указывается его номер в тексте. Звездочка перед номером примечания означает, что в разделе «Другие редакции и варианты» печатаются разночтения к тексту данного произведения. Библиографическая справка содержит сведения о первой публикации. Далее перечисляются издания, в которых текст данного произведения перепечатан с изменениями, внесенными автором. Не исключено, что часть первых публикаций осталась нами не обнаруженной, поскольку газетно-журнальная библиография 20-х годов не разработана, а просмотреть всю периодику той поры не представлялось возможным. Справка заключается указанием на источник, по которому печатается текст. Ссылки на первую публикацию и на источник текста даются с указанием страницы, промежуточные публикации — без указания страниц.

Значительная часть рукописного архива Саянова передана вдовой покойного Е. Я. Рыковой-Саяновой на хранение в Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. В архиве писателя сохранились преимущественно машинописные копии произведений.¹

Составители приносят благодарность Е. Я. Рыковой-Саяновой за помощь в подготовке данного сборника.

Список сокращений, принятых в примечаниях

АС — Архив В. М. Саянова.

В — Весна 1945 года. Походная тетрадь, Л., 1945.

ГМ — Голос молодости. Стихи пятидесятых годов, Л., 1957.

ГС — Годы славы, Л., 1946.

Избр. 1933 — Избранные комсомольские стихи, М. — Л., 1933.

Избр. 1948 — Избранные стихи, М., 1948.

Избр. 1963 — Был начат в юности поход... Избранное, М. — Л., 1963.

КС — Комсомольские стихи, М., 1928.

¹ См.: В. Абрамкин и А. Лурье. Труд поэта (по неопубликованным материалам из архива В. М. Саянова). — Сб. «Виссарион Саянов, Неопубликованные и малоизвестные произведения, Воспоминания о В. М. Саянове», Л., 1962, с. 50—68.

- Ол — Золотая Олёкма, Л., 1934.
 Ол 2 — Золотая Олёкма, Издание второе, дополненное, М., 1936.
 С — Современники, Избранные стихи, Л., 1929.
 Сб. 1931 — Избранные стихи, М. — Л., 1931.
 Сб. 1935 — Избранные стихи, М., 1935.
 Сб. 1937 — Лирика, Л., 1937.
 Сб. 1939 — Стихотворения и поэмы в одном томе, Л., 1939.
 Сб. 1948 — Избранные стихи (1925—1947), М. — Л., 1948.
 Сб. 1952 — Стихотворения, поэмы, повести в стихах, Л., 1952.
 Сб. 1962 — Неопубликованные и малоизвестные произведения. Воспоминания о В. М. Саянове, Л., 1962.
 Собр. 1931 — Собрание стихотворений в двух томах, т. I, Стихотворения (1925—1930), М. — Л., 1931.
 Соч. 1 и Соч. 2 — Сочинения в двух томах (т. 1 — Стихотворения, т. 2 — Стихотворения и поэмы), М. — Л., 1959.
 СХ — «Семейная хроника», Л., 1931.
 ФГ — Фартовые года, Стихотворения, М. — Л., 1926.
 ФГ 2 — Фартовые года, Стихи, Издание второе, Л., 1927.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Звезда», 1925, № 1, с. 103. Печ. по ФГ, с. 3. *Нарвская застава* — в прошлом рабочая окраина Ленинграда.
- * 2. «Звезда», 1925, № 4, с. 120; собр. 1931; сб. 1935. Печ. по сб. 1937, с. 22.
- * 3. ФГ, с. 11, под загл. «Переправа на Каме»; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 36.
- * 4. «Ленинград», 1925, № 27, с. 4; ФГ Печ. по собр. 1931, с. 18. *Когда Германия взметнулась*. Имеется в виду революция в Германии в ноябре 1918 г.
- * 5. «Красная новь», 1925, № 10, с. 113; ФГ, под загл. «На подступах Азии»; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 48. *Пожни* — жнивье или луга.
- * 6. «Юный пролетарий», 1926, № 11, с. 14. Печ. по сб. 1948, с. 30, где опубликовано вместе со стих. «Как ни шутили стихотворцы» (1940) под общим загл. «Русская речь». *Не говор московских просвирен* — реминисценция известного высказывания А. С. Пушкина в статье «Опровержение на критики» (1830): «Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирам. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (см.: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1937, с. 148—149). *Нарвские ворота* — триумфальные ворота, поставлены для торжественной встречи гвардейских полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 г. и возвращавшихся из Парижа в Петербург в 1814 г. За ними начинается район заводов и фабрик Нарвской заставы.
- * 7. «Юный пролетарий», 1926, № 11, с. 15, под загл. «Вечер». Печ. по сб. 1952, с. 250. *Старинный Путилов* — до 1917 г. Путиловский завод, ныне Кировский завод в Ленинграде.

* 8. ФГ, с. 22; сб. 1937; сб. 1952. Печ. по Соч. 1, с. 56. *Ванты* — оттяжки к борту корабля для укрепления мачт. *Спардек* — палуба средней надстройки на корабле.

9. ФГ, с. 25; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 37. 1-я строфа — из стих. «О себе» (1925).

10. ФГ, с. 16. Эпиграф из стих. А. Блока «К Музе» (1912). *Баская* — пригожая. *Грубая* — полная, крепкая. *Шеманть* — разгуливать, шататься. *Вахлаки* — невоспитанные, грубоватые, неповоротливые люди. *Володарский В.* (Гольдштейн М. М.; 1891—1918) — большевик, после Февральской революции член Петроградского комитета, вел партийную работу среди рабочих и солдат Петрограда; после Октября — петроградский комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, редактор «Красной газеты»; 20 июня 1918 г. предательски убит эсером Сергеевым.

* 11. «Звезда», 1926, № 5, с. 123; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 21. В изданиях до 1937 г. печаталось с посвящением Жаку Мелье (1664—1729), выдающемуся французскому философу-материалисту, утопическому коммунисту. *Кайеннская тюрьма* — французская каторга в Гвиане, где томились политические заключенные. В 1925 г. представители французской компартии выступили в парламенте с требованием об их амнистии. Тогда же в Москве были опубликованы очерки французского журналиста А. Лондра, побывавшего в Кайенне (см.: А. Лондр, Кайенна, М., 1925). В двадцатые годы это стихотворение приобрело широкую популярность. О. Ф. Берггольц, рассказывая о ленинградской литературной группе «Смена», вспоминает, как комсомольцы в те годы напевали строки из «Современников» на мотив «Марсельезы» (см. в кн.: Б. Корнилов, Стихотворения и поэмы, Л., 1960, с. 9—10).

12. «Красная панорама», 1926, № 52, с. 14, под загл. «Смерть»; «Молодая гвардия», 1926, № 12. Печ. по сб. 1937, с. 26.

* 13. «Юный пролетарий», 1927, № 3, с. 5, под загл. «Норд»; «Новый мир», 1927, № 6, с. 30, под загл. «Норд» (без строф 3—7); сб. 1937; сб. 1939. Печ. по сб. 1952, с. 255.

* 14. «Резец», 1927, № 6, с. 1; КС; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 63. *Красивая Мечь* — река, правый приток Дона. *Котовский Григорий Иванович* (1881—1925) — герой гражданской войны, командир кавалерийского корпуса Красной Армии.

* 15. «Октябрь», 1927, № 7, с. 52; «Кадры», Л., 1928, с тремя новыми строфами, которые в КС входят в стих. «За Тихорежицким валом»; собр. 1931; избр. 1933; сб. 1935; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 39. «*Карманьола*» — революционная песня эпохи французской буржуазной революции XVIII в.

* 16. КС, с. 66; сб. 1937; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 238. См. примеч. № 15.

17. «Кадры», Л., 1928, с. 83; КС; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 23.

* 18. «Резец», 1927, № 35, с. 8; КС — с посвящением Б. Черных; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 35.

* 19. «Октябрь», 1927, № 4, с. 61; КС. Печ. по избр. 1948, с. 97.

* 20. «Молодая гвардия», 1927, № 7, с. 112; КС; сб. 1935. Печ. по Соч. 1, с. 33. *Вытегра* — город вблизи Онежского озера.

* 21. «Звезда», 1927, № 3, с. 31, под загл. «Побег шахтера Гурия под Клинцами»; КС; собр. 1931; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 65.

* 22. «Новый мир», 1927, № 4, с. 76; «Кадры», Л., 1928; собр. 1931; сб. 1935; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 112.

23. «Резец», 1927, № 35, с. 8, под загл. «Апрельские песни»; КС; сб. 1935. Печ. по сб. 1952, с. 252. *Охта* — район Ленинграда.

* 24. «Октябрь», 1927, № 9, с. 70, под загл. «В пути»; КС; сб. 1937, под загл. «На каторжном тракте»; ГС, под загл. «На старой Владимирской дороге». Печ. по Соч. 1, с. 103.

* 25. «Красная панорама», 1928, № 13, с. 7; собр. 1931; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по ГС, с. 28.

26. «Октябрь», 1927, № 9, с. 72; сб. 1935. Печ. по Соч. 1, с. 104. *Ишим* — город и ж.-д. станция на пути между Тюменью и Омском,

* 27. «Октябрь», 1928, № 2, с. 122; КС; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 107. *Бухтарма* — река, правый приток Иртыша.

* 28. КС, с. 20; собр. 1931 — с посвящением «И. Н.»; сб. 1935; сб. 1937; сб. 1939; ГС; избр. 1948. Печ. по сб. 1948, с. 121.

* 29. КС, с. 39; сб. 1931; сб. 1937, без заглавия; сб. 1939; ГС; избр. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 52, где ошибочно датировано 1925 г. (во всех предыдущих изданиях — 1926). *Ораниенбаум* — ныне г. Ломоносов, Ленинградской области, отделен от Кронштадта узким проливом. *Маркизова лужа* — так называют восточную часть Финского залива.

* 30. КС, с. 41; избр. 1933; сб. 1935; сб. 1937, без заглавия и без двух последних строф; сб. 1939, ГС — без заглавия. Печ. по Соч. 1, с. 54.

* 31. «Звезда», 1928, № 1, с. 29; собр. 1931; сб. 1935; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 105. *Пикассо* Пабло (р. 1881) — французский художник, картины которого экспонировались в московском Музее новой западной живописи (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). «*Хорто-дель-Эбро*» — картина Пикассо. *Маори* — маорийцы (маори) составляют коренное население островов Новой Зеландии, на одном из которых (на острове Таити) французский художник Поль Гоген (1848—1903) провел многие годы и создал там наиболее известные свои картины. *Один с перерезанным гор-*

лом — французский художник Винсент Ван-Гог (1853—1890), покончивший жизнь самоубийством.

32. «Красная панорама», 1928, № 29, с. 6, под загл. «Въезд в Кара-Кум»; сб. 1937; ГС. Печ. по сб. 1948, с. 60.

* 33. «Новый мир», 1928, № 10, с. 76; собр. 1931; сб. 1937; сб. 1948; сб. 1952. Печ. по Соч. 1, с. 185. Написано как отклик на споры вокруг проблемы положительного героя, которые разгорелись в критике во второй половине 20-х годов, когда, наряду со стихотворением В. Саянова, появились и другие стихотворения и сборники со знаменательными заглавиями: «Живые герои» (1927) М. Светлова, «Герой нашего времени» (1928) И. Уткина, «Поиски героя» (1927) Н. Тихонова и др.

* 34. КС, с. 27, под загл. «Новые песни», с посвящением «Баянисту Н. К.»; собр. 1931; сб. 1937; сб. 1939; ГС. Печ. по Соч. 1, с. 25.

* 35. С, с. 31; собр. 1931; сб. 1935; сб. 1937; сб. 1939; ГС; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 173. *Сарпинка* — тонкая бумажная ткань в клетку или в полоску.

36. С, с. 27; сб. 1935; сб. 1937 — без загл. Печ. по Соч. 1, с. 30. *Вир* — омут, водоворот.

37. «Молодая гвардия», 1928, № 12, с. 88. Печ. по кн.: В. Саянов, «Картонажная Америка», Л., 1929, с. 9.

38. «Молодая гвардия», 1928, № 12, с. 89. Печ. по кн.: В. Саянов, «Картонажная Америка», Л., 1929, с. 11. *Падымь* — мгла, туман, морок.

39. «Новый мир», 1929, № 2, с. 39; собр. 1931; сб. 1935; сб. 1937, под загл. «На смерть Амундсена»; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 190. Посвящено Р. Амундсену (1872—1928) — норвежскому полярному путешественнику и исследователю, который погиб в Баренцевом море, пытаясь разыскать итальянскую экспедицию Нобиле, вылетевшую на дирижабле «Италия» и потерпевшую катастрофу во льдах Полярного бассейна.

40. «Красная панорама», 1929, № 51, с. 4; собр. 1931; сб. 1935. Печ. по сб. 1937, с. 93.

* 41. «Звезда», 1929, № 1, с. 72; С. — под загл. «Террор», с посвящением «Анне Загряжской». Печ. по сб. 1937, с. 59.

42. «Красная новь», 1930, № 7, с. 142, под загл. «Родившимся в 1903 году»; собр. 1931; сб. 1935; сб. 1937 — под загл. «Ровесникам»; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 61.

* 43. «Красная новь», 1930, № 7, с. 143, под загл. «Сентябрь 1917, из поэмы»; собр. 1931, под загл. «Сентябрь 1917»; сб. 1937; сб. 1939; сб. 1948, с подзаг. «Из поэмы о Ленине», без первых четырех строф. Печ. по Соч. 1, с. 180. *И генеральский рушится мятеж*. В августе 1917 г. в Петрограде был поднят контрреволюционный мятеж, воз-

главленный генералом Л. Г. Корниловым. На защиту революции выступили рабочие, солдаты и матросы. После подавления мятежа влияние большевиков в массах выросло как никогда. *Перк-Ярви, Мустамяки, Райвола* — железнодорожные станции на Карельском перешейке на пути из Выборга в Петроград.

44. Сб. 1937, с. 37.

45. «Стройка», 1930, № 19-20, с. 9, под загл. «Надпись на „Фартовых годах“»; избр. 1933; сб. 1935; сб. 1939, без загл. Печ. по Соч. 1, с. 36.

* 46. «Новый мир», 1930, № 7, с. 45, под загл. «Московские западники»; сб. 1935; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 99.

* 47. «Ленинград», 1931, № 1, с. 2; собр. 1931 — под загл. «Надпись на книге поэта-символиста»; сб. 1935, без загл.; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 101.

48—51. Работа над циклом была завершена осенью 1930 г. В отдельном издании посвящено советскому поэту Б. М. Лихареву (1906—1962). Цикл открывался предисловием от автора и эпиграфами:

Коротенький обрывок рода,
Два-три звена, и уж видны
Заветы темной старины.

А. Блок

Другие им вослед идут.

А. Пушкин

Много пронеслось годов,
Много совершилось событий.

С. Аксаков

«Семейная хроника» завершается «биографической справкой» о героях цикла.

* 1. «Стройка», 1930, № 16, с. 2; СХ; сб. 1935. Печ. по сб. 1937, с. 95, где это и три последующих стихотворения объединены общим заглавием «Портреты».

* 2. «Молодая гвардия», 1930, № 13, с. 74; СХ; сб. 1935. Печ. по сб. 1937, с. 98. *Форштадты* — предместья, слободки.

* 3. «Октябрь», 1929, № 4, с. 80; СХ; сб. 1935. Печ. по сб. 1937, с. 100. *Марсово поле* — площадь в Петербурге, на которой в царское время устраивались военные парады. *Лайба* — финская двухмачтовая шхуна с косыми парусами. *«Будильник»* — популярный сатирический журнал с карикатурами. *«Пулемет»* — журнал революционной политической сатиры, издавался в Петербурге в 1905—1906 гг. *Дорога Владимирская* — название этапного пути, по которому осужденных пересылали из Москвы или через Москву в Сибирь.

* 4. «Молодая гвардия», 1930, № 13, с. 76; СХ. Печ. по сб. 1937, с. 103.

52. Сб. 1948, с. 66. Печ. по Соч. 1, с. 84. *Гарма* — посёлок в высокогорном районе Таджикской ССР. *Мешхед* — город в Иране, находится на скрещении дорог в Афганистан, Пакистан и Туркменскую ССР. *Кокчетав* — обл. город в Казахской ССР.

53. Собр. 1931, с. 130; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 188.

54. «Новый мир», 1930, № 10, с. 47, под загл. «Разлука (Песня)»; сб. 1935; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 254. *Эльтон* — соляное озеро в Волгоградской обл., где ведется промышленная разработка соли.

* 55. «Новый мир», 1930, № 10, с. 48, под загл. «Пейзаж». Печ. по сб. 1937, с. 122.

56. Собр. 1931, с. 134, с 1-й строкой «Если песню ведут о туземце...». Печ. по сб. 1937, с. 113.

57. Сб. 1937, с. 120. Печ. по Соч. 1, с. 257.

58. «Звезда», 1934, № 3, с. 60, с 1-й строкой «Старый дед мою пытается душу...»; сб. 1935; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 251.

59. «Литературный современник», 1934, № 6, с. 24, под загл. «Из книги „Сад“». Печ. по ГС, с. 81.

60. Сб. 1939, с. 131. Печ. по ГС, с. 69.

61. «Ленинград», 1946, № 5, с. 6. Печ. по Соч. 1, с. 256. *Значенье Шекспировой ивы*. В трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский» безумная Офелия, тонущая в реке с веткой ивы в руках, «обрывки песен пела».

62. Соч. 1, с. 259.

63. Соч. 1, с. 460.

64. Соч. 1, с. 261.

65. Соч. 1, с. 266.

66. «Ленинград», 1946, № 5, с. 6. Печ. по Соч. 1, с. 267.

67. Соч. 1, с. 269.

68. «Ленинград», 1946, № 5, с. 6. Печ. по ГС, с. 85.

69. Сб. 1937, с. 193. Печ. по сб. 1939, с. 54.

70—97. Цикл закончен в июне 1933 г. Во второе издание «Золотой Олёкмы» (1936) включены дополнительно №№ 9, 15, 25. В Соч. 1 цикл значительно расширен.

1. «Звезда», 1937, № 4, с. 7; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 199.

* 2. «Октябрь», 1933, № 11, с. 4. Печ. по Ол 2, с. 5. *Летники* — летние жилища. *Сыченый* — медовый. *Поторжной* — вольный рабочий, нанявшийся на случайную работу, здесь город вольного рабочего люда. *Немионный край*. Имеется в виду Сибирь, где дома

обычно строили без мха; немшоный, т. е. срубленный без мха, не проложенный, не пробитый мхом.

* 3. «Год семнадцатый», альманах третий, М., 1933, с. 326. Печ. по Ол 2, с. 7. *Неопалимой* — т. е. иконе божьей матери. *Тропарь* — церковная песнь. *Струганина* — мороженые рыба и мясо, которые в Сибири обычно нарезают, строгают ножом. *Баргузин* — северо-восточный ветер на Байкале.

* 4. «Год семнадцатый», альманах третий, М., 1933, с. 329. Печ. по Ол 2, с. 10. «*Моего ль вы знали друга?..*» — песня Офелии из трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский» в переводе Н. Пөлөвога, ставшая популярным мещанским романсом. *Шарабан* — кафешантанная песенка «Ах, шарабан мой, американка...», которую распевали в Сибири (и не только в Сибири) в годы гражданской войны. «*То английский...*». Имеется в виду песенка о колчаковцах:

Солдат российский,
Мундир английский,
Сапог японский,
Правитель омский...

Колчак А. В., адмирал царского флота, при поддержке английских интервентов в 1918 г. в Омске установил военную диктатуру и объявил себя «верховным правителем и верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России». После разгрома колчаковцев Красной Армией Колчак по приговору Иркутского военно-революционного комитета был расстрелян.

5. «Октябрь», 1933, № 11, с. 5; Ол; Ол 2; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 116. *Шурф* — неглубокая вертикальная горная выработка для разведки ископаемых. *Неясыть* — род больших сов. *Штрек* — горизонтальный подземный ход в руднике без непосредственного выхода на поверхность земли. *Вашгерды* — приспособления для промывки золотоносного песка. *Шаньги* — ватрушки, лепешки.

* 6—7. 1. «Резец», 1934, № 3, с. 4, под загл. «Байкальское предание»; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по сб. 1952, с. 202. *Кенди* — высокие песчаные озерные берега. 2. Сб. 1937, с. 137; сб. 1939; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 203.

* 8. «Год семнадцатый», альманах третий, М., 1933, с. 323; «Резец», 1934, № 3; Ол; Ол 2; сб. 1952. Печ. по Соч. 1, с. 121. *Гольцы* — каменные сопки, вершины голых каменных гор. *Фарт* — удача. *Азям* — кафтан, зипун, армяк. *Черемша* — дикий чеснок. *Карбаз* — большая плоскодонная лодка.

* 9. Ол 2, с. 38; сб. 1937; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 208.

10. «Год семнадцатый», альманах третий, М., 1933, с. 333; Ол. Печ. по сб. 1952, с. 210. *Куренга* — туша зверя. *Бутара* — приспособление для пробивания промываемой золотоносной земли.

11. «Год семнадцатый», альманах третий, М., 1933, с. 335, под загл. «Биография инженера Иванова»; Ол. Печ. по Ол 2, с. 24.

12. Ол, с. 38; Ол 2; сб. 1937 (с другим порядком стрóf). Печ. по Соч. 1, с. 132. *Копачи* — люди, которые тайком, незаконно добывают золото.

* 13. «Октябрь», 1933, № 11, с. 5; Ол. Печ. по Соч. 1, с. 135.

Союз Михаила-архангела — черносотенная монархическая организация, образовавшаяся в 1907 г., которую возглавил реакционер, бессарабский помещик В. М. Пуришкевич; отстаивала монархические лозунги «православие, самодержавие и народность», организовывала убийства прогрессивных деятелей и массовые еврейские погромы. *Марьяж* — ситуация в картежной игре. *Марьяжить* — залучить поклонника. *Шустовская рябиновка* — по имени владельца винных заводов Шустова. *Щирый* — истинный, точный. *Чалдон* — сибиряк. *Витим* — река в Забайкалье, правый приток Лены.

14. «Октябрь», 1933, № 11, с. 3; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 137. *Сплотки* — сплоченные деревянные лари, куда вода стекает по желобам. *Духмяна* — душиста, пахуча. *Девиз* — здесь надпись на государственном гербе. *Двоедан* — раскольник.

15. «Литературный современник», 1934, № 6, с. 24, под загл. «Из поэмы „Тайга“»; «Год восемнадцатый», 1935, № 8; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 140. *Витим* — см. примеч. выше. *Сиверко* — холодный северный и северо-восточный ветер. *Нетопырь* — летучая мышь. *Щапливый* — щеголь, нарядный. *Важенка* — самка северного оленя. *Тельник* — нательный крест. *Варнак* — каторжник. *Чалдонка* — сибирячка.

* 16. Ол, с. 61; Ол 2; сб. 1937. Печ. по сб. 1952, с. 213. *Каты* — обувь.

* 17. Ол, с. 53, под загл. «На середине железной дороги»; сб. 1939. Печ. по сб. 1948, с. 165.

18—21. 1. «Год семнадцатый», альманах третий, М., 1933, с. 331; Ол — под загл. «Воспоминание»; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 147. *Поторжные дороги* — торговые тракты. *Летники братские* — летние жилища бурятов. *Драга* — машина для промывки золотоносного грунта. 2. «Звезда», 1937, № 10, с. 136, под загл. «Память»; сб. 1939; ГС; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 148. *Гольцы* — см. примеч. 77. *Завитимские дали* — река Витим в Забайкалье, правый приток Лены. 3. «Звезда», 1937, № 10, с. 137, под загл. «Сердце». Печ. по Соч. 1, с. 149. 4. «Звезда», 1937, № 10, с. 136, под загл. «Детство»; сб. 1939; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 149.

22. «Звезда», 1938, № 5, с. 122, с подзаголовком «Из стихов о детстве». Печ. по Соч. 1, с. 151. *Покусих же ся аз* — т. е. я же покусился.

23. «Звезда», 1937, № 10, с. 138; сб. 1939. Печ. по ГС, с. 112.

24. «Звезда», 1937, № 10, с. 137; сб. 1939; ГС. Печ. по сб. 1948, с. 161. *Офеня* — бродячий торговец-разносчик, продававший по деревням галантерею, мануфактуру, книжки, лубочные картинки.

25. Ол 2, с. 55. Печ. по сб. 1952, с. 212. *Сасыл-сасы* — якутское топонимическое название, в переводе на русский язык — «Лисья долина».

26. «Звезда», 1937, № 4, с. 7; сб. 1937 (с другим порядком строк); сб. 1939. Печ. по сб. 1948, с. 163. *Шитик* — лодка.

* 27. «Октябрь», 1933, № 11, с. 6; Ол; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 159.

28. «Сибирские огни», 1948, № 6, с. 6. Печ. по сб. 1952, с. 223. *Волокуша* — примитивная повозка из двух жердей, скрепленных поперечной связью, которая служила для вывозки волоком сена, бревен и т. п.

98. «Звезда», 1934, № 3, с. 59; сб. 1937, Печ. по Соч, 1, с. 247.

99. «Октябрь», 1935, № 1, с. 114; сб. 1937. Печ. по сб. 1948, с. 29. *Газа* Иван Иванович (1894—1933) — слесарь Путиловского завода, активный участник Октябрьской революции и гражданской войны, до 1925 г. военком Красной Армии, затем партийный работник, в 1931—1933 гг. секретарь Ленинградского горкома партии. Его именем назван в Ленинграде бывший Старо-Петергофский проспект. Похоронен на Марсовом поле. *О рейде Мамонтова весть*. В августе-сентябре 1919 г. конный корпус белогвардейского генерала К. К. Мамонтова был направлен командованием денкинской армии в тыл Южного фронта Красной Армии и разгромлен под Воронежем 12 сентября 1919 г.

100. «Красная новь», 1935, № 2, с. 107; сб. 1937, под загл. «Привал в 1920 году»; сб. 1948, под загл. «Привал в степи». Печ. по Соч. 1, с. 89.

101. «Красная новь», 1935, № 7, с. 80; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 77.

102. «Красная новь», 1937, № 3, с. 108, без заглавия; сб. 1937; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 80. *Дутовцы* — участники контрреволюционного восстания кулацких слоев оренбургского казачества в период гражданской войны, во главе которого был полковник генштаба царской армии, монархист А. И. Дутов.

103. «Красная новь», 1937, № 3, с. 108; сб. 1937. Печ. по Соч. 1, с. 97. *Деррик* — буровая вышка.

104. «Красная новь», 1937, № 3, с. 109; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 68.

105. «Ленинград», 1946, № 5, с. 6. Печ. по сб. 1948, с. 177.

106. «Ленинград», 1946, № 5, с. 6.

107. Сб. 1937, с. 115, без загл.; сб. 1939. Печ. по ГС, с. 71.

108. «Звезда», 1938, № 5, под загл. «Память»; сб. 1939, без загл.; ГС, под загл. «Юность Кирова»; сб. 1948, без загл. Печ. по сб. 1952, с. 179.

109. Сб. 1937, с. 75. Печ. по сб. 1939, с. 103.

110—123. Стихотворения, не опубликованные при жизни В. М. Саянова, входили в цикл «Петергофская тетрадь». Наиболее ранние из них датированы 1932 г. Подготовка цикла к печати относится к 1936 г. Эта дата поставлена на титульном листе машинописного экземпляра. Публикация лирического цикла в то время не состоялась, хотя мысль об его издании долго не оставляла поэта. Стихотворение, которым должен был открываться сборник («Подношу эту книгу на память, .»), помечено 1 октября 1938 г. В оглавлении ру-

кописи, содержащей больше тысячи стихотворных строк, названо 71 стихотворение. Некоторые из них в переработанном виде были напечатаны Саяновым многие годы спустя: одни — в 1946 г. (см. №№ 66, 68, 106), другие вошли в ГМ (см. №№ 207—209, 216—217) и в Соч. (см. №№ 63—65, 67). В рукописи «Петергофской традиции» они не сохранились. Многие же из стихотворений этого цикла так и не увидели света при жизни В. Саянова (см.: В. Абрамкин, А. Лурье. Труд поэта (по неопубликованным материалам из архива В. М. Саянова). — Сб. 1962, с. 62—68).

1. «Звезда», 1960, № 1, с. 59.

2. «Звезда», 1960, № 1, с. 57.

3. Избр. 1963, с. 329.

4. Избр. 1963, с. 328.

5. «Звезда», 1960, № 1, с. 57.

6. «Звезда», 1960, № 1, с. 60.

7. Рукопись (АС).

8. «Звезда», 1960, № 1, с. 60.

9. «Звезда», 1960, № 1, с. 60.

10. Рукопись (АС). *Парфенон* — храм богини Афины, построен на афинском Акрополе в 447—438 гг. до н. э.

11. «Звезда», 1962, № 2, с. 61. *Монплежир* и *Марли* — дворцы в Новом Петергофе (ныне Петродворец), построенные при Петре I.

12. «Звезда», 1960, № 1, с. 58.

13. Сб. 1962, с. 64. 4-я строфа стала начальной в стих. «Из письма» (см. № 166). Впоследствии эта же строфа использована в стих. «Где искать тебя...». Об этом см. подробнее в сб. 1962, с. 63—68.

* 14. «Звезда», 1960, № 1, с. 61.

124. «Звезда», 1938, № 5, с. 115; сб. 1939; ГС. Печ. по сб. 1948, с. 22. *Бабушкин* Иван Васильевич (1873—1906) — рабочий, ученик и ближайший помощник В. И. Ленина, активный член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», выдающийся деятель социал-демократической партии. *Шелгунов* Василий Андреевич (1867—1939) — один из активных деятелей первого поколения рабочих-марксистов России, профессиональный революционер, в 90-е годы вел пропаганду марксизма в кружках обуховских и путиловских рабочих Петербурга, активный член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1905 г. в тюрьме ослеп, но продолжал активную революционную деятельность. В. М. Саянов познакомился с Шелгуновым в Петрограде после революции. См. также № 221.

125. «Ленинградская правда», 1937, 10 февраля. Печ. по сб. 1939, с. 124.

126. «Красная новь», 1937, № 3, с. 109; сб. 1937. Печ. по сб. 1939, с. 133.

127. «Красная новь», 1937, № 3, с. 108. Печ. по сб. 1939, с. 59.

128. «Красная новь», 1937, № 3, с. 107, без загл.; сб. 1939, без загл., с другим порядком строк: строфа 2 была 3-й, а строфа 5 была 2-й; сб. 1948, без загл. Печ. по Соч. 1, с. 75.

129. Сб. 1937, с. 69.

130. Сб. 1937, с. 207. *Здесь юность Куйбышева шла.* Куйбышев Валериан Владимирович (1888—1935) — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, детские годы провел в Кокчетаве (до 1898 г.).

131. «Литературный современник», 1939, № 10—11, с. 9; сб. 1939, Печ. по сб. 1948, с. 55.

132. «Звезда», 1937, № 1, с. 9, под загл. «5 февраля 1837 года»; сб. 1937; ГС. Печ. по Соч. 1, с. 275. 4(16) февраля 1837 г. ночью гроб с телом А. С. Пушкина в сопровождении друга поэта А. И. Тургенева, жандармского капитана и старого слуги Пушкина Никиты Козлова был увезен по Псковскому тракту в Святогорский монастырь (минуя города Псков и Остров), куда и прибыл вечером 5(17) февраля. *Монастыри... от Никоновых дней.* Никон (Никита Минов, 1605—1681), патриарх московский, провел ряд реформ в 1653—1656 гг., усиливших влияние и материальное могущество церковных организаций. *Пошевни* — широкие сани, розвальни.

133. «Известия», 1937, 10 февраля; сб. 1937; сб. 1939. Печ. по сб. 1948, с. 276. *Подвиг Святогора.* Былинный богатырь Святогор оторвал от земли и поднял чудесную «сумочку переметную», обладавшую страшной тягой. *Пускай в слепую ночь ливонский пес рычит.* Имеется в виду Ливонский орден немецкого рыцарства (отделение Тевтонского ордена), который к концу XIII в. захватил огромную территорию между устьями рек Висла и Неман и стал основной силой германской феодальной агрессии против государств Восточной Европы. *Свейские села* — шведские поселения. *Копорье* — каменный город и крепость, сооруженные новгородцами вблизи Финского залива в 1280 г. на месте, где прежде находилась крепость Тевтонского ордена немецких рыцарей, разрушенная Александром Невским в 1241 г. Ныне село Ломоносовского района Ленинградской области. *И поднял бунт стрелец.* В 1698 г. стрелецкое войско подняло бунт и выступило против прогрессивных преобразований Петра I. *Его предтечей был архангельский мужик* — М. В. Ломоносов. *Мининские полки* — ополчение для борьбы с польско-шляхетскими интервентами. В 1612 г. войска интервентов были разгромлены. Одним из главных организаторов ополчения был нижегородец Козьма Минин (ум. 1616).

134. «Литературный современник», 1938, № 5, с. 15, без загл. и двух последних строк; сб. 1939. Печ. по ГС, с. 115.

135. «Звезда», 1938, № 5, с. 121.

136. «Резец», 1938, № 23, с. 7. Печ. по сб. 1939, с. 84. *Нарыск* — след лисы.

137. «Литературный современник», 1938, № 5, с. 17; сб. 1939; ГС. Печ. по сб. 1952, с. 131. *Новгородский ушкуйник.* Вооруженные дружинники, которых снаряжали новгородские бояре и купцы для захвата земель на Севере, торговых и захватнических экспедиций на

Волге и Каме. *Седов Г. Я.* (1877—1914) — русский гидрограф и полярный исследователь, организовал экспедицию на Северный полюс, отправившуюся на парусно-паровом судне в августе 1912 г. После двух зимовок Седов и его товарищи вынуждены были пешком возвратиться из экспедиции. Седов умер вблизи острова Рудольфа и похоронен на мысе Аук.

138. «Литературный современник», 1938, № 5, с. 16; сб. 1939; ГС; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 199. *Владимир, стольной Киевской славится князь.* Во многих русских былинах действие отнесено ко времени княжения Владимира Святославича (978—1015), с именем которого связан наиболее значительный период в истории Киевской Руси.

* 139. «Литературный современник», 1938, № 5, с. 19; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 203.

140. «Звезда», 1938, № 5, с. 119, без загл.; сб. 1939; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 86.

141. «Звезда», 1938, № 5, с. 120. Печ. по сб. 1939, с. 56.

142. «Литературный современник», 1938, № 10, с. 129. Печ. по сб. 1939, с. 98. *Марли* — один из дворцов загородной царской резиденции — Нового Петергофа (ныне Петродворец). *Марциальные воды Петра* — лечебные воды, находившиеся на Кончозере вблизи Петрозаводска; здесь Петр I лечился в 1719—1724 гг.

143. Сб. 1939, с. 145. Печ. по Соч. 1, с. 250.

144. Сб. 1939, с. 151.

* 145. «Литературный современник», 1938, № 10, с. 130; сб. 1939; ГС. Печ. по Соч. 1, с. 179.

* 146. «Звезда», 1946, № 7—8, с. 158. Печ. по сб. 1948, с. 28. *Первый стратостат* — в 1933 г. советский стратостат «СССР—I» (Г. Прокофьев, К. Годунов, Э. Бирнбаум) достиг высоты 20 км. Незадолго до этого бельгиец А. Пикар поднимался на высоту до 16 км (1931 и 1932).

147—152. Впервые как цикл — сб. 1939, с. 75; сб. 1948.

* 1. «Резец», 1939, № 3, с. 6, под загл. «Смольный в начале 1918 года»; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 165.

2. Сб. 1937, с. 50; сб. 1939. Печ. по Соч. 1, с. 166.

* 3—4. «Ленинградская правда», 1938, 8 января; «Красная новь», 1938, № 4; сб. 1939; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 167. «*В рабстве спасенное...*» — из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

5. «Резец», 1939, № 7, с. 3; сб. 1939. Печ. по сб. 1948, с. 9. *Охтянки* — жительницы района Охты в Ленинграде. *Гдов* — город в Псковской обл., на берегу Чудского озера.

* 6. «Литературный современник», 1938, № 5, с. 18; сб. 1948, под загл. «Сказ». Печ. по Соч. 1, с. 171. *Гальот* — парусное судно. *Мазурские болота* — район на северо-востоке Польши, где в 1914 г. погибла армия под командованием генерала Самсонова.

153—157. 1. «Звезда», 1938, № 5, с. 116; сб. 1939; ГС; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 133.

2. «Звезда», 1938, № 5, с. 117; сб. 1939; ГС; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 134.

3. «Звезда», 1938, № 5, с. 118; ГС. Печ. по сб. 1948, с. 185.

* 4. «Звезда», 1938, № 5, с. 119; сб. 1939; ГС; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 136.

5. Сб. 1939, с. 238; «На рубеже», 1946, № 2—3. Печ. по Соч. 1, с. 209.

158. «Литературный современник», 1939, № 5—6, с. 91; сб. 1939; сб. 1948. Печ. по Соч. 1, с. 192. *Грин А.* — псевдоним писателя Гриневского А. С. (1880—1932), автора широко известных романтических произведений «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Корабли в Лиссе» и др. *Летучий Голландец* — легендарный образ морского капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю, никогда не приставая к берегу. Встреча с ним предвещает бурю, кораблекрушение и гибель. Эта легенда широко бытовала в XVII в. *Лисс, Зурбаган* — вымышленные названия портовых городов, где происходят события в ряде произведений А. Грина.

159. «Литературный современник», 1939, № 10—11, с. 12. Печ. по сб. 1939, с. 241. *Шалоник* — юго-западный ветер. *Шнява* — двухмачтовое морское судно. По «*российскому винограду*» и «*поморским ответам*». Имеются в виду рукописи старообрядческих книг: «Виноград Российский, или Вертоград духовный, или История о новых задревле церковных благочестий российских страдальцах» (1746) Андрея Денисова и «Поморские ответы» (1722 или 1723) Андрея Денисова брата Семена и Трифона Петрова. *Хлебня* — хлебопекарня.

160. «Литературная Россия», 1963, № 24, с. 20.

161. «Литературная Россия», 1963, № 24, с. 20.

162. «Литературная Россия», 1963, № 24, с. 20.

163. «Звезда», 1960, № 1, с. 61.

164. Избр. 1963, с. 334.

165. Сб. 1962, с. 65.

166. ГС, с. 82. *Словно говор московских просвирен*. См. примеч. 6.

167. ГС, с. 60. Печ. по сб. 1952, с. 266. *Меделянский пес* — одна из самых крупных пород собак, напоминает бульдога, «*Фрэйший*» — немецкое название оперы Вебера «Волшебный стрелок», широко известной в России.

* 168. «Литературный современник», 1941, № 7—8, с. 135. Печ. по сб. 1952, с. 269. *Шли на Чертов мост*. Во время швейцарского похода Суворова в 1799 г. русские войска 14(25) сентября атаковали противника, оборонявшего неприступный Чертов мост через р. Рейс в Швейцарских Альпах (район Сен-Готарда).

169. «Звезда», 1946, № 7—8, с. 159; сб. 1948; сб. 1952. Печ. по Соч. 1, с. 289.

170. «Звезда», 1962, № 2, с. 61. *Иванов А. А.* (1806—1858) — великий русский художник, создатель знаменитой картины «Явление Христа народу» (находится в Москве в Третьяковской галерее).

171. «Звезда», 1962, № 2, с. 62. *Колпино* — пригород Ленинграда, где находится Ижорский завод.

172. «Звезда», 1962, № 2, с. 63. *Манежный* — переулок в Ленинграде.

173. Сб. 1948, с. 200.

174. «Ленинград», 1945, № 10—11, с. 7. Печ. по сб. 1948, с. 244. *Конрад, Георгий, Фридрих* — прусские короли. Конрад, Георгий, Фридрих и польский король *Сигизмунд* вели на границе Польши и Пруссии войны в XVI—XVIII вв.

175. «Ленинград», 1945, № 10—11, с. 7.

176. В, с. 61; ГС. Печ. по сб. 1948, с. 253.

177. В, с. 72. Печ. по сб. 1948, с. 258.

178. «Известия», 1945, 6 сентября; сб. 1948. Печ. по сб. 1952, с. 93. «*Варяг*» — русский крейсер, вступивший в неравный бой против японской эскадры 27 января (9 февраля) 1904 г., получил повреждения и был затоплен офицерами и матросами, оборонявшимися до последней минуты. «*Стерегающий*» — миноносец русского Тихоокеанского флота, пытался прорваться в Порт-Артур 10 марта 1904 г., в неравном бою потерял командира, всех офицеров и почти всю команду. Оставшиеся в живых два матроса затопили корабль. *Цусима*. Имеется в виду морское сражение в Цусимском проливе 14—15 (27—28) мая 1905 г. между русской 2-й Тихоокеанской эскадрой и японским флотом, закончившееся поражением русской эскадры.

179—180. Из цикла «Нюрнбергский дневник». Как корреспондент ленинградских газет В. М. Саянов присутствовал на судебном процессе главных военных преступников в Международном военном трибунале в Нюрнберге.

1. «Звезда», 1948, № 8, с. 3.

2. «Звезда», 1948, № 8, с. 4. Печ. по сб. 1952, с. 101.

181. «На рубеже» (Петрозаводск), 1946, № 2—3. с. 62. Печ. по Соч. 1, с. 194. *Привады* — приманки.

182. «Звезда», 1948, № 5, с. 3; сб. 1952. Печ. по Соч. 1, с. 227.

183. «Ленинградская правда», 1949, 5 июня. «*Над Невой резов вьются...*» — из стих. А. С. Пушкина «Пир Петра Великого» (1835).

184. «Литературная газета», 1950, 17 мая, под загл. «Путь славы (стихи об А. В. Суворове)». Печ. по сб. 1952, с. 274. Написано к

150-летию со дня смерти А. В. Суворова. *Альпы дымилась в огне.* Имеется в виду переход русской армии под командованием Суворова через Альпы во время Швейцарского похода 1799 г. *Измаил* — турецкая крепость, которую русская армия взяла штурмом 11 (22) декабря 1790 г.

185—218. В ГМ печ. с подзаголовком «Стихи пятидесятих годов», в Соч. 2 — дополнено новыми стихотворениями и датировано: «1948—1957».

1. «Огонек», 1957, № 26, с. 18. Печ. по ГМ, с. 5.

2. «Звезда», 1957, № 10, с. 89, под загл. «Край родимый». Печ. по ГМ, с. 7.

3. «Звезда», 1957, № 10, с. 89. Печ. по ГМ, с. 9.

4. «Ленинградский альманах», 1955, кн. 10, с. 19, без загл. Печ. по ГМ, с. 12.

5. ГМ, с. 19. *Залка Матэ* (1896—1937) — венгерский писатель, участник гражданской войны в СССР, в 1920 г. вступил в коммунистическую партию. Героически погиб в Испании во время освободительной войны 1936—1939 гг. на посту командира 12-й Интернациональной бригады, где был известен как генерал Лукач.

6. «Звезда», 1957, № 10, с. 92. Печ. по ГМ, с. 23.

7. «Огонек», 1957, № 26, с. 8. Печ. по ГМ, с. 26.

8. «Огонек», 1957, № 26, с. 8. Печ. по ГМ, с. 28. *Жаркий день Чонгара.* Во время боев с Врангелем чонгарские укрепления закрывали подступы к Крымскому полуострову. 11 ноября 1920 г. они были прорваны Красной Армией.

9. «Нева», 1955, № 2, с. 36. Печ. по ГМ, с. 35.

10. Сб. «Прибой», Л., 1957, с. 151. Печ. по ГМ, с. 42.

11—12. 1. «Звезда», 1957, № 10, с. 93, под загл. «Старые этапы» (без строфы 2). Печ. по ГМ, с. 43. 2. «Звезда», 1957, № 10, с. 94. Печ. по ГМ, с. 44.

13. «Звезда», 1957, № 10, с. 96. Печ. по ГМ, с. 49.

14. ГМ, с. 51.

15. «Звезда», 1957, № 10, с. 97. Печ. по ГМ, с. 53.

16. Сб. «Прибой», Л., 1957, с. 151. Печ. по Соч. 2, с. 41. В сб. «Прибой» и в ГМ печ. с посвящением Вс. Азарову.

17. «Нева», 1955, № 6, с. 8, под загл. «Памяти поэта В. Замятина». Печ. по ГМ, с. 57. *Замятин В. Д.* (1915—1952) — советский поэт.

18. «Нева», 1955, № 6, с. 7. Печ. по Соч. 2, с. 44.

19. ГМ, с. 61.

20. ГМ, с. 62.

21. Сб. «Прибой», Л., 1957, с. 152.

22. «Звезда», 1957, № 10, с. 98.

23. «Нева», 1955, № 6, с. 9. Печ. по ГМ, с. 73.

24. «Нева», 1955, № 6, с. 10. Печ. по ГМ, с. 74.

25. Сб. «Прибой», Л., 1957, с. 152.

26. ГМ, с. 77.

27. ГМ, с. 78.

28. ГМ, с. 79.

29. ГМ, с. 81, без загл. Печ. по Соч. 2, с. 63.

30. ГМ, с. 82.

31. ГМ, с. 83.

32. «Ленинградский альманах», 1955, кн. 10, с. 21, без загл. Печ. по ГМ, с. 89.

33. «Нева», 1955, № 6, с. 8.

34. «Литературная газета», 1947, 31 декабря.

219—225. В отд. изд. «Голоса молодости» (Л., 1957) с подзаголовком «Стихи пятидесятых годов».

1. «Известия», 1948, 21 января. Печ. по Соч. 2, с. 87.

2. «Звезда», 1957, № 6, с. 34.

3. «Звезда», 1957, № 6, с. 35. *Шелгунов* — см. примечание к № 124.

4. «Ленинградский альманах», 1957, кн. 13, с. 195, под загл. «Ленин за Нарвской заставой». Печ. по ГМ, с. 99.

5. «Нева», 1955, № 8, с. 109.

6. «Нева», 1955, № 6, с. 7. Печ. по ГМ, с. 105.

7. «Нева», 1955, № 6, с. 5, без загл. Печ. по ГМ, с. 106.

226. «Звезда», 1957, № 10, с. 91.

227. «Звезда», 1957, № 11, с. 7.

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ В СТИХАХ

228. «Литературный современник», 1938, № 10, с. 130, под загл. «Повесть о Тамаре и Юрии»; «Слово о Мамаевом побоище», Л., 1939. Печ. по сб. 1939, с. 134. Журнальная публикация сопровождается примечанием автора: «Сказания о грузинской царице Тамаре отражены во многих произведениях русской поэзии. «Повесть о Тамаре и Юрии» — поэтическая обработка древней легенды, которую я слышал когда-то на Кавказе».

* 229. «Новый мир», 1939, № 5, с. 140, с посвящением Миколе Бажану; избр. 1948; сб. 1952. Печ. по Соч. 2, с. 182. В основу лирической повести о Тарасе Григорьевиче Шевченко (1814—1861) положено предание о годах ссылки поэта и его тяжелой военной службе рядовым в Оренбургском корпусе. В тексте произведения цитируются украинские народные песни («Тече річка невеличка...» и др.).

230. «Литературный современник», 1939, № 7—8, с. 3 (без гл. 5); ГС (без гл. 5); сб. 1952. Печ. по Соч. 2, с. 103. *В штабе Фрунзе*. Весной 1919 г. М. В. Фрунзе (1885—1925) был командующим армиями Южной группы Восточного фронта. С «*Шошами*» в руках, т. е. с оружием в руках. *Гайда* — белогвардейский генерал, главарь чехословацкого мятежа. *Телеграмму Ленина вспомнил в тишине*. Об этом эпизоде см.: С. Сиротинский, *Путь Арсения*. Биографический очерк о М. В. Фрунзе, М., 1956, с. 145—147. *Комбеды* — комитеты бедноты, сельские и волостные, учрежденные декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г., были опорными пунктами диктатуры пролетариата в деревне и сыграли роль в упрочении Советской власти в деревне в 1918 г. *Колки* — отдельные рощи или небольшие леса в степных районах. *По приказу Ленина был он награжден*. М. В. Фрунзе был награжден двумя орденами Красного Знамени и почетным революционным ору-

жем. *Сам он из Пишпека*. Фрунзе родился в г. Пишпек (ныне г. Фрунзе),

231. Повесть о Кульневе, Л., 1942; сб. 1948. Печ. по Соч. 2, с. 191. *Кульнев Яков Петрович* (1763—1812) — генерал, участник шведской кампании (1808—1809), турецкой кампании (1810—1811) и Отечественной войны 1812 г. *Денис Давыдов прощается с Москвой*. Давыдов Д. В. (1784—1839) — поэт, участник шведской кампании и герой Отечественной войны 1812 г., писал в своих воспоминаниях: «Первый слух о войне с Швецией и о движении войск наших за границу выбросил меня из московских балов и сентиментальностей к моему долгу и месту... и я не замедлил догнать армию нашу в Шведской Финляндии на полном ходу ее» (Д. Давыдов, Воспоминания о Кульневе в Финляндии. — В кн.: Д. Давыдов, Военные записки, М., 1940, с. 141). С Кульневым Давыдов познакомился в 1804 г. *Раевский Н. Н.* (1771—1829), *Тучков Н. А.* (1761—1812), *Барклай де Толли* (1761—1818), *Багратион П. И.* (1765—1812) — генералы русской армии, участники шведской кампании, прославились в боях Отечественной войны 1812 г. *Ахилл* — один из героев эпической поэмы Гомера «Илиада». *Чикчиры* — кавалерийские штаны. *Ментик* — гусарский мундир. *Фланкировка* — ведение огня вдоль линии фронта во фланг противнику. *Арак* — крепкий спиртной напиток. *Прейсиш-Эйлау* — ныне г. Багратионовск, Калининградской области, вблизи которого 26—27 января (7—8 февраля) 1807 года произошло одно из самых кровопролитных сражений между русской и французской армиями. *Доломан* — гусарский мундир, расшитый шнурами. *Фланкер* — солдат, посланный для фланкировки (см. выше). *Ботника* — Ботнический залив. *На балу в Або*. Д. Давыдов в своих записках сообщает: «В Аbove явился к моей должности и вместе с тем попал на балы и увеселения» (Д. Давыдов, Военные записки, М., 1940, с. 143). *Крылья штандарта* — флаг с гербом: черный орел на золотом поле. *Аланды* — Аландские острова, группа островов, принадлежащих Финляндии. *Оссиан* — легендарный герой кельтского народного эпоса, по имени которого назван большой цикл поэтических произведений, т. н. «поэмы Оссиана». *Костров Е. И.* (около 1750—1796) — русский поэт и переводчик. Им выполнены переводы крупных произведений мировой литературы («Золотой осел» Апулея, «Илиада» и др.), а также полный перевод песен Оссиана с популярного в XVIII в. французского текста Летуэрнера (См.: Е. Костров, Стихотворения, ч. 1—2, М., 1792). *Страда*.. *Оровайса*. Имеется в виду сражение под Оровайсом на территории Финляндии во время войны России со Швецией (1807—1808). В этом сражении Кульнев особенно отличился. *Смерть Кульнева*. Я. П. Кульнев геройски погиб в сражении под Клястицами в 1812 г. *Удино* — маршал наполеоновской армии, участвовавший в войне 1812 г.

232. Повести о русских войнах. М., 1944, с. 84, в подзаголовке: «Из славянских преданий»; избр. 1948; сб. 1952. Печ. по Соч. 2, с. 151. *Беловежье* — Беловежский государственный заповедник (Беловежская пуца), расположенный в западной части Белорусской ССР, неподалеку от г. Бреста. *Грозный год тридцать девятый*. Западная Белоруссия оставалась под гнетом польских панов до сентября 1939 г., когда она была освобождена Красной Армией и воссоеди-

нена с БССР. *Ночь Купалы* — ежегодный весенний праздник славян 24 июня, когда жгут костры в поле. *Мицкевич* А. (1798—1855) — великий польский поэт. *Словацкий* Ю. (1809—1849) — выдающийся польский поэт.

233. Сб. «Город славы боевой», Л., 1945, с. 115, под загл. «Невская повесть» (другая ред.: всего 7 глав, из которых в последующем сохранена гл. 1, а текст гл. 6 использован в гл. 13); сб. 1952. Печ. по Соч. 2, с. 161. *Орешек* — древняя русская крепость (основана в 1323 г.), в начале XVIII в. получила название Шлиссельбург, с 1944 г. — г. Петрокрепость. *Брамсель* — третий снизу прямой парус морского парусного судна. «*Воронка*», «*Песня*», «*Дуня*», «*Чайка*». Каждое крепостное орудие имело свое имя. «В Орешке были и «Воронка», и «Чайка», но «Дуня» все-таки всегда оставалась любимицей гарнизона. И расчет у «Дуни» подобрался особенный, слаженный, храбрый» (В. Саянов, Ленинградский дневник, Л., 1958, с. 212—221). *Измаил* — турецкая крепость, считавшаяся неприступной, была взята штурмом 11 декабря 1790 г. русскими войсками под командованием А. В. Суворова. *Дорога Жизни* — ледовая дорога через Ладожское озеро, созданная в дни блокады Ленинграда (1941—1943).

234. ГС, с. 209, под загл. «В двадцатые годы (из повестей ранних дней)», обрывается на строке 49 главы 3. Печ. по сб. 1952, с. 319. Поэма написана на основе личных воспоминаний В. Саянова (См.: В. Саянов, Статьи и воспоминания, Л., 1958, с. 187—209). Эпиграф из стих. Н. А. Некрасова «Памяти Асенковой». «*Фартовые года*» — название первой книги стихотворений В. Саянова (1926). *Истомина* А. И. (1799—1848) — балерина, одна из крупнейших представительниц русского классического балета 20—30-х годов XIX в. *Политехнический музей* — концертный и лекционный зал в Москве, в котором неоднократно выступал В. Маяковский. *Вайян-Кутюрье* Поль (1892—1937) — выдающийся деятель французского рабочего движения, коммунист, писатель. *Матэ Залка* — см. примеч. 189. *Дом из стекла построил Корбюзье в Москве старинной*. В 1929—1936 гг. в Москве по проекту выдающегося французского архитектора Ле Корбюзье (псевдоним Шарля Эдуарда Жаннере, 1887—1965) был сооружен дом Центросоюза. *Стародум* — персонаж из комедии Д. Фонвизина «Недоросль». *Я-де ничевок*. Имеется в виду литературная группа «ничевоки», участники которой шумно возвещали нигилистические идеи в области литературы. *Поэма о бессмертии и Курске*. Поэма В. Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского» (1923). «*Рапсодия*» и «*Дева ледяная*». «*Рапсодия*» — по-видимому, имеется в виду балетный спектакль на музыку второй рапсодии Ф. Листа, шедший во многих советских театрах. Балет «*Ледяная дева*» (на музыку Э. Грига) шел не в Большом театре, а на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова в 1927 г.

* 235. «Звезда», 1947, № 1, с. 73; сб. 1952, под загл. «Слово о Горьком». Печ. по Соч. 2, с. 138. О встречах В. Саянова с М. Горьким см.: В. Саянов, Статьи и воспоминания, Л., 1958, с. 155. *Заломов* П. А. (1877—1955) — сормовский рабочий, большевик, прототип Павла Власова, героя повести М. Горького «Мать».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- «...А в московском Кремле еще Ленин в те дни...» (Отрывок из поэмы) 272
- «А меня ты, горячка, забыла...» 263
- «А на острове дальнем, где белое полымя выюг...» 148
- Агитатор («Безвестный агитатор в старой куртке...») 208
- Аграфена Дормидонтовна («Огнями холмов называются звезды...») 251
- Артиллеристы-гвардейцы («В Колпино путь под обстрелом...») 228
- «Ах, ребята, ах, друзья родные...» 51
- «Ах, сердце, ты не хорохорься...» (Встреча с заставой) 41
- Багрицкий («Тридцатилетье с той поры прошло...») 255
- «Баранину в ломтях на вертелочке...» (Привал) 161
- Баянист («За Нарвской заставой слепой баянист...») 88
- «Безвестный агитатор в старой куртке...» (Агитатор) 208
- Безымянная строка («Примета времени живая...») 256
- Беловежская повесть («В поздний вечер в пуще брезжил...») 333
- «Белый и красный и синий омут...» (Отец) 106
- Берлинское утро («Брезжит мутный рассвет над Берлином...») 231
- Биография («Сначала малиновка пела в детстве...») 134
- Братишке («Мы с тобою съели соли куль...») 61
- «Брезжит мутный рассвет над Берлином...» (Берлинское утро) 231
- «Броди, сумерничай и пой...» 54
- «Бывают порою осенней...» (Вечер в Горках) 378
- «Был поэт — сквозь широкие годы...» (Слово) 102
- Былина о красном коннике Иване Лукине («Ехал эскадронный Иван Лукин...») 142
- В бега («„В бега!“ — закричали тебе снегири...») 126
- В Бреславле («Еще был бой не кончен. Издалече...») 230
- «В город вернулись погодки...» (Вечер за Нарвской заставой) 49
- «В деревянном Уржуме — холодный рассвет, снегопад...» (Юность Кирова) 169
- «В забытые злые годы...» (Ключи) 129
- «В заливе Финском шторм, и снова...» 204

- «В Колпино путь под обстрелом...» (Артиллеристы-гвардейцы) 228
 «В кругу друзей шутили долго, пели...» 229
 «В лесах Карелии...» (Хозяин леса) 212
 В музее новой западной живописи («Мы в комнату входим, — в немислимом сходстве...») 85
 «В ночном краю, в краю туманном...» 164
 В поезде («Какое небо! Даль багрова...») 243
 «В поздний вечер в пуще брезжил...» (Беловежская повесть) 333
 «В полночь Невский проспект...» (Ночь блокады) 227
 В пути («Тишина здесь... леса да леса...») 237
 «В ранней юности — топот казахских коней...» 162
 В Судетах («Как только ручьи на весенних рассветах...») 231
 «В твоей дороге молодость теснится...» (Сын) 108
 «В тех лесах дремучих ели...» (Пейзаж) 214
 «В тумане, в полумраке...» (Предчувствие) 63
 «В цветах запоздалых несхоженный луг...» 116
 «В эту пору море злое...» 167
 «Ведь я из первых, кто, свирепость...» (Надпись на книге) 100
 Венгерская рапсодия («Знакомая мелодия...») 245
 «Весеннее небо, качаясь, как плот...» (Весеннее утро) 90
 Весеннее утро («Весеннее небо, качаясь, как плот...») 90
 Вечер в Горках («Бывают порою осенней...») 378
 Вечер за Нарвской заставой («В город вернулись погодки...») 49
 Военная юность («Да, юность моя под особенным знаком...») 182
 Возвращение («Сквозь духоту разлуки...») 65
 Волокуша («Ты видел, скажи мне...») 158
 Воспоминание («Поземка поздняя метет...») 247
 «Вот как пили, вот как пели...» (Другу с Накатамы) 62
 «Вот родная земля за Леной...» 147
 «Всё меняется в веке двадцатом...» (Мало!) 275
 «Всё мне кажется, пишутся где-то...» (Надежда) 252
 «Встану в час охоты соболиной...» (Соболиная охота) 133
 Встреча («Огромный зал был переполнен...») 268
 Встреча с заставой («Ах, сердце, ты не хорохорься...») 41
 «Вхожу с друзьями в зал краснознаменный...» (Знаменный зал) 248
 ВЧК («Над путями любого простора...») 95
- «...Галькой ссыпается шлях...» (За Тихорежицким валом) 60
 Где искать тебя... («Ты как тень в моей жизни мелькнула...») 263
 «Где теперь ты? В бегущих годах...» (Из письма) 223
 «Географ и естествоиспытатель...» (Полус) 93
 «Год двадцатый...» (Народная легенда о шахтере Гурии) 66
 «Года прошли — и сердцу пособили...» 147
 Голос («Здесь тени клонятся косые...») 215
 Голубая луна («Начинается вечер...») 235
 Город («Город стоял посредине степей Пугачева...») 198
 «Город Бабушкина, Шелгунова...» (Старая застава) 178
 «Город спит на заре... Пусть опять, как в тот год...» 166
 Гость в Кремле («Гость в Кремле... И курит на площадке...») 273
 Грин («Он жил среди нас, этот сказочник странный...») 216
 «Грозой расколот дуб огромный...» (Дуб) 119

- «Да, юность моя под особенным знаком...» (Военная юность) 182
«Дай руку мне, пойдем со мною...» 121
Дед («Тихие, тихие теплятся клены...») 105
День («Нет, не вечер стучится к нам в окна...») 258
«День прошел от Омска до Тюмени...» (Прожитый день) 80
Домой («Над Эльбою, в землянке обветшалой...») 232
«Дремлет лодочник у перевоза...» (Раздумье) 244
Другу («О друг моих мальчишеских мечтаний...») 203
Другу («Опять приходят в наши годы...») 170
Другу с Накатамы («Вот как пили, вот как пели...») 62
Дуб («Грозой расколот дуб огромный...») 119
- «Если нам суждено разлучиться...» 111
«Если там, где спят купавы...» 165
«Есть белый туман на малиновых взгорьях...» (Сибиряки возвращаются с Карпат в 1917 году) 132
«Есть в лесу особый, пряный запах...» 250
«Есть в Москве переулочек старинный...» 199
«Есть в русском языке богатство дальних стран...» (Пушкин) 190
«Есть один романс старинный...» (Романсы) 125
«Есть поколенья...» 220
«Есть русский город, тихий-тихий...» (Сосна) 167
«Есть страшный сон самоубийства: вдруг...» 221
«Есть такие дырявые шлемы...» (Шлем) 57
«Есть чудесный цветок, он под снегом цветет...» 258
«Ехал эскадронный Иван Лукин...» (Былина о красном коннике Иване Лукине) 142
«Еще был бой не кончен. Издалече...» (В Бреславле) 230
«Еще была зима, и снег лежал на склонах...» (Посад) 192
«Еще на взгорьях, где грустят березы...» (Поздней осенью) 202
- «Железный котелок, старинная берданка...» (За Катунью) 81
«Желтый ветер, должно быть последних времен богдыханов...» 86
«Журавель задремал у колодца...» 151
Жюль Верн («Я книгу твою запомнил...») 154
- За Катунью («Железный котелок, старинная берданка...») 81
За Нарвской заставой в первые дни Октября («Ночь исторической была...») 269
«За Нарвской заставой слепой баянист...» (Баянист) 88
«За Нарвской заставой...» (Завод) 203
За Тихорежским валом (1920) («...Галькой ссыпается шлях...») 60
Завод («За Нарвской заставой...») 203
«Загрэмели валы в отлете...» (Сказ о Ленине) 210
Записка («Пролетали города...») 157
«Заплетается вновь в перелесках весенняя вязь...» 149
«Звездоплаватель первый в калужской глуши...» (Циолковский) 183
«Звезды цветут на наших фуражках...» 159
«Здесь тени клонятся косые...» (Голос) 215
«Здравствуй, русского края граница...» (Лукоморье) 196
«Зеленая пена...» (Пароход) 99

«Зима, и повсюду сугробы...» (Песня) 253
«Зима сорок первого...» (Суворов) 240
«Знакомая мелодия...» (Венгерская рапсодия) 245
Знаменный зал («Вхожу с друзьями в зал краснознаменный...») 248
Золотая Олёкма («Много было громких песен, токмо...») 129

«. . . И снова этот город дымный...» (Октябрь) 44
«И у деревьев трудная есть участь...» 201
Ива («Степь легла от Оренбурга...») 282
Из балтийских стихов («Снова море в огне небывалом...») 84
Из письма («Где теперь ты? В бегущих годах...») 223
«Изнемогая от пыльных странствий...» (Пролог полемический из поэмы «Картонажная Америка») 91
Изображение на скале («На синем Онего, на блещущем склоне...») 215
«Искатели таинственных цветов...» 115

«К Могутовским лесам подъезжаю, бывало...» 260
«Каждый вечер в Смольном ходюки...» (Ходюки) 266
«Как белели снега...» (Марли) 200
«Как изменчивы русской природы...» (Осенью) 262
«Как любовь возникает? В улыбке...» 171
«Как небо расплывчато...» (Ночь в «Трокадеро») 72
«Как опять закрутятся тальянкам...» 52
«Как ржаную ковригу...» (Любимая книга) 254
«Как рóстится щука порой ледолома...» (Хозяйка озера) 211
«Как темная даль беспредельна была...» 120
«Как только ручьи на весенних рассветах...» (В Судетах) 231
«Как ты в жизнь входила?..» 117
«Как увижу тебя — ничего-то...» 172
«Как цвет лица изобразить?..» 173
«Какая ты стала сейчас невозможная...» 173
«Какое небо! Даль багрова...» (В поезде) 243
Каторжанин и сохатый («Ямская почта мимо проскакала...») 127
Ключи («В забытые злые годы...») 129
«Когда я умру, ты не плачь...» 177
Кокчетав («О чем грустить в семнадцать лет?..») 184
Комиссар ВЧК («Комиссары ходят в полушубках...») 193
«Комиссары ходят в полушубках...» (Комиссар ВЧК) 193
Комната Ленина в Смольном («Край белой ночи...») 205
Корчма на литовской границе («Пути, по которым мы ходим с тобой...») 89
«Край белой ночи...» (Комната Ленина в Смольном) 205
Край любимый («Край любимый, слава дедич, отчич...») 242
«Кровь на снегу — и вот пришла пора...» (Поэты) 179

Ленин («Ленин жив, он с нами, он не умер...») 266
Ленинградская весна («Щумят на просторе...») 76
Лермонтов в Черкассах («Провинциальный бедный городок...») 224
«Лишь вечер настанет, дорогой степной...» (Трубачи Первой Конной) 249

- «Лошадей он не седлывал. . .» (Старинная бывальщина) 197
 Лукоморье («Здравствуй, русского края граница. . .») 196
 Любимая книга («Как ржаную ковригу. . .») 254
 Любовь («Смерть придет — не в тоске умираем. . .») 140
- Май, ночь блокады и беседа об А. Иванове («Чаёк мы ночью попи-
 вали. . .») 227
 Максим Максимыч («Среди родных героев прозы русской. . .») 226
 Мало! («Всё меняется в веке двадцатом. . .») 275
 «Мальчишка смеется, мальчишка поет. . .» (Скрипка) 83
 Марли («Как белели снега. . .») 200
 «Медвежий охотник Микита Нечаев. . .» 157
 «Мне часто снятся на рассветах синих. . .» 156
 «Много было громких песен, токмо. . .» (Золотая Олёкма) 129
 Могила в степи («Старик, водивший в Гарму и к Мешхеду. . .») 109
 «Море разделившая зарница. . .» 119
 «Мы в зеркало ручья глядимся. . .» 117
 «Мы в комнату входим, — в немислимом сходстве. . .» (В музее
 новой западной живописи) 85
 «Мы любили друзей, и чем дальше. . .» 247
 «Мы с тобою съели соли куль. . .» (Братишке) 61
 «Мы себя, пожалуй, не жалели. . .» (Поколение) 241
- «На Дьячем острове боярский сын Похабов. . .» (Старый Иркутск) 122
 «На поляне прогалины черные. . .» (Предвесеннее) 222
 «На синем Оноге, на блещущем склоне. . .» (Изображение на скале)
 215
 «На холме высоком мы с тобой стояли. . .» 174
 «На юге, среди гор, я заметил вдруг. . .» 113
 «Над городом стыли метели. . .» (С тобой) 42
 «Над зыбью волн кривые прутья. . .» 174
 «Над Невою резво выются. . .» (Праздник) 238
 «Над покоем усадеб. . .» (Семья) 103
 «Над путями любого простора. . .» (ВЧК) 95
 «Над снеговой тоской равнинной. . .» (Орешек. Невская повесть) 342
 «Над Эльбою, в землянке обветшало. . .» (Домой) 232
 Надежда («Всё мне кажется, пишутся где-то. . .») 252
 Надпись на книге («Ведь я из первых, кто, свирепость. . .») 100
 Народная легенда о шахтере Гурии («Год двадцатый. . .») 66
 Наталья Горбатова («Шлагбаумам древним. . .») 45
 «Начинается вечер. . .» (Голубая луна) 235
 «Не говор московских просвирен. . .» 48
 «Незабываемы слова. . .» (Улица Газа) 160
 Некрасов («Некрасов. . . и вот начинается детство. . .») 206
 «Неотвратимая, необоримая. . .» 259
 «Нет, не вечер стучится к нам в окна. . .» (День) 258
 «Нет, я тебя такой оставлю в памяти. . .» (Тебе) 264
 «Низко кланяясь, провожала управа. . .» (Хозяева) 123
 «Низко клонится осинник. . .» (Памяти сказителя) 236
 Новый год («Новый год я встречал. . .») 262
 Ночь блокады («В полночь Невский проспект. . .») 227
 Ночь в «Трокадеро» («Как небо расплывчато. . .») 72

- «Ночь исторической была...» (За Нарвской заставой в первые дни Октября) 269
 Ночь на Ламанше («Туманы, как раньше...») 50
- «О друг моих мальчишеских мечтаний...» (Другу) 203
 О литературном герое («Привычка фамильярничать с героем...») 86
 «О чем грустить в семнадцать лет?...» (Кокчетав) 184
 «О чем мы с тобой говорили?...» 172
 «Огни над Невою. Нежданная ростепель...» 207
 «Огнями холмов называются звезды...» (Аграфена Дормидонтовна) 251
 «Огромный зал был переполнен...» (Встреча) 268
 «Одержим строитель был...» 176
 «Озерный край. Студеные рассветы...» (4 (16) февраля 1837 года) 186
 Ока («Ока — название реки...») 219
 Октябрь («...И снова этот город дымный...») 44
 «Он вышел за сугресь татарской орды...» (Присказка) 110
 «Он жил среди нас, этот сказочник странный...» (Грин) 216
 «Опять, не поверивши памяти-патоке...» (Управляющий прииском) 138
 «Опять приходят в наши годы...» (Другу) 170
 «Опять смеяться, молодость припомнив...» 183
 Оренбургская повесть («Эту дней давно минувших повесть...») 292
 Орешек. Невская повесть («Над снеговой тоской равнинной...») 342
 Осенью («Как изменчивы русской природы...») 262
 Отец («Белый и красный и синий омут...») 106
 Отрывок из поэмы («...А в московском Кремле еще Ленин в те дни...») 272
 Офеня («По деревням ходил тогда офеня...») 155
- Памяти Владимира Замятина («„Твой до земельки той“ — мне написал, как брату...») 256
 Памяти сказителя («Низко клонится осинник...») 236
 Пароход («Зеленая пена...») 99
 Пейзаж («В тех лесах дремучих ели...») 214
 Переключка («Пылает в заливе туман голубой...») 56
 Переправа («Только снег захрустит под подошвами...») 43
 «Переулки с Арбата к Пречистенке...» (Старая Москва) 100
 «Песню партизанью...» (Песня) 58
 Песня («Зима, и повсюду сугробы...») 253
 Песня («Песню партизанью...») 58
 Песня («Свод небес чистым золотом вышит...») 265
 Песня («Спит Алдан, и спит Олёкма...») 136
 Петр и Алексей на севере в 1702 году («После ночи двухмесячной заотсвечивало...») 218
 «Плывут облака издалёка...» 181
 «По деревням ходил тогда офеня...» (Офеня) 155
 «По желтой дороге, по синей тропинке...» (Синицын) 184
 Повесть о Кульневе («Шли обозы с утра вдоль снегов подмосковных...») 310
 Поздней осенью («Еще на взгорьях, где грустят березы...») 202

- «Поэмка поздняя метет. . .» (Воспоминание) 247
 Поколение («Мы себя, пожалуй, не жалели. . .») 241
 Полюс («Географ и естествоиспытатель. . .») 93
 «Помню улицы города хмурые. . .» (Свершение) 233
 Посад («Еще была зима, и снег лежал на склонах. . .») 192
 «После ночи двухмесячной заотсвечивало. . .» (Петр и Алексей на севере в 1702 году) 218
 Поэты («Кровь на снегу — и вот пришла пора. . .») 179
 Праздник («Над Невою резво вьются. . .») 238
 Праздник («Стихами странными мы бредили тогда. . .») 362
 Предвесеннее («На поляне прогадины черные. . .») 222
 Предчувствие («В тумане, в полумраке. . .») 63
 Привал («Баранину в ломтях на вертелочке. . .») 161
 «Привычка фамильярничать с героем. . .» (О литературном герое) 86
 «Примета времени живая. . .» (Безымянная строка) 256
 Присказка («Он вышел за сутемь татарской орды. . .») 110
 Пробег («Рассвет, не в меру желт и рыж. . .») 94
 «Провинциальный бедный городок. . .» (Лермонтов в Черкассах) 224
 «Провинциальных адвокатов сон. . .» (Сентябрь 1917 года) 97
 Прожитый день («День прошел от Омска до Тюмени. . .») 80
 «Пролетали города. . .» (Запевка) 157
 Пролог полемический («Изнемогая от пыльных странствий. . .») 91
 Пролог романтический («Снова старый разгон и романтика. . .») 92
 «Просил сберечь — не сберегла. . .» 260
 «Пусть поют под ногами камня. . .» (Современники) 53
 «Пути, по которым мы ходим с тобой. . .» (Корчма на литовской границе) 89
 Путь на Сибирь («Ты морщишься, будто спит катаракта. . .») 78
 Пушкин («Есть в русском языке богатство дальних стран. . .») 190
 «Пылает в заливе туман голубой. . .» (Переключка) 56

 Раздумье («Дремлет лодочник у перевоза. . .») 244
 Разлука («Чуть пахнуло березой карельской. . .») 82
 «Рассвет, не в меру желт и рыж. . .» (Пробег) 94
 Революция («Я — твой поэт, Революция. . .») 276
 Романсы («Есть один романс старинный. . .») 125
 Рукопожатие Ленина («У Смольного в ненастный час. . .») 271

 С тобой («Над городом сфыли метели. . .») 42
 Свершение («Помню улицы города хмурые. . .») 233
 «Свод небес чистым золотом вышит. . .» (Песня) 265
 «Семнадцатилетние мальчики. . .») 96
 Семья («Над покоем усадеб. . .») 103
 Сентябрь 1917 года («Провинциальных адвокатов сон. . .») 97
 Сибирские реки («Таежные тропы. . .») 78
 Сибиряки возвращаются с Карпат в 1917 году («Есть белый туман на малиновых взгорьях. . .») 132
 Синицын («По желтой дороге, по синей тропинке. . .») 184
 Сказ о Ленине («Загремели валы в отлете. . .») 210
 Сказка («Сказка твердила. . .») 152
 «Сквозь духоту разлуки. . .» (Возвращение) 65
 Скрипка («Мальчишка смеется, мальчишка поет. . .») 83

- «Словно сердце вдруг сжали тиски...» 172
 Слово («Был поэт — сквозь широкие годы...») 102
 Смена караула у здания международного трибунала («Среди сотен разбитых домов...») 234
 «Смерть придет — не в тоске умираем...» (Любовь) 140
 «Сначала малиновка пела в детстве...» (Биография) 134
 «Снова море в огне небывалом...» (Из балтийских стихов) 84
 «Снова старый разгон и романтика...» (Пролог романтический из поэмы «Картонажная Америка») 92
 Соболиная охота («Встану в час охоты соболиной...») 133
 Современники («Пусть поют под ногами камня...») 53
 «Сокол злой кричит...» (Степи) 220
 Сосна («Есть русский город, тихий-тихий...») 167
 «Спит Алдан, и спит Олёкма...» (Песня) 136
 «Среди родных героев прозы русской...» (Максим Максимыч) 226
 «Среди сотен разбитых домов...» (Смена караула у здания международного трибунала) 234
 Старая застава («Город Бабушкина, Шелгунова...») 178
 Старая Москва («Переулки с Арбата к Пречистенке...») 100
 *Старик, водивший в Гарму и к Мешхеду...» (Могилы в степи) 109
 Старинная бывальщина («Лошадей он не седлывал...») 197
 Старинная повесть («Эту горную цепь...») 279
 Старый Иркутск («На Дьячем острове боярский сын Похабов...») 122
 «Старый сон мою пытается душу...» 114
 «Стекала вода по изгибу весла...» 171
 Степи («Сокол злой кричит...») 220
 Степи («Таёт месяц в ночах...») 163
 «Степь легла от Оренбурга...» (Ива) 282
 «Стихами странными мы бредили тогда...» (Праздник) 362
 Суворов («Зима сорок первого...») 240
 Сын («В твоей дороге молодость теснится...») 108
 «Гаежные тропы...» (Сибирские реки) 78
 «Таёт месяц в ночах...» (Степи) 163
 «Так тихомолком, ни шатко ни валко...» 112
 «„Твой до земельки той“, — мне написал, как брату...» (Памяти Владимира Замятина) 256
 «Те нерусские названья...» 175
 Тебе («Нет, я тебя такой оставлю в памяти...») 264
 «Тихие, тихие теплятся клены...» (Дед) 105
 «Тишина здесь... леса да леса...» (В пути) 237
 «Только с севера коршун сердитый...» 113
 «Только снег захрустит под подошвами...» (Переправа) 43
 «Три струны всего у балалайки...» 250
 «Тридцатилетье с той поры прошло...» (Багрицкий) 255
 Трубачи Первой Конной («Лишь вечер настанет, дорогой степной...») 249
 «Туманы, как раньше...» (Ночь на Ламанше) 50
 «Ты в светлые воды в то утро смотрелась...» 115
 «Ты видел, скажи мне...» (Волокуша) 158
 «Ты, грустя, глядишь прищурясь...» 261

- «Ты знала мое пристрастие...» 259
 «Ты как тень в моей жизни мелькнула...» (Где искать тебя...) 263
 «Ты морщишься, будто слепит катаракта...» (Путь на Сибирь) 78
 «Ты светла, словно солнцем ты вымылась...» 118
 «Ты спросила меня, как зовется...» 118
- «У Смольного в ненастный час...» (Рукопожатие Ленина) 271
 Улица Газа («Незабываемы слова...») 160
 Управляющий приском («Опять, не поверивши памяти-патоке...») 138
- Ходоки («Каждый вечер в Смольном ходоки...») 266
 Хозяева («Низко кланяясь, провожала управа...») 123
 Хозяин леса («В лесах Карелии...») 212
 Хозяйка озера («Как р6стится щука порой ледолома...») 211
- Цюлковский («Звездоплаватель первый в калужской глуши...») 183
- «Чаёк мы ночью попивали...» (Май, ночь блокады и беседа об А. Иванове) 227
 4 (16) февраля 1837 года («Озерный край. Студеные рассветы...») 186
 «Что грядущие годы готовят?..» 260
 «Что ж, муза, как у нас дела?..» 257
 «Что же, я знаю, рассказы твои пособили...» 150
 «Что мы пережили, расскажет историк...» 229
 «Что на север влечет нас...» 195
 «Что сделал я? Немного песен спел...» 222
 «Чуть пахнуло березой карельской...» (Разлука) 82
- «Шлагбаумам древним...» (Наталья Горбатова) 45
 Шлем («Есть такие дырявые шлемы...») 57
 «Шли обозы с утра вдоль снегов подмосковных...» (Повесть о Кульневе) 310
 «Шумит последняя гроза...» 173
 «Шумят на просторе...» (Ленинградская весна) 76
- «Эту горную цепь называют...» (Старинная повесть) 279
 «Эту дней давно минувших повесть...» (Оренбургская повесть) 292
- Юность Кирова («В деревянном Уржуме — холодный рассвет, снегопад...») 169
- «Я взглянул — и увидел неожиданно...» 181
 «Я жалобу всегда скрывал...» 118
 «Я книгу твою запомнил...» (Жюль Верн) 154
 «Я никогда не добивался славы...» 257
 «Я — твой поэт, Революция...» (Революция) 276
 «Я тебя в своей песне прославлю...» 177
 «Ямская почта мимо проскакала...» (Каторжанин и сохатый) 127

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Фотография В. М. Саянова 1953 г.
2. *С. 55*. Автограф стихотворения «Переключка».
3. *Между с. 112 и 113*. Фотография 1929 г.
4. *Между с. 144 и 145*. В. М. Саянов. Автолитография Г. С. Верейского 1930 г.
5. *Между с. 208 и 209*. В. М. Саянов, Н. С. Тихонов, А. Т. Твардовский, С. И. Вашенцев. Фотография Н. Хандогиной 1940 г.
6. *Между с. 240 и 241*. Фотография В. М. Саянова 1948 г.
7. *С. 281*. В. М. Саянов, Шарж Н. Радлова 1930-х годов.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия Виссариона Саянова. <i>Вступительная статья Б. Со-</i> <i>ловьева</i>	5
Автобиография	35

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Встреча с заставой	41
2. С тобой	42
3. Переправа	43
4. Октябрь	44
5. Наталья Горбатова	45
6. «Не говор московских просвирен...»	48
7. Вечер за Нарвской заставой	49
8. Ночь на Ламанше	50
9. «Ах, ребята, ах, друзья родные...»	51
10. «Как опять закрутиться тальянкам...»	52
11. Современники	53
12. «Броди, сумерничай и пой...»	54
13. Переключка	56
14. Шлем	57
15. Песня	58
16. За Тихорежицким валом (1920)	60
17. Братишке	61
18. Другу с Накатамы	62
19. Предчувствие	63
20. Возвращение	65
21. Народная легенда о шахтере Гурии	66
22. Ночь в «Трокадеро»	72
23. Ленинградская весна	76
24. Путь на Сибирь	78
25. Сибирские реки	78

26. Прожитый день	80
27. За Катунью	81
28. Разлука	82
29. Скрипка	83
30. Из балтийских стихов	84
31. В Музее новой западной живописи	85
32. «Желтый ветер, должно быть последних времен богдыханов. . .»	86
33. О литературном герое	86
34. Баянист	88
35. Корчма на литовской границе	89
36. Весеннее утро	90
37—38. Из поэмы «Картонажная Америка»	
1. Пролог полемический	91
2. Пролог романтический	92
39. Полюс	93
40. Пробег	94
41. ВЧК	95
42. «Семнадцатилетние мальчики. . .»	96
43. Сентябрь 1917 года	97
44. Пароход	99
45. Надпись на книге	100
46. Старая Москва	100
47. Слово	102
48—51. Из цикла «Семейная хроника». Портреты	
1. Семья	103
2. Дед	105
3. Отец	106
4. Сын	108
52. Могила в степи	109
53. Присказка	110
54. «Если нам суждено разлучиться. . .»	111
55. «Так тихомолком, ни шатко ни валко. . .»	112
56. «Только с севера коршун сердитый. . .»	113
57. «На юге, среди гор, я заприметил вдруг. . .»	113
58. «Старый сон мою пытается душу. . .»	114
59. «Искатели таинственных цветов. . .»	115
60. «Ты в светлые воды в то утро смотрелась. . .»	115
61. «В цветах запоздалых нескошенный луг. . .»	116
62. «Как ты в жизнь входила? . . .»	117
63. «Мы в зеркало ручья глядимся. . .»	117
64. «Я жалобу всегда скрывал. . .»	118
65. «Ты светла, словно солнцем ты вымылась. . .»	118
66. «Ты спросила меня, как зовется. . .»	118
67. Дуб	119
68. «Море разделившая зарница. . .»	119
69. «Как темная даль беспредельна была. . .»	120
70—97. Золотая Олёкма	
1. «Дай руку мне, пойдём со мною. . .»	121
2. Старый Иркутск	122
3. Хозяева	123
4. Романсы	125
5. В бега	126

6—7. Байкальские предания	
1. Каторжанин и сохатый	127
2. Ключи	129
8. Золотая Олёкма («Много было громких песен, токмо...»)	129
9. Сибиряки возвращаются с Карпат в 1917 году	132
10. Соболиная охота	133
11. Биография	134
12. Песня («Спит Алдан, и спит Олёкма...»)	136
13. Управляющий прииском	138
14. Любовь	140
15. Былина о красном коннике Иване Лукине	142
16. «Вот родная земля за Леной...»	147
17. «Года прошли — и сердцу пособили...»	147
18—21. Воспоминания	
1. «А на острове дальнем, где белое полымя вьюг...»	148
2. «Заплетается вновь в перелесках весенняя вязь...»	149
3. «Что же, я знаю, рассказы твои пособили...»	150
4. «Журавель задремал у колодца...»	151
22. Сказка	152
23. Жюль Верн	154
24. Офеня	155
25. «Мне часто снятся на рассветах синих...»	156
26. «Медвежий охотник Микита Нечаев...»	157
27. Записка	157
28. Волокуша	158
98. «Звезды цветут на наших фуражках...»	159
99. Улица Газа	160
100. Привал	161
101. «В ранней юности — топот казахских коней...»	162
102. Степи («Таёт месяц в ночах...»)	163
103. «В ночном краю, в краю туманном...»	164
104. «Если там, где спят купавы...»	165
105. «Город спит на заре...»	166
106. «В эту пору море злое...»	167
107. Сосна	167
108. Юность Кирова	169
109. Другу («Опять приходят в наши годы...»)	170
110—123. Из «Петергофской тетради»	
1. «Как любовь возникает? В улыбке...»	171
2. «Стекала вода по изгибу весла...»	171
3. «Как увижу тебя — ничего-то...»	172
4. «Словно сердце вдруг сжали тиски...»	172
5. «О чем мы с тобой говорили?...»	172
6. «Как цвет лица изобразить?...»	173
7. «Какая ты стала сейчас невозможная...»	173
8. «Шумит последняя гроза...»	173
9. «Над зыбью волн кривые прутья...»	174
10. «На холме высоком мы с тобой стояли...»	174
11. «Те нерусские названья...»	175

12.	«Одержим строитель был...»	176
13.	«Я тебя в своей песне прославлю...»	177
14.	«Когда я умру, ты не плачь...»	177
124.	Старая застава	178
125.	Поэты	179
126.	«Плывут облака издалёка...»	181
127.	«Я взглянул — и увидел неожиданно...»	181
128.	Военная юность	182
129.	Циолковский	183
130.	Кокчетав	184
131.	Синицын	184
132.	4 (16) февраля 1837 года	186
133.	Пушкин	190
134.	Посад	192
135.	«Опять смеяться, молодость припомнив...»	193
136.	Комиссар ВЧК	193
137.	«Что на север влечет нас...»	195
138.	Лукоморье	196
139.	Старинная бывальщина	197
140.	Город	198
141.	«Есть в Москве переулок старинный...»	199
142.	Марли	200
143.	«И у деревьев трудная есть участь...»	201
144.	Поздней осенью	202
145.	Завод	203
146.	Другу («О друг моих мальчишеских мечтаний...»)	203
147—152.	Смольный в начале 1918 года	
	1. «В заливе Финском шторм, снова...»	204
	2. Комната Ленина в Смольном	205
	3—4. Некрасов	
	1. «Некрасов... и вот начинается детство...»	206
	2. «Огни над Невою. Нежданная ростепель...»	207
	5. Агитатор	208
	6. Сказ о Ленине	210
153—157.	О него	
	1. Хозяйка озера	211
	2. Хозяин леса	212
	3. Пейзаж	214
	4. Голос	215
	5. Изображение на скале	215
158.	Грин	216
159.	Петр и Алексей на севере в 1702 году	218
160.	Ока	219
161.	Степи («Сокол злой кричит...»)	220
162.	«Есть поколенья...»	220
163.	«Есть страшный сон самоубийства: вдруг...»	221
164.	«...Что сделал я? Немного песен спел...»	222
165.	Предвесеннее	222
166.	Из письма	223
167.	Лермонтов в Черкассах	224
168.	Максим Максимыч	226
169.	Ночь блокады	227

170. Май, ночь блокады и беседа об А. Иванове	227
171. Артиллеристы-гвардейцы	228
172. «В кругу друзей шутили долго, пели...»	229
173. «Что мы пережили, расскажет историк...»	229
174. В Бреславле	230
175. В Судетах	231
176. Берлинское утро	231
177. Домой	232
178. Сверхшение	233
179—180. Из цикла «Нюрнбергский дневник»	
1. Смена караула у здания международного трибунала	234
2. Голубая луна	235
181. Памяти сказителя	236
182. В пути	237
183. Праздник («Над Невой резво вьются...»)	238
184. Суворов	240
185—218. Из книги «Голос молодости»	
1. Поколение	241
2. Край любимый	242
3. В поезде	243
4. Раздумье	244
5. Венгерская рапсодия	245
6. Воспоминание	247
7. «Мы любили друзей, и чем дальше...»	247
8. Знаменный зал	248
9. Трубачи Первой Конной	249
10. «Три струны всего у балалайки...»	250
11—12. Из стихов о старой Сибири	
1. «Есть в лесу особый, пряный запах...»	250
2. Аграфена Дормидонтовна	251
13. Надежда	252
14. Песня («Зима, и повсюду сугробы...»)	253
15. Любимая книга	254
16. Багрицкий	255
17. Памяти Владимира Замятина	256
18. Безымянная строка	256
19. «Я никогда не добивался славы...»	257
20. «Что ж, муза, как у нас дела?...»	257
21. «Есть чудесный цветок, он под снегом цветет...»	258
22. День	258
23. «Неотвратимая, необоримая...»	259
24. «Ты знала мое пристрастие...»	259
25. «К Могутовским лесам подъезжаю, бывало...»	260
26. «Просил сберечь — не сберегла...»	260
27. «Что грядущие годы готовят?...»	260
28. «Ты, грустя, глядишь прищурясь...»	261
29. Осенью	262
30. Новый год	262
31. «А меня ты, гордячка, забыла...»	263
32. Где искать тебя...	263
33. Тебе	264
34. Песня («Свод небес чистым золотом вышит...»)	265

219—225. Стихи о Ленине

1. Ленин	266
2. Ходоки	266
3. Встреча	268
4. За Нарвской заставой в первые дни Октября	269
5. Рукопожатие Ленина	271
6. Отрывок из поэмы	272
7. Гость в Кремле	273
226. Мало!	275
227. Революция	276

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ В СТИХАХ

228. Старинная повесть	279
229. Ива	282
230. Оренбургская повесть	292
231. Повесть о Кульневе	310
232. Беловежская повесть	333
233. Орешек. <i>Невская повесть</i>	342
234. Праздник	362
235. Вечер в Горках	378
Другие редакции и варианты	39
Примечания	43
Алфавитный указатель произведений	45
К иллюстрациям	46

Саянов Виссарион Михайлович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966, 472 стр.
Тем. план вып. 1966 г., № 418

Редактор *Л. А. Николаева*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *А. Г. Рабинова*

Сдано в набор 22/IV 1966 г. Подписано в печать 13/VII 1966 г. М 50951. Бумага 84×108^{1/32} № 2. Печ. л. 14^{3/4} + 5 вкл. (25,09). Уч.-изд. л. 22,71. Тираж 25 000. Зак. № 746. Цена 1 р. 34 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
4	2 св.	1958	1959
222	12 св.	стихи	стих
472	23 св.	467	466

В. Саянов

